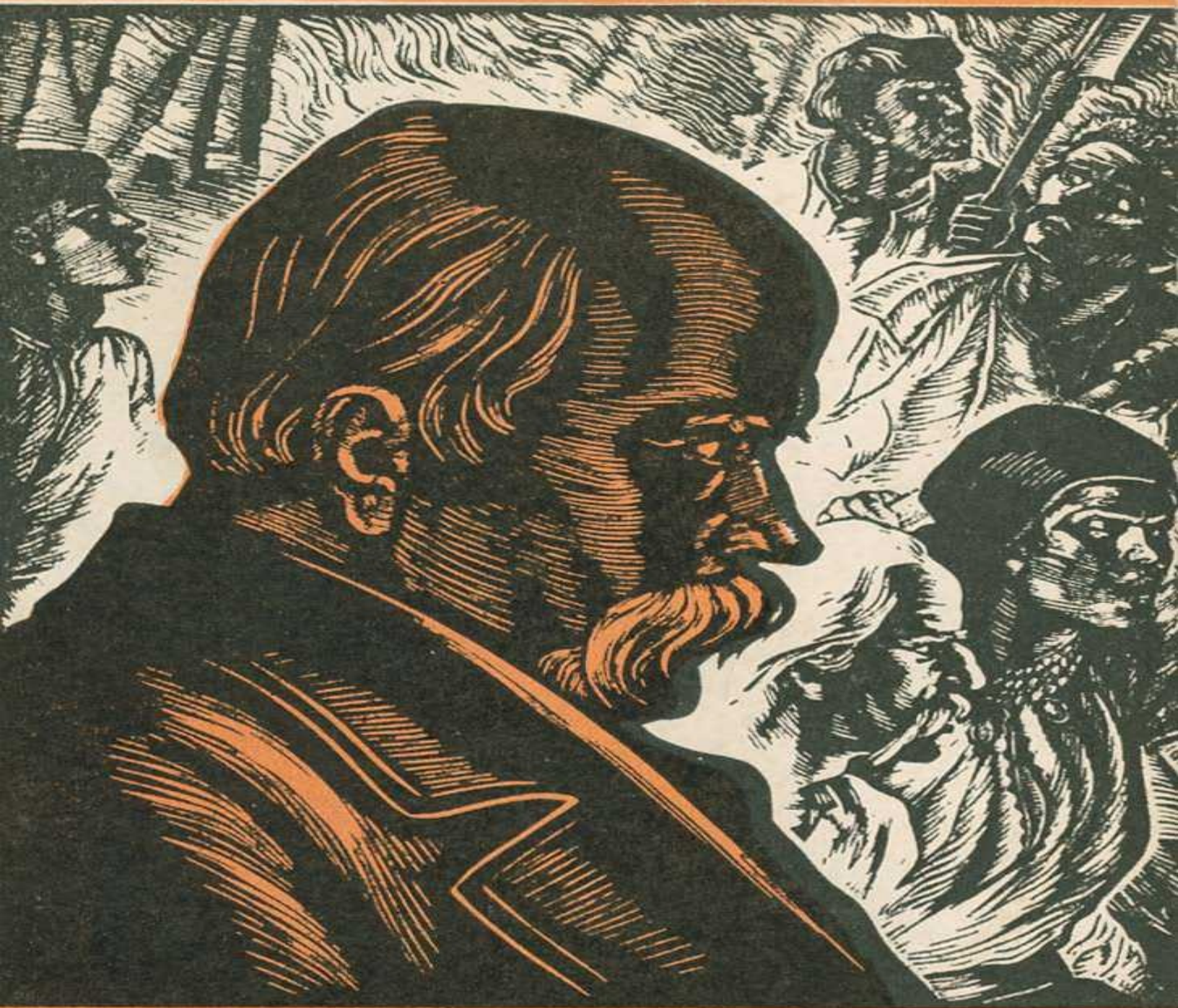


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Леонид Хинкулов

ТАРАС
ШЕВЧЕНКО

Annotation

Биография великого украинского поэта и революционера Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861) содержит много интересного и поучительного для читателя.

Гениальный певец нужд и стремлений своего народа был в то же время выразителем дум и чаяний всех трудящихся России.

Рассказать о жизни Шевченко, о его эпохе и его современниках стремился автор настоящей книги.

В ней нет ни капли вымысла: все основано на архивных документах, письмах, мемуарах.

В то же время автор, используя в книге различные факты и материалы — в том числе им самим разысканные и установленные, — не дает детальной научной аргументации.

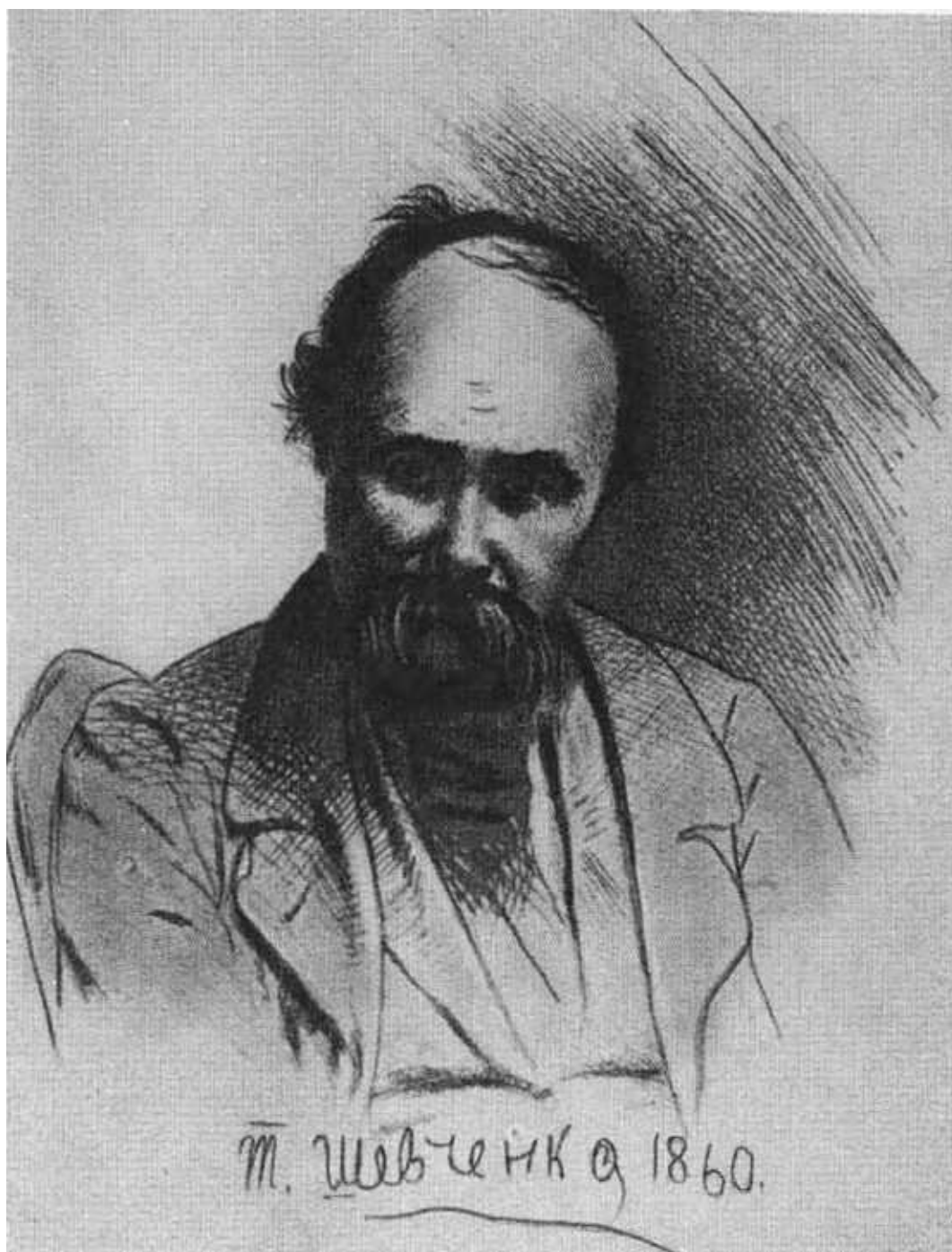
Эта книга не монография. Это живой и непосредственный рассказ о судьбе художника и борца.

-
- [Хинкулов Леонид Федорович](#)
 - [Часть первая](#)
 -
 - [I. СЫН МУЖИКА](#)
 - [II. ЮНОСТЬ БЕСПОКОЙНАЯ](#)
 - [III. РАССВЕТ](#)
 - [IV. В КРУГУ ДРУЗЕЙ](#)
 - [V. НА СВОБОДЕ](#)
 - [VI. «ТРИ ГОДА»](#)
 - [VII. НОВЫЕ ВСТРЕЧИ](#)
 - [VIII. ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО](#)
 - [Часть вторая](#)
 -
 - [IX. ПОД МЕДВЕЖЬЕЙ ЛАПОЙ](#)
 - [X. НА БЕРЕГАХ УРАЛА](#)
 - [XI. ОРСКАЯ КРЕПОСТЬ](#)
 - [XII. СТЕПНОЙ ПОХОД](#)
 - [XIII. АРАЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ](#)
 - [XIV. ЗИМА В ОРЕНБУРГЕ](#)

- [XV. ОПЯТЬ ТЮРЬМА](#)
- [XVI. ФОРТ НАД КАСПИЕМ](#)
- [XVII. НЕГАСНУЩИЙ ПЛАМЕНЬ](#)
- [Часть третья](#)
 -
 - [XVIII. ВОЗВРАЩЕНИЕ](#)
 - [XIX. «ВОЛЯ НА ПРИВЯЗИ...»](#)
 - [XX. ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И СОЮЗНИКИ](#)
 - [XXI. СНОВА НА УКРАИНЕ](#)
 - [XXII. ГЛАШАТАИ ГРЯДУЩЕГО ДНЯ](#)
 - [XXIII. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ](#)
 - [XXIV. БЕССМЕРТИЕ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [ОБ АВТОРЕ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)

- [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
-

Хинкулов Леонид Федорович
ТАРАС ШЕВЧЕНКО



Часть первая
ПЕВЕЦ НАРОДА



ПЕВЕЦ НАРОДА

I. СЫН МУЖИКА

В конце февраля 1814 года русские войска быстро продвигались по земле Франции к Парижу.

Это был последний акт великой исторической трагедии. Русские, украинские, литовские, белорусские мужики, одетые в истрепанную многолетними походами солдатскую форму, шли по грязным, размытым предвесенними дождями дорогам, освобождая Европу от наполеоновской тирании

«Война 1812 года пробудила народ русский к жизни, — свидетельствует в своих «Записках» декабрист И. Д. Якушкин — Между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле».

Отечественная война вызвала могучий подъем освободительных стремлений народа.

Декабристы, «первые русские благовестители свободы», как называл их Шевченко, говорили о себе: «Мы были дети двенадцатого года». Ненависть декабристов к крепостничеству и самодержавию, их вера в творческие силы народа и искреннее желание блага своему отечеству родились в грозные дни Аустерлица и Бородина, в боях у Малоярославца и у стен Парижа. Первые декабристские тайные организации образовались буквально на следующий день после окончания войны.

Только что был подписан Парижский мир, еще оккупационные войска союзников стояли в северо-восточных крепостях Франции, а уже молодой адъютант генерала Витгенштейна — Павел Пестель, будущий автор «Русской правды» и глава Южного общества декабристов, организовал вместе со своими друзьями «Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов отечества».

Немногим более десяти лет минуло со дня победоносного завершения Отечественной войны — и на валу кронверка Петропавловской крепости пятью виселицами было ознаменовано начало царствования Николая I — тридцатилетия самой черной реакции и жестокого насилия. В это тридцатилетие были убиты и замучены царизмом Рылеев и Грибоедов, Пушкин и Полежаев, Лермонтов и Белинский; в изгнании томились Шевченко и Герцен, Петрашевский и Достоевский. «Все благородное страдает, одни скоты блаженствуют», — сказал об этом времени

Белинский.

После войны на протяжении десяти лет усиливались крестьянские волнения. То там, то здесь вспыхивали помещичьи усадьбы; крепостные мужики убивали своих господ, поджигали их дома и хлеб, не подчинялись властям.

Отважный сын украинского народа Устим Кармелюк в 1813 году организовал на Подолии хорошо вооруженный повстанческий отряд и на протяжении почти четверти века держал в страхе помещиков всего Правобережья.

Кармелюка несколько раз хватали, сажали в тюрьму и ссылали на каторгу, но он снова вырывался на волю и продолжал бороться; он стал легендарным народным героем, «славным рыцарем», как называл его Шевченко.

Зимой 1825/26 года произошло организованное декабристами восстание Черниговского полка в селе Трилесе Киевской губернии. К войскам присоединилось деревенское население на десятки верст в округности: от Василькова до Белой Церкви и от Фастова до Павлочи. На площади у церкви в Василькове Сергей Муравьев-Апостол 31 декабря 1825 года произнес перед войсками и народом речь призывая к свержению самодержавия, к истреблению помещиков «для освобождения страждущих семейств своих и родины своей». Революционное воззвание Сергея Муравьева-Апостола под названием «Катехизис» распространялось среди крестьян Киевской губернии.

В это время Тарасу Шевченко шел двенадцатый год.

Тарас Григорьевич Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года, когда русские войска подходили к Парижу. В тот день, когда корпус генерала Раевского штурмовал Роменвильские и Бельвильские укрепления французов, когда 8-й и 10-й русские корпуса наступали на Монмартрские высоты, в бедной крестьянской хате крепостная мать пеленала новорожденного, который стал славой своего народа.

В семье крепостного крестьянина Григория Ивановича Шевченко и Екатерины Акимовны, урожденной Бойко, Тарас был четвертым ребенком. Родился он в селе Моринцы Звенигородского уезда, а с двухлетнего возраста все детство его прошло в соседнем селе — Кирилловке, куда семья Шевченко переселилась в 1815 году.

Мать Тараса часто болела, и вся работа по хозяйству, заботы о детях ложились на плечи старшей дочери Катерины, тоже совсем еще ребенка. Старшему брату Тараса, Никите, в том году, когда переехали в Кирилловку, было всего пять лет.

Жизнь крепостного крестьянина! Никто с такой силой и глубиной не изобразил эту жизнь, как впоследствии сам Шевченко Кому, как не гениальному сыну мужика, было воплотить в бессмертные художественные образы муки тех, кто своими мозолистыми руками создавал все богатства земли, кто своей грудью и собственной кровью защищал эту землю от врагов, но кому ничего, ничего на этой земле не принадлежало — даже он сам, даже его дети...

А в этом раю, что под солнцем сияет.
Сермягу в заплатках с калеки снимают,
Со шкурой дерут, чтоб одеть и обуть
Княжат малолетних. А вон — распинают
Вдову за оброки; а сына берут —
Любимого сына, последнего сына, —
В солдаты опору ее отдают, —
Все мало им! Вон умирает под тыном
Опухший, голодный ребенок А мать
Угнали пшеницу на барщине жать ¹.

Семья Григория Шевченко составляла в то время «собственность» помещика Энгельгардта, бывшего смоленского генерал-губернатора, которому принадлежали и Моринцы, и Кириловка, и еще десяток окрестных деревень вместе с их крепостным населением.

В. В. Энгельгардт, племянник князя Потемкина (Таврического), получивший от него в наследство огромные богатства, помещиком был таким, как и все; и 98-летний старик крестьянин Маламуж, житель села Кириловки, уже в советское время рассказывал внукам:

— Как зверь лютый был пан Энгельгардт. До зари еще выходили мы на господские поля и, заливаясь потом, работали до поздней ночи...

В бедной, старой беленой хате с потемневшей соломенной крышей и черной кирпичной трубой прошло детство Тараса Шевченко. Перед хатой, «на причілку», росла яблоня с краснощежими яблоками, вокруг яблони раскинулся выращенный ловкими руками трудолюбивой Катерины цветник; у ворот стояла старая развесистая верба с засохшей уже верхушкой; за вербой приютилась клеть, а дальше, по косогору, сад, за садом — левада, за левадой — долина, поросшая вербами да калиной, с тихо журчащим ручейком, теряющимся среди густых лопухов.

В этом ручейке Тарас малышом купался, а выкупавшись, забегал в

тенистый сад, падал под первой грушей или яблоней и засыпал.

Чудесная природа Украины, окружавшая Тараса, приучила его любить краски и голоса пышной земной благодати, она заронила в его детскую душу тяготение к прекрасному, отзывчивость на живописный и певучий мир цветов и песен.

«Село! О! сколько милых, очаровательных видений пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове. Село!» — писал Шевченко спустя много лет в далекой закаспийской ссылке.

Душа ребенка рано стала рваться за пределы нищего крестьянского существования. Шести-семи-летний мальчик грезил о том, чтобы найти железные столбы, на которых держится небо, — там, за этими столбами, должно было начинаться человеческое счастье...

«Не за этой ли горой, напротив нашего старого сада, стоят железные столбы, что поддерживают небо? — спрашивал себя мальчик. — А что, если бы пойти да посмотреть, как это они его там подпирают? Пойду — ведь это недалеко», — решил Тарас однажды.

И вот отправился он прямо через леваду и долину за околицу села, прошел с полверсты полем. В поле высился огромный черный курган этих насыпей над древними могилами немало разбросано по всей Украине. Взобрался маленький Тарас на вершину кургана, чтобы поглядеть: далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо?

Стоит мальчуган на высоком кургане, и далеко видно ему кругом: во все стороны раскинулись среди зеленых садов села, белеют из темной зелени бедные, крытые соломой хатки; между деревьями выглядывает трехглавая, под белым железом церковь, в другом селе — тоже церковь виднеется, и тоже покрыта белым железом.

Задумался мальчик. «Нет, не это те железные столбы, что поддерживают небо! — размышляет он. — Сегодня, верно, уже не успею я дойти до них. Выберусь-ка я завтра вместе с Катериной: она погонит пасти коров, а я пойду прямо к железным столбам. А сегодня одурачу брата Никиту: скажу, что видел я железные столбы, что подпирают небо...»

И, скатившись кубарем с вершины кургана, Тарас пошел по дороге, не оглядываясь.

Уже вечерело, когда встретился мальчугану чумацкий обоз и чумаки остановили его:

- Ты куда, парубок, направляешься?
- Да домой же.
- А где твой дом, дружище?
- Да в Кириловке ж.

— Так что же ты плетешься назад, из Кириловки в Моринцы?

— Я не в Моринцы иду, а в Кириловку, — упорствовал мальчик.

— Ну, коль в Кириловку, так садись на арбу, товарищ, мы тебя доведем до самого дома.

Посадили Тараса на передок чумацкой телеги, дали ему в руки кнут. А как только въехали в село да завидел он свою хату, возвышавшуюся на пригорке, так и закричал:

— Вон, вон наша хата!

— Ну, раз ты уже видишь свою хату, приятель, значит ступай с богом домой! — сказали чумаки.

Сняли мальчика с телеги, и он опрометью бросился на пригорок, к хате.

Над левадой, над садом сгустились уже синеватые южные сумерки; из долины тянуло прохладной сыростью...

А в хате Григория Шевченко было беспокойно: маленький Тарас не явился к ужину, где-то запропал; как ни кликала его Катерина, как ни искали его повсюду — исчез хлопец, да и все тут!

На дворе, возле хаты, на зеленой мураве сидела и ужинала вся семья. Лишь Катерина от волнения не могла есть, кусок не лез ей в горло; она стояла у калитки, подперев голову рукой, и все высматривала — не покажется ли загулявшийся сорванец.

И только появилась белокурая головка над перелазом, Катерина радостно закричала:

— Пришел! Пришел! — и, бросившись к брату, схватила его на руки, понесла через двор к хате, усадила в кружок ужинавших. — Садись ужинать, гуляка!

После ужина, укладывая мальчугана спать, Катерина целовала его:

— Ах ты, гуляка!..

А Тарас долго не мог уснуть; он думал о железных столбах и о том, говорить ли о них Катерине и Никите или не говорить. Никита бывал с отцом в Одессе и там, конечно, видел эти столбы. Как же говорить ему о них, когда Тарас их вовсе не видал?..

Отец ходил на юг с чумацкими обозами. Однажды он взял с собой Тараса, которому было не больше десяти лет.

«Выезжали мы из Гуляйполя, — вспоминал впоследствии Шевченко, — я сидел на возе и смотрел не на Новомиргород, лежащий в долине над Тикичем, а на степь, лежащую за Тикичем. Смотрел и думал... Вот мы взяли «соб» (вправо), перешли вброд Тикич, поднялись на гору. Смотрю — опять степь, степь широкая, беспредельная. Только чуть мреет влево что-то

похожее на лесок. Я спрашиваю у отца: что это видно?

— Девятая рота, — отвечает он мне. Но для меня этого не довольно. Я думаю: «Что это — 9-я рота?»

Степь. Все степь.

Наконец мы остановились ночевать в Дидовой балке.

На другой день та же степь и те же детские думы.

— А вот и Елисавет! — сказал отец.

— Где? — спросил я.

— Вон на горе цыганские шатры белеют.

К половине дня мы приехали в Грузовку, а на другой день поутру уже в самый Елисавет...»

Тарас в детстве немало наслушался и сказок, и песен, и легенд, и подлинных былей, до которых такие охотники чумаки, исколесившие тысячеверстными шляхами широкие просторы родной земли и знакомые с жизнью, с радостями и горестями многих людей...

Глубоко в душу западали рассказы родного деда Тараса, Ивана Андреевича Швеца, свидетеля «Колиивщины» (крупнейшего крестьянского восстания на Украине в 1768 году), — рассказы о гайдамаках, об их кровавой борьбе против шляхты. В эпилоге к своей поэме «Гайдамаки» Шевченко говорит:

Вспоминаю детство, хату, степь без края,
Вспоминаю батьку, деда вспоминаю
Как в праздник Минеи закрывши, бывало,
И выпив с соседом по чарке по малой,
Попросит он деда, чтоб тот рассказал
Про то, как Украина пожаром пылала,
Про Гонту, Максима, про все, что застал.
Столетние очи, как звезды, сияли,
Слова находились, текли в тишине...
И слезы соседи порой утирали,
Мальчонкою плакать случалось и мне...

Мальчишкой еще, бегая по селам Звенигородщины, Шевченко слышал разговоры о восстании царского войска в Трилесах; о крестьянском сыне, «славном лыцаре» Кармелюке; о том, что появился на Украине «сын Гонты», солдат, предлагающий помещикам добровольно отдать землю крестьянам, а самим убираться подобру-поздорову, «бо скоро будуть панів

різати».

Рядовой Днепровского полка Семенов, приехавший в отпуск в Уманский уезд в 1826 году, выдал себя за офицера, которому велено арестовать всех помещиков Киевской губернии. К Семенову присоединились крестьяне села Машурова, соседних сел; они отменили барщину и стали изгонять помещиков.

Спустя некоторое время Семенов вместе со 150 своими сподвижниками был арестован, наказан страшно плетьюми и сослан на каторгу...

В той самой хате, в Моринцах, где родился Тарас, раньше проживал крепостной крестьянин Энгельгардта — Копий. За сопротивление помещику и его управляющим Копия сослали в Сибирь; но он бежал, возвратился на родину и тут собрал ватагу молодцов, как и Кармелюк.

Копий потихоньку заходил в хату родителей Тараса; они его принимали, кормили, слушали его грустные рассказы о каторге, о жизни людей в далекой Сибири...

— Мы не разбойники, — говорил Копий, — мы караем панов за слезы наших сестер и матерей, отцов и братьев...

А в селе Выдыбор Радомышльского уезда — на Киевщине — крепостная Александра Шпачук рассказывала односельчанам во дворе у посессора — арендатора — Мясковского, что скоро, уже совсем скоро будут люди всех господ резать.

— Не бейте меня и не лайте на нас, — заявила она родственникам пана Мясковского, — бо на третий день праздников наступит резанина и Колиивщина!..

Рано изведал Тарас чистое и поэтическое чувство детской любви к маленькой Оксане Коваленко. Он потом вспоминал свою первую встречу с ней:

Тогда мне лет тринадцать было ²,
За выгоном я пас ягнят.
И то ли солнце так светило,
А может, просто был я рад
Нивесть чему. Все походило
На рай небесный..

Но и в этом «раю» мальчика преследовали все — те же тяжкие впечатления, все те же картины нищеты и неравенства.

Осмотрелся как спросонок
Село почернело,
Божье небо голубое
И то потемнело.
На ягнят я оглянулся —
Не мои ягнята!
Оглянулся я на хату —
Нет у меня хаты!
Ничего господь мне не дал!..
Горький и убогий,
Я заплакал!..

В эту минуту к Тарасу подошла маленькая девочка — чернобровая, кудрявая девятилетняя красавица. Она собирала неподалеку у дороги коноплю Звали ее Оксаной. Она была сирота, крепостная, как и Тарас.

Увидев, что Тарас плачет, Оксана, словно большая, утерла ему слезы.

— Не плачь, не плачь, не надо, — серьезно и ласково уговаривала она мальчугана. И поцеловала его белобрысую головку серьезным, материнским поцелуем...

И снова солнце засияло,
И словно все на свете стало
Моим... дуброва, поле, сад!
И мы, шутя, смеясь, погнали
На водопой чужих ягнят.

Так началась эта трогательная, задушевная дружба...

Вместе с Оксаной Тарас пас стадо, вместе работал в поле. А в минуты отдыха дети плели венки и пели свои любимые песни: «Тече річка невеличка з вишневого саду, кличе козак дівчиноньку собі на пораду...» Или Оксана вдруг запевала бойко и весело:

Люблю, мамо, Петруся,
Поговору боюся!..

А потом, тесно прижавшись друг к другу, дети затягивали грустную,

мелодичную «У степу могила з вітром говорила...» и плакали...

Трагически сложилась судьба Оксаны Коваленко.

Когда Шевченко в 1843 году, после долгого перерыва, снова приехал на Украину и побывал в родном селе, он спросил у своего старшего брата:

— А жива наша Оксаночка?..

— Какая это? — не сразу вспомнил брат.

— Да та, маленькая, кудрявая, что когда-то играла с нами...

И тут вдруг заметил, как тень прошла по лицу брата.

— Что же ты смутился, братец?

— Да знаешь, отправилась наша Оксаночка в поход за полком, да и пропала. Возвратилась, правда, спустя год. Ну, да что уж там! Возвратилась с ребенком на руках, остриженная. Бывало, ночью сидит, бедная, под забором да и кричит кукушкой или напеваает себе тихонько и все руками так делает — словно косы свои расплетает, а кос-то и пет! А потом снова куда-то исчезла — никто не знает, куда девалась. Пропала, свихнулась... А что за девушка была! Да вот же — не дал бог счастья...

Молча выслушал Тарас эту грустную повесть, опустил голову, нахмурился и про себя подумал:

«Не дал бог счастья... А может, и дал, да кто-то отнял — самого бога одурачил!..»

Восьми лет от роду Тарас стал учиться грамоте. Первым его учителем был кириловский дьячок Павел Рубан, прозванный «слепым Совгирем» за то, что был крив на один глаз. Рубан обучал детей грамоте по псалтырю, заставляя их складывать из букв бессмысленные «тьму» да «мну».

Тарас был рад, когда удавалось вырваться на волю, убежать куда-нибудь в сад, в овраг, за огороды, где сверстники его спокойно играли, не зная никаких букварей и псалтырей.

Но отец Тараса, человек бывалый и умный, хотел, чтобы сын непременно учился грамоте; а ведь это в те времена было редкостью на селе один-два грамотных человека приходились на сотню.

Широкоплечий, высокий, еще не старый мужчина, Рубан усердно таскал своих питомцев за волосы, а по субботам потчевал «березовой кашей». Чтобы хлопцы при этом не кричали, он заставлял их вслух повторять «четвертую заповедь» «Помни день субботний...»

Когда очередь доходила до Тараса, тот просил дьячка, чтобы держали его покрепче. Рубан держал Тараса, да уж зато и старался выпороть его сильнее всех прочих мальчишек.

А ведь был дьячок совсем не злым человеком, любил он и свое дело и порученных ему ребят, да вот поди ж ты! Такова была эпоха, таковы были

нравы.

И Шевченко даже с теплым чувством вспоминал о своем простодушном учителе и называл время учения у «Совгиря слепого» «счастливой для себя эпохой»

«Ты, горемыка, и сам не знал, что делал; тебя так били, и ты так бил, и не подозревал греха в своем простосердечии! Мир праху твоему, жалкий скиталец! Ты был совершенно прав!»

Когда умерла мать Тараса, ему было всего девять лет.

Старшая сестра Катерина, выпестовавшая мальчугана, вышла замуж за крепостного крестьянина из другого села и уехала с ним в Зеленую Дубраву, за десять верст от Кирилówki. На руках у Григория Шевченко осталось еще пятеро детей, мал мала меньше — двенадцатилетний Никита, теперь уже самый старший, младшие сестры и братья: Тарас, Ирина, Мария и Иосиф — последнему едва пошел третий год.

Отец вскоре после смерти жены снова женился Но Оксана Терещенко, вдова с тремя детьми, не при несла в дом мира и благополучия.

«Кто видел хоть издали, — рассказывает Шевченко, — мачеху и так называемых сведенных детей тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве».

Тарасу, мальчику непокорному, не терпевшем обмана и насилия, доставалось от мачехи.

В те времена по многим деревням Украины были размещены на постой войска. В хате Григория Шевченко тоже жил солдат-постоялец. И вот однажды солдат обнаружил, что у него пропали три злотых (три монеты по пятнадцать копеек).

Мачеха заподозрила ни в чем не повинного Тараса.

— Гроші украв Тарас! — уверенно твердила она, несмотря на все клятвы и заверения мальчика.

Опасаясь жестокой расправы, Тарас спрятался в буйных зарослях бурьяна за огородом и просидел там четыре дня. В кустах калины он соорудил себе шалаш, сделал вокруг дорожки, аккуратно посыпав их песком. Тут же, на дереве, устроил мишень для стрельбы в цель из самодельной бузинной пищали. Меньшая сестра Ирина потихоньку носила ему в шалаш еду.

Однако же дети мачехи выследили Тараса и выдали беглеца старшим. Несчастливого мальчика принялись нещадно бить розгами.

Но он держался стойко. Ирина рыдала больше, чем избиваемый брат, и только ради сестры он согласился взять на себя чужое преступление.

Солдату возместили его пропажу, продав какую то юбку, оставшуюся

от покойной матери. А между тем настоящий вор был позже обнаружен: деньги у солдата украд сын мачехи — Степан, спрятавший их в дупло старой вербы...

Весной 1825 года, едва достигнув сорока лет, умер отец Шевченко. Осенью он ездил на волах в Киев и в дороге захворал.

Отец, умирая, сказал:

— Сыну Тарасу из моего хозяйства ничего не нужно; он будет необыкновенным человеком; из него выйдет или что-нибудь очень хорошее, или большой горемыка; мое наследство либо ничего для него не составит, либо ничем ему не поможет...

У Тараса было со стороны отца трое дядей: Емельян, Савва и самый младший, Павел. Он-то и предложил мачехе «вывести в люди» осиротевшего одиннадцатилетнего мальчугана; дядюшка взял Тараса к себе в бесплатные батраки — «за ястие и питие», то есть за скудные харчи.

И Тарас «пішов у найми».

Детство — трудное и трудовое, но все-таки детство — окончилось безвозвратно.

Мало светлого осталось в памяти Тараса об этих ранних годах его жизни:

За что, не знаю, называют
Мужичью хату божьим раем...
Там, в хате, мучился и я,
Там первая слеза моя
Когда-то пролилась! Не знаю,
Найдется ли у бога зло,
Что в хате той бы не жило?..
Не называю тихим раем
Ту хату на краю села.
Там мать моя мне жизнь дала,
И с песней колыбель качала,
И с песней скорбь переливала
В свое дитя. Я в хате той
Не счастье и не рай святой —
Я ад узнал в ней... Там забота,
Нужда, неволя и работа..
Там ласковую мать мою
Свели в могилу молодою
Труд с непосильною нуждою.

Отец поплакал, вторя нам,
Голодным, маленьким ребятам,
Но барщины ярем проклятый
Носил недолго он и сам.
Бедняга умер. По дворам
Порасползлись мы, как мышата...
Дрожу, когда лишь вспоминаю
Ту хату на краю села!

II. ЮНОСТЬ БЕСПОКОЙНАЯ

У родного дяди Павла Ивановича Шевченко к Тарасу относились хуже, чем к чужому: дядя люто бил мальчугана за малейшую оплошность или просто за то, что малыш не мог подолгу сносить тяжелую работу в поле, где ему приходилось пахать «восьмериком» (на восьми волах).

Бывало, тихонько подкрадетя Павел Иванович к замечтавшемуся Тарасу да и поколотит. Он тогда убежал на курган в Пединовке, в Кульбашев лес.

Иногда добирался и до Зеленой Дубравы, где жила с мужем сестра Катерина Григорьевна Красицкая.

Антон Красицкий, молодой, трудолюбивый и непьющий человек, относился к маленькому Тарасу гораздо ласковее и приветливее, чем родные дядья. Но был он беден, пошли дети³, и взять Тараса к себе Красицкие не могли.

Когда же босой и оборванный Тарас прибежал к ним в Зеленую Дубраву, его пригревали, сколько могли. Сестра заботливо мыла и кормила сироту. Позже Катерина Григорьевна вспоминала:

— Бродягой я его называла, ей-богу... Бывало, и не заметишь, как двери скрипнут, да и войдет он тихонько в хату, сядет себе на лавке и все молчит. Ничего на свете у него не добьешься: прогнали ли его откуда, били, или есть ему не давали — никогда не пожалуется. Бывало, все бродит от села к селу, да все тропинками, под самым лесом, да через Гарбузову балку, да через левады, да под курганами... Однажды забрался в хату, на лавку камнем упал и уснул, сердечный, а я-то как глянула ему в голову, а она нечесана и немыта... Вот как оно бывало... Ну, да после как-то выправился и стал, смотри, человеком...

Вместе с сестрой Катериной Тарас пешком ходил на богомолье в близлежащие и в дальние монастыри, в Мотронинский монастырь — близ Жаботина на Черкасщине.

Расположенный в густом Мотронинском лесу, он был знаменит тем, что отсюда началась Колиивщина 1768 года; здесь Максим Зализняк собирал свое крестьянское войско; в Мотронинском лесу, по сохранившемуся в народе преданию, гайдамаки «святили» ножи перед походом на Умань.

На кладбище монастырском похоронены участники восстания, о чем

гласят надписи на тяжелых каменных и чугунных могильных плитах. Тарас вслух читал богомольцам надписи на надгробиях. А среди стариков, собравшихся на богомолье, были и такие, что сами помнили славные события Колиивщины.

Гайдамаками руководили Никита Швачка, Иван Гонта, Никита Москаль — отважные сыны трудового крестьянства. Восстание быстро распространялось. Повстанцы надеялись, что им окажут помощь войска Екатерины II, однако царское правительство поддержало не гайдамаков, а шляхту. Вожаки Колиивщины были схвачены, и все восстание потоплено в море крови.

Но особенно любимый народом бедняцкий атаман Максим Зализняк, сосланный в Сибирь, бежал с каторги; и сохранились вполне достоверные сведения, что спустя пять лет он участвовал в крестьянской войне, руководимой Емельяном Пугачевым.

Народ не забывал своих героев, слагал о них легенды, воспевал их подвиги, горячо верил, что не пропадет даром пролитая кровь.

Кириловская церковноприходская школа помещалась в просторной избе, стоявшей в самом центре села — на площади, возле церкви. Но была она запущена донельзя снаружи и изнутри; от трактира, как говорили, школа эта отличалась только тем, что в ней было гораздо грязнее; да и стекла в окнах были почти все выбиты соединенными энергичными усилиями учеников двух классов-в школе, в общей комнате, вели занятия двое учителей: Петр Богорский и Андрей Знивелич. Каждый имел своих питомцев, но у Богорского учеников было больше, по тому что в деревне считалось, что он «краще учить» — лучше учит.

Дьячок Петр Богорский, сын священника, учился ранее в Киевской духовной семинарии, но не окончил ее. А выйдя из семинарии, обучился при архиерейском хоре «церковному уставу и нотному пению» и был определен в село Кириловку; в это время Богорскому было всего двадцать шесть — двадцать семь лет, а это был уже совершенно спившийся, погибший человек.

К этому-то Петру Богорскому и нанялся в работники Тарас, когда сбежал от своего дяди Павла Ивановича.

«Пребывание мое в школе, — вспоминает Шевченко, — было довольно некомфортабельное». Он учился вместе со всеми школярами, а потом таскал воду, колол дрова и топил печи, мыл и прибирал в хате. Кроме того, Богорский посылал подростка читать псалтырь над покойниками; за это Тарас получал обыкновенно «кныш» и «копу» деньгами — пятьдесят копеек. Деньги он отдавал дьячку как его доход, и тот уже от щедрот своих

уделял мальчику пятак «на бублики».

Ходил Тарас постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечно грязной, бессменной рубашке, а о шапке и сапогах и помину не было ни летом, ни зимою. Однажды дал ему какой-то мужик «на пришвы ремню» — кожи на сапоги, — да и то учитель отобрал как свою собственность.

Тарас голодал. Младшие сестры его, жившие у мачехи, Ирина и Маруся, припрятавали для него кусочки хлеба в условленном месте, откуда Тарас ночью их забирал Богорский вместе со своим неизменным собутыльником Ионою отнимал у мальчика даже эту скудную провизию.

Занятия в школе проходили далеко не регулярно Иногда учителя на два-три дня совсем исчезали, пьянствуя по окрестным деревням. Появление их в школе после таких отлучек повергало учеников в трепет, так как учителя обычно возвращались домой не в духе.

— Натерпелся-таки Тарас в той школе, — рассказывала впоследствии Ирина. — Толкли его там, прямо как куль; подчас не стерпит да что-нибудь и выскажет... Он такой был у нас... Вот ему и попадало больше всех!

Маленький Тарас уже выделялся среди своих сверстников; он любил рисовать, читать.

Бывало, в школе я когда-то,
Лишь зазевается дьячок,
Стяну тихонько пятак
Ходил тогда я весь в заплатах,
Таким был бедным, — и куплю
Листок бумаги. И скреплю
Я ниткой книжечку. Крестами
И тонкой рамкою с цветами
Кругом страницы обведу,
Перепишу Сковороду
Или «Три царие со дары»⁴
И от дороги в стороне,
Чтоб обо мне кто не судачил,
Пою себе и плачу

Тарас рисовал — мелом, углем — где придется-на стенах, на дверях, на воротах. У его одноклассника Тараса Гончаренко еще много лет спустя хата была украшена изображениями солдат и лошадей на больших кусках толстой серой бумаги, — это были школьные рисунки Шевченко.

С дьячком Богорским ужиться Тарас не смог: весь облик этого опустившегося, потерявшего совесть человека вызывал у подростка омерзение.

В своей автобиографии Шевченко рассказывает: «Этот первый деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим. Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще оканчивают выведенные из терпения беззащитные люди, — мстью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него собственное его оружие — розги и, насколько хватило детских сил, оплатил ему за все его жестокости. Из всех пожитков пьяницы дьячка драгоценнейшею вещью казалась мне всегда какая-то книжечка с «кунштиками», то есть гравированными картинками, вероятно, самой плохой работы. Я не счел грехом, или не устоял против искушения, похитить эту драгоценность и ночью бежал в местечко Лысянку».

В Лысянку, воспетую им позднее в «Гайдамаках», Шевченко отправился пешком — от Кириловки более двадцати верст — с уже вполне определившимся стремлением-он хотел учиться рисовать, а в бойком торговом местечке, над рекой Тикичем, процветало ремесло иконописного малярства. Вот к одному маляру-дьячку и нанялся Тарас.

Скоро он убедился, что маляр этот мало чем отличается от Богорского. Тарас терпеливо дня три носил из Тикича ведрами воду и растирал краску-медянку на железном листе, а на четвертый бросил маляра и убежал в село Тарасовку: он прослышал, что там есть дьячок, славящийся по всей округе искусством изображать великомученика Никиту и Ивана-воина; у этого святого он для большего эффекта рисовал на левом рукаве две солдатские нашивки.

Но живописец, понаторевший в изображении святых, одетых в александровские мундиры, не стал долго изучать способности юного Шевченко; о «посмотрел на его левую ладонь и решительно заявил, что маленький бродяга не имеет никакого призвания не только к малярству, но также и к сапожничеству и к бочарству. Ясно было, что все эти ремесла ставились им примерно на одну доску.

Этот приговор произвел, однако, на подростка большое впечатление. Он готов был поверить в свою неспособность сделаться живописцем. С сокрушенным сердцем возвратился Тарас в Кириловку, где ему теперь оставалось только снова пасти чужое стадо, утешаясь чтением захваченной у Богорского книжечки с «кунштиками».

Восемнадцатилетний старший брат Тараса, Никита, еще от отца научившийся мастерству колесника, предложил Тарасу преподать ему сложную и весьма необходимую по тем временам науку выгибания косяков и ободьев для тележных колес из свежего дуба или березы. Но Тарас наотрез отказался. Ему теперь немилы была никакая ремесленная работа.

И он пошел батраком в зажиточный дом Кириловского попа Григория Кошица.

Отец Григорий даже в своей среде был довольно мрачной личностью. Добровольный соглядатай полицейских властей, он сочинял от времени до времени доносы «по начальству» о мятежных настроениях крестьян.

А речи его, обращенные к прихожанам, имели — по сохранившейся его собственной записи — следующий вид:

— Вас никто не будет бить, если вы будете стараться работать, как должно по обязанности своей, и, не противясь, будете в полном повиновении начальству, от бога над вами поставленному, а кто воспротивится и ослушным в чем-либо окажется, то тот наказан будет...

Кошиц имел большое хозяйство, два доходных сада и сбывал урожаи слив, яблок, груш и дынь на окрестных ярмарках. А будучи по характеру своему предельным скрягой, пытался торговать и всякой фруктовой зеленью и недозрелой дрянью, о которой даже супруга отца Григория, матушка Ксения Прокопьевна, обыкновенно говаривала:

— И что это ты задумал такое на базар везти?

Ведь это добрые люди везде отдают «за спасибі», а то и свиньям просто бросают!

Но поп имел взгляд на эти вещи сугубо экономический и «за спасибі» ничего не привык делать людям.

Вот к такому-то хозяину и попал в батраки Шевченко. На его обязанности первоначально лежал уход за буланой кобылой и грязная домашняя работа: он топил печи «в покоях», мыл посуду и полы. Позже его стали посылать на всевозможные хозяйственные и полевые работы, а также и в самостоятельные экспедиции на буланой кобыле на ярмарки и базары. На той же кобыле доставлял он и сына отца Григория, Яся, в Богуслав, где попovich обучался в духовной семинарии, или, попросту, в бурсе.

Однажды вместе с Ясем Тарас повез в соседнее местечко Шполу на продажу ранние сливы из поповского сада. Но на нечитайловском мосту, что у села Зеленая Дубрава, постигла путников беда: не то мост подломился, не то кобыла оступилась, но только телега со сливами оказалась на боку, а весь товар отца Григория высыпался прямехонько в нечитайловский пруд.

Зная характер своего папаша, Ясь не мог оставить сливы пропадать в болоте, и они с Тарасом принялись их вылавливать. Нетрудно догадаться, что на ярмарке сильно потерпевший от такой передряги товар не имел сбыта и был Продан за бесценок.

За свою службу у Григория Кошица Тарас сначала никакой платы не получал, работая «на харчах и хозяйской одежде»; позднее ему было положено уже и денежное вознаграждение в размере трех рублей ассигнациями в год.

Вскоре Тарас оставил неприветливый дом Кошицев. Он решил вновь попытаться учиться живописному мастерству.

Еще во время службы у Кошица Шевченко разрисовывал углем стены конюшни и кладовой, высокие заборы усадьбы: повсюду появлялись изображения людей, петухов, даже киево-печерской колокольни, которой Тарас еще и не видел никогда.

Покинув Кириловку, Шевченко отправился в село Хлипновку, где было несколько хороших маляров, известных своими богомазными работами. Хлипновский маляр, к которому обратился Тарас, взялся испробовать его способности на деле.

Маляру понравилась работа хлопца, он увидел, что из него может получиться толк. Но как бить? Ведь без разрешения помещика крепостной и «имел права ни учиться, ни наниматься, а Тарасу уже скоро должно было исполниться пятнадцать лет, и его могли в любую минуту потребовать к хозяину.

Пришлось Тарасу отправляться к управляющему помещика Энгельгардта и просить разрешения обучаться малярству.

Господская контора имела резиденцию в местечке Ольшаной, где доживал свой век престарелый пан Энгельгардт со своими двумя побочными сыновьями.

По законном усыновлении Павел и Василий Энгельгардты получили в свое владение часть обширных имений вместе с крепостными.

Шевченко явился к управляющему как раз в то время, когда тот набирал из крестьянской молодежи дворню для недавно женившегося Павла Энгельгардта.

Пятнадцатилетний Тарас, казавшийся старше своих лет, серьезно и настойчиво стал просить разрешения учиться живописи. Но управляющий увидел, что умный и развитой юноша будет очень подходящим «услужавшим» для молодого барина, и Шевченко тотчас был занесен в «реестры» пригодных для дворовой службы людей.

Теперь Тарасу предстояло обслуживать прихоти «пана» и «пани».

В списке отобранной для «дворовой службы» молодежи управляющий Энгельгардта отметил против имени Тараса Шевченко: «Годен на комнатного живописца».

Но молодому Энгельгардту эта высокая профессия была не нужна в его ежедневном обиходе. Тарас вместо обучения изящным искусствам был причислен к ученикам господского повара.

Однако должность поваренка не была самой худшей. Тарасу пришлось пройти и еще более унижительную школу — в должности комнатного казачка, мальчика «для услуг».

Здесь в его обязанности входило стоять неподвижно и молчаливо в уголке одетым в тиковую куртку и такие же шаровары, пока не раздастся барский окрик:

— Мальчик, трубку!

И казачок должен стремглав подбежать и подать барину трубку, хотя она лежит тут же, у барина под рукой.

— Мальчик, воды!

И казачок бежит, чтобы налить барину стакан воды.

Потом опять безмолвное стояние в углу до нового господского приказания.

Но у Тараса в характере была, как он сам говорил, «врожденная предрозность», и, даже стоя в ожидании барских повелений, он не мог удержаться от того, чтобы не проявить «дерзко» свою одаренную натуру. Он тихонько напевал грустные, но непокорные гайдамацкие песни, а улучив свободную минутку, тайком перерисовывал картины, украшавшие господские комнаты. Но даже карандаш для этой сокровенной работы он вынужден был незаметно похитить у конторщика: маленькому рабу не полагалось и этой скромной собственности...

Молодой Энгельгардт часто выезжал из родового имения, и Шевченко вместе с другой прислугой сопровождал своего хозяина, путешествуя вслед за господской коляской в обозе.

Так увидел Тарас Киев — жизнерадостный город над обрывами Днепра, щедро залитый ярким южным солнцем, утопающий в зелени лип, тополей и каштанов. Это было летом 1829 года.

Поэт на всю жизнь сохранил к красавцу Киеву чувство горячей душевной привязанности. Он любил бывать здесь и мечтал поселиться где-нибудь под Киевом, на высоком берегу могучего Днепра.

Недаром первая же строка стихотворения, открывающего теперь «Кобзарь», воспекает милый сердцу поэта Днепр:

Ревет и стонет Днепр широкий

А в закаспийской ссылке Шевченко писал:

«Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестись мыслию на берег широкого Днепра... Я лелею мое старческое воображение картинами золотоголового, садами повитого и тополями увенчанного Киева»

Разъезжая со своим помещиком, Тарас собирал всевозможные рисунки, где бы они ему ни встречались Лубочные картинки, ремесленные изделия «суздальской школы», как впоследствии говаривал Шевченко, аляповатые и грубо намалеванные, плохо отпечатанные, составляли драгоценнейшее достояние маленького любителя изящного.

Это были изображения популярных исторических героев и мифических персонажей: в окружении бодро скачущих и до зубов вооруженных всадников, на ярко-зеленом фоне, под ярко-синими облаками красовались казак Платов и генерал-фельдмаршал Кутузов; здесь Соловей-разбойник, там смертельно раненный любимец солдат Кульнев; дюжие, разукрашенные кричащими красками «русский ратник Иван Гвоздила» и «русский мужик Долбила» поражали чахлах французиков, а надписи к рисункам гласили:

«У басурмана ножки тоненьки, душа коротенька Что, мусью, промахнулся? Ан вот тебе раз, другой бабушка даст»

Но среди этих «суздальских» изделий попадались иногда и мастерские гравюры Венецианова или меткие, остроумные карикатуры Терebeneва, талантливые батальные и жанровые литографии Александра Орловского — его композиции: «Линейные казаки» или «Извозчицья биржа».

Да и в грубой, прямолинейной выразительности лубка была своя художественная прелесть, своя сочная, откровенная жизненная правда Здесь проглядывали и презрение к изнеженному барину, и уважение к мужику, и сознание великой силы закрепощенного народа, который, когда захочет, «за себя постоит правдою». А вилы-тройчатки да топоры, постоянно фигурировавшие в лубочных стычках русского крестьянина с наполеоновскими завоевателями, являлись «традиционным оружием народа и в его вековой борьбе против собственных угнетателей.

Улучив свободную минутку, Тарас иногда забирался в глухой уголок господского сада. Он развешивал на деревьях и кустах свою нехитрую картинную галерею, усаживался прямо на траву и затаив дыхание любовался.

Многие помещики обучали своих крепостных различным искусствам, чтобы иметь у себя даровых художников, архитекторов, музыкантов и актеров. Но Энгельгардт принадлежал к людям малообразованным и ограниченным, а по натуре был жестоким и черствым самодуром.

...Тогда Энгельгардт со своей дворней жил в Вильно. 6 декабря, в день святого Николая Мирликийского, барин и барыня отправились на бал в Дворянское собрание.

Тарас использовал представившуюся ему свободу; он зажег свечу, развернул свою художественную коллекцию, выбрал из нее картинку, изображавшую казака Платова верхом на коне, и стал ее перерисовывать.

Он уже срисовал фигуры окружавших Платова казаков, как вдруг дверь распахнулась и на пороге появился Энгельгардт с женой.

— Да ведь это что же такое? — кричал разъяренный барин. — Так недолго сжечь весь дом! Что дом — ты мог сжечь весь город!..

И Энгельгардт тут же распорядился, чтобы кучер Сидорка на следующий день выпорол Тараса на конюшне...

В Вильно (Вильнюсе), древней столице Литвы, Шевченко прожил около полутора лет — с осени 1829 до февраля 1831 года. Здесь Тарас обучался некоторое время у известного литовского художника, руководителя кафедры живописи Виленского университета Яна Руслема; его квартира и мастерская были расположены прямо через улицу от дома Энгельгардтов. Шевченко даже спустя много лет, в ссылке, вспоминал полезные советы «старика Руслема». К виленскому периоду относятся и первые дошедшие до нас рисунки Тараса, прежде всего «Женская головка» (1830).

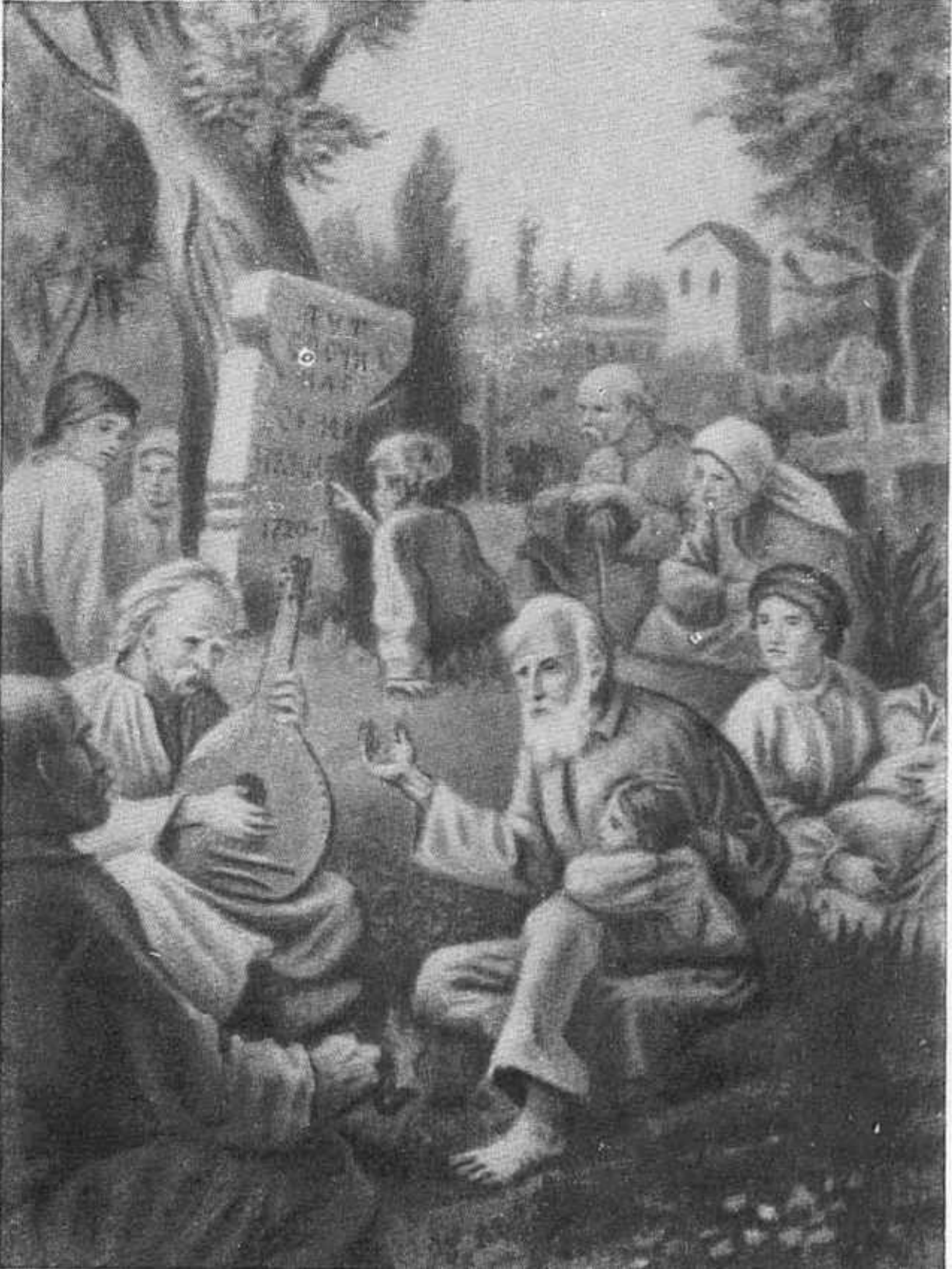
Юноша владел польским языком и мог свободно читать в оригинале Красицкого и Мицкевича, польских революционных романтиков Северина Рошинского и Антонина Мальчевского, многое запомнил наизусть. Он рано прочитал и некоторые научные сочинения по истории и искусству.

До 1824 года в Виленском университете протекала бурная деятельность выдающегося польского ученого и революционера Иоахима Лелевеля. После того как царские власти раскрыли тайное студенческое общество, вдохновителем которого был Лелевель, ему запретили проживать в Вильно. Но в городе его еще долго помнили и студенты и поэты.

Одновременно с Лелевелем был выслан из Вильно его гениальный ученик, один из самых горячих членов тайной студенческой организации, Адам Мицкевич. Его «Баллады и романсы», проникнутая священным пафосом борьбы во имя народа «Гражина», остро антикрепостнические «Дзяды», «Крымские сонеты», наконец, знаменитая «Ода к молодости»

повсюду в городе передавались из рук в руки и из уст в уста.

Летом 1830 года на польских землях Российской империи, как и по всей Европе, разнеслась весть об июльской революции во Франции. Но здесь к этому известию отнеслись прямо как к трубному призыву: на улицах Варшавы и Вильно можно было услышать звуки «Марсельезы». «К оружию, граждане!» — повторяла молодежь поработанной Польши.



Тарас мальчиком слушает рассказы стариков на кладбище гайдамаков.
Рисунок В. И. Касяна.

Слышал в эти дни о французской революции, конечно, и Шевченко. Юноша все лучше начинал понимать происходившие события: Тарас познакомился с Виленской студенческой и ремесленнической молодежью. К сожалению, об этих знакомствах сохранилось чрезвычайно мало сведений. Но мы, например, знаем, что в это время у него в Вильно появился близкий друг: это была девушка-полька, работавшая швеей. Звали ее Дуся Гусаковская. Шевченко называл ее Дуней.

«Равенство, братство и свобода» — этот незабываемый девиз третьего сословия времен Великой французской революции, туманный и романтический, но такой сладкий и привлекательный для измученных деспотизмом людей, звучал в то время и в стихах Мицкевича и в речах Лелевеля. Эти волнующие слова возникали и в душевных беседах крепостного казачка Тараса с бедной Виленской швеей, «милой Дуней чернобровой».

И недаром, вспоминая о своей дружбе с Дуней, Шевченко говорил:

— Я в первый раз пришел тогда к мысли: отчего и нам, крепостным, не быть такими же людьми, как и люди других, свободных сословий?

Впоследствии поэт искренне восклицал:

— Вильно дорого по воспоминаниям моему сердцу!

В присоединенных к России польских областях, как раз во время пребывания там юного Шевченко, вспыхнула революция.

По городам и селам разбрасывались прокламации на польском, русском и украинском языках; на улицах по утрам можно было успеть прочесть наклеенные на стенах и заборах воззвания, которые полиция быстро срывала, в университетских коридорах громко звучали смелые антиправительственные речи.

В одной прокламации, написанной по-украински, говорилось:

«Вы не будете больше знать ни помещиков, ни управляющих, дерущих теперь с вас шкуру, насилующих ваших жен и дочерей, а вас гонящих изо дня в день так, что не ведаете ни праздника, ни отдыха, потому что с кнутом стоят над вами, а то на дыбу вас тянут или розгами секут так, что вся шкура у вас сходит с костей...»

Непосредственным сигналом к выступлению послужил слух о том, что Николай I приказал послать польские воинские части против французских революционеров. И вот в ночь на 17 ноября 1830 года, в знаменитую «Бельведерскую ночь», вспыхнуло в Варшаве восстание; оно быстро охватило польские войска, распространилось сразу на ряд городов и принудило наместника Польши, брата царя, великого князя Константина

поспешно и позорно бежать в Петербург.

Ноябрьское восстание заставило бежать и хозяина Шевченко — Павла Энгельгардта. Он вышел в отставку и перебрался в Петербург. Весь состав помещицкой прислуги должен был догонять своего умчавшегося на курьерских барина самым простым по тем временам способом: люди шли пешком, по «этапу», сопровождая длинный обоз с господским движимым имуществом.

Тяжелейший этот переход совершался в зимнюю пору, в самые лютые морозы, и продолжался не менее двух месяцев.

У Тараса были совсем худые сапоги, и вскоре один совсем развалился.

Чтобы не отморозить ног, Тарас переодевал оставшийся сапог с одной ноги на другую, присаживаясь у обочины дороги. Но этапным солдатам скоро надоели эти частые задержки, и они стали запрещать останавливаться.

Шел снег, и колючий северный ветер бил в лицо...

Далеко позади остались недавние мечты, волнения, надежды Тараса.

Где, когда увидит он снова чернобровую свою Дусю, и увидит ли ее вообще?..

Мела пурга, скрипели полозья саней, ныли от холода пальцы ног... А впереди еще лежали восемьсот верст пути, и пасмурное, серое северное небо все ниже и ниже опускалось над ухабистой, заснеженной дорогой...

III. РАССВЕТ

Шевченко прибыл в Петербург в начале 1831 года. Ему только исполнилось семнадцать лет.

Тарас по-прежнему исправлял должность казачка в роскошном доме Павла Энгельгардта на Моховой, вблизи Летнего сада.

Энгельгардт, уже признав за своим «дворовым человеком» дарование рисовальщика, стремился использовать способности юноши для «домашних надобностей»: барин заставлял Тараса выполнять разные художественные работы по отделке дома. Наконец помещик все-таки согласился на неотступные просьбы юноши разрешить ему учиться у маляра-живописца.

Был заключен договор между помещиком Павлом Энгельгардтом и вольноотпущенным из крепостных «разных живописных дел цеховым мастером» Василием Ширяевым: Шевченко на четыре года направлялся на обучение к Ширяеву и поселялся у него на Квартире на полном иждивении; он должен был выполнять всякую работу, которую брал для своей артели Ширяев; деньги получал Ширяев, плативший определенную сумму Энгельгардту.

Когда Шевченко переехал к художнику на Загородный проспект (близ Владимирской площади), юноше уже пошел девятнадцатый год. С величайшей охотой брался он за трудное дело, сулившее ему на первых порах одну только тяжкую работу с раннего утра до поздней ночи.

На новой должности Тарас обязан был и растирать краски, и варить клей, и мыть кисти, и до боли в плече накладывать грунты.

Ширяев к тому же оказался человеком грубым и жестоким. Ученики трепетали перед ним, а он требовал от них усердия в работе и не разрешал никаких развлечений или отлучек из дома. За малейшую провинность следовала беспощадная кулачная расправа.

Василий Григорьевич Ширяев собственными усилиями выбился из нужды и подневольного положения; и потому свое грубое обращение с учениками он обыкновенно оправдывал так:

— Да что ж, меня никто не гладил по головке, чего же и я буду гладить? Я прошел трудный путь, пускай и они испытают, как нелегко добиться человеку, чтобы за ним признали его цену!

У Ширяева постоянно проживали три-четыре ученика-подмастерья.

Жили они в его доме в мансарде с двумя небольшими окнами во двор. На этом чердаке Тарас прожил около пяти лет.

Когда Шевченко поступил к Ширяеву, тому было немного за тридцать лет, но он уже пользовался большой известностью и всеобщим уважением как один из искуснейших в Петербурге художников-декораторов.

Выдающийся русский зодчий Карл Иванович Росси очень высоко ценил мастерство Ширяева, привлекал для расписывания и художественной лепки плафонов, сводов, колоннад и стен; часто Ширяев работал по собственным рисункам или поручал сочинение орнаментов и арабесок своим ученикам. Ширяев выполнял основные живописные работы в сооружавшемся по проектам и под руководством Росси здании Сената и Синода.

В росписи Сената участвовал и Шевченко. Ширяев скоро заметил выдающиеся дарования юноши и давал возможность им проявляться и совершенствоваться. Шевченко от растирания красок и грунтовки перешел к самостоятельному творчеству.

Вскоре молодому архитектору Альберту Кавосу (сыну известного композитора и дирижера К. А. Кавоса) была поручена реставрация петербургского Большого Каменного театра. Провели конкурс на лучшее выполнение живописных работ внутри театра. Эскизы оформления представили академик Медичи и комнатный живописец Ширяев. Рисунки Медичи были отвергнуты, а рисунки его конкурента одобрены, и с Ширяевым заключен контракт на живописную отделку театра.

Среди эскизов, представленных Ширяевым, были рисунки его учеников. Известно, например, что самостоятельно Тарасом Шевченко были сочинены и выполнены все орнаменты и арабески, украсившие плафон зрительного зала. Вместе с Ширяевым Шевченко расписал фойе и аванзалы, парадные лестницы и прочее.

Всех живописных работ по росписи Большого Каменного театра было сделано Ширяевым и его учениками на солидную по тем временам сумму — двадцать одну тысячу рублей.

Роспись петербургского Большого Каменного театра, как и оригиналы эскизов, не сохранилась. Но по отзывам современников, театр после его перестройки и нового оформления в тридцатых годах прошлого столетия был одним из красивейших в Европе.

Ширяев владел ценным собранием картин и эстампов. В его коллекции Шевченко видел и оригиналы выдающегося испанского живописца XVII века Хосе Рибера (прозванного Спальоетто), и много гравюр — тонких и изящных работ француза Жерара Одрана, прославившегося

воспроизведением на меди жизнерадостных картин Никола Пуссена; итальянца Джованни Вольпаю, оставившего целую галерею великолепных гравюр с картин Рафаэля.

Была у Ширяева небольшая библиотека. И Шевченко глотал том за томом «Путешествие Анахарсиса младшего в Грецию»; юношу увлекал пафос народовластия, которым проникнута эта замечательная книга аббата Бартеlemi, воспевшего в своем «Путешествии» демократическую республику древних в поучение современникам...

В доме Ширяева собирались художники — друзья, знакомые хозяина, вели ожесточенные споры об искусстве, декламировали стихотворения Пушкина, Жуковского. Эту декламацию всегда внимательно слушали юные ученики хозяина; одним из них был Тарас Шевченко.

Тарас полюбил Петербург: его строгую, стройную архитектуру, парки и окрестности. Бывал он и в Царском Селе, в Петергофе, Павловске, Гатчине. Летом, в белые петербургские ночи, забирался в Летний сад, где срисовывал мраморные статуи работы Антонио Бонацца.

Он любил длинные, прямые аллеи Летнего сада с фантастически светящимися в сумерках немеркнущего дня фигурами нимф и сатиров; любил бродить по Академической набережной и встречать ранний восход солнца на Троицком мосту.

В эти же белые петербургские ночи часто гулял по пустынным улицам и паркам другой молодой художник; он тоже проводил время до рассвета где-нибудь на островах или подолгу стоял на набережной, глядя в спокойные воды Невы, отражавшей, словно гигантское зеркало, каждую деталь величественного портика Румянцевского музея, угол здания Сената и красные занавеси в окнах дома графини Лаваль.

Молодой художник тоже приехал в Петербург с Украины, с берегов так хорошо знакомой Тарасу Роси, и уже поступил учиться в Академию художеств. Звали его Иван Максимович Сошенко.

Однажды весной Сошенко особенно долго бродил по набережной, стоял на том же Троицком мосту, где так часто бывал и Шевченко, любовался отсюда видом на Выборгскую сторону перед появлением солнца. Затем направился в Летний сад. Было около двух часов ночи. Спать не хотелось; можно было посидеть на одной из пустых скамеек над озером, а потом зайти в павильон, напиться горячего крепкого чаю с баранками.

Там, где главную аллею пересекает одна из боковых, у статуи уродливого Сатурна, пожирающего собственных детей, Сошенко наткнулся на юношу лет двадцати в перепачканном красками тиковом халате. Он сидел перед статуей на опрокинутом пустом ведре.

Испуганный неожиданной встречей, юноша вскочил и поспешно спрятал что-то у себя на груди. У него были густые темно-каштановые волосы, худощавое лицо с прямым, красивым носом и глубоко сидящими, выразительными, большими серыми глазами.

Сошенко минуту молча смотрел на него.

— Что ты здесь делаешь?

Юноша, словно защищаясь от нападения, ответил:

— Ничего я не делаю...

Но потом, взглядевшись в добродушное, располагающее к себе лицо Сошенко, застенчиво добавил:

— Я иду на работу... Вот зашел по дороге сюда, в сад... — И, еще помолчав, заключил: — Я... рисовал...

— Покажи, что ты рисовал, — заинтересовался Сошенко.

Юноша в тиковом халате нерешительно вытащил из-за пазухи кусок писчей бумаги и протянул его Сошенко. Тот взял рисунок; композиция, общий характер фигуры Сатурна были схвачены очень верно.

Сошенко снова перевел взгляд на художника.

— И часто ты ходишь сюда рисовать?

— Каждое воскресенье. А если работаем где-нибудь неподалеку, так и в будние дни...

— Ты учишься малярному мастерству?

— И живописному! — с гордостью отвечал тот.

— У кого же?

— У комнатного живописца Ширяева.

Разговор оборвался. Юноша вдруг заторопился.

— Постой, куда же ты? — пытался удержать его Сошенко.

— Мне надобно на работу... Я и так уж опоздал, если хозяин придет раньше меня — беда!

— А как же тебя звать? — наконец догадался спросить Сошенко.

— Тарасом...

— А ты откуда?

— Я из Ольшаной... то есть учился прежде у маляра в Ольшаной...

Тут Сошенко не мог вытерпеть, чтобы не вскричать, и уже по-украински:

— Як же це з Вільшаної?! А я теж з Вільшаної! Не прямо из Ольшаной — так из Богуслава, это от Ольшаной верст, верно, сорок...

И Тарас рассказал земляку все о себе...

Иван Максимович пригласил Шевченко приходить к нему. Тарас стал каждое воскресенье посещать его на Васильевском острове, где тот

проживал в 4-й линии, в доме купца Мосягина, в полуподвальной, убогой квартире немки Марьи Ивановны. В этой квартирке да в густом саду, окружавшем дом со стороны Малого проспекта, Иван и Тарас, как-то сразу почувствовавшие влечение друг к другу, проводили вместе долгие часы.

Сошенко был на шесть лет старше Тараса, но характер имел живой, общительный.

— Меня, — рассказывал он, — до глубины души тронула жалкая участь юноши. Но помочь ему я был не в состоянии. Да и чем мог пособить его горю я, бедный труженик-маляр, работавший непрерывно из-за куска насущного хлеба, без связей, без протекции, без денег? А спасти даровитого молодого человека нужно было во что бы то ни стало.

Иван Максимович познакомил Шевченко со своими однокашниками по Академии художеств: с талантливым, увлекающимся Аполлоном Мокрицким, которого товарищи называли не иначе, как «Аполлоном Бельведерским»; с любимым учеником Брюллова Григорием Карповичем Михайловым, с Василием Штернбергом.

Чтобы помочь Тарасу, Сошенко свел его с руководителями петербургского Общества поощрения художников, имевшего права и средства для помощи молодым талантам.

Уже осенью 1835 года имя Тараса Шевченко появляется в протоколах общества. 4 октября в журнале заседаний комитета общества читаем такую запись:

«По рассмотрении рисунков постороннего ученика Шевченко комитет нашел оные заслуживающими похвалу и положил иметь его в виду на будущее время».

Тарас начинает неофициально посещать живописные классы общества. Здесь в 7-й линии Васильевского острова, в старинном доме подполковницы Кастюриной, Тарас в свободное время срисовывал гипсовые головы Люция Вера и «Гения» Кановы.

А Сошенко толковал приятелю основы анатомии, руководил выбором модели и плана да еще и приносил иногда своему усердному ученику в поощрение его успехов кусок ситника с колбасой, потому что обед Шевченко состоял здесь из черного хлеба и воды...

После уроков анатомии Тарас мог уже оправиться с рисунком Германика и танцующего фавна.

Сошенко помогал другу доставать книги для чтения, гравюры для срисовывания. Часто они вдвоем рисовали или читали друг другу вслух новые книги, журналы.

Вместе с Сошенко Тарас посещал выставочные залы Академии

художеств.

По совету Ивана Максимовича он стал акварелью рисовать портреты с натуры. Моделью при этом ему иногда служил дворовый человек Энгельгардта — Иван Нечипоренко.

Как-то, увидев у своего слуги работу Тараса, Энгельгардт заинтересовался успехами «своего», хотя и отданного «в контракт», крепостного. Он заставил Шевченко приходить к нему в дом, а то посылал его к своим приятелям и приятельницам — рисовать портреты. За это молодой художник обычно получал гонорар в виде «рубля серебром».

С помощью Ивана Максимовича в 1835 или в 1836 году Шевченко познакомился с замечательным русским художником Алексеем Гавриловичем Венециановым, «стариком Венециановым», как нежно называл его Тарас.

Шевченко знал, что в 1819 году, уже будучи академиком и известным художником, Венецианов оставил Петербург и переселился в Вышневолоцкий уезд Тверской губернии. Здесь, в деревне Сафонково, он организовал свою рисовальную школу для одаренных юношей и подростков, преимущественно из окрестных крепостных крестьян и мещан. Затем стала съезжаться к нему молодежь издалека — он всех принимал охотно.

О Венецианове много рассказывали Тарасу его новые друзья — молодые художники, начинавшие свое обучение у Венецианова: и Аполлон Мокрицкий, и Тыранов, и Михайлов, и Зарянка. Старый художник прививал своим ученикам интерес к крестьянскому быту, понимание самобытного русского пейзажа.

Когда Сошенко познакомил Тараса с Венециановым, старик, добродушно улыбаясь, присмотрелся к молодому человеку и спросил:

— Не будущий ли художник?

— И да и нет, — уклончиво ответил Иван Максимович.

— Почему же это? — удивился Венецианов.

Сошенко отвел его в сторону и тихо рассказал, что Шевченко крепостной.

Венецианов задумался, потом поглядел внимательно на обоих, ничего не сказал, но укоризненным взглядом своим словно пристыдил их за то, что они падают духом: положение тяжелое, но не безнадежное, нужно добиваться из него выхода!

А при последующих свиданиях, когда Сошенко снова заговаривал с Венециановым о средствах к освобождению Шевченко, старик, хорошо знавший, какие многочисленные препятствия стоят на этом пути,

осторожно отвечал:

— Трудно, конечно, что-нибудь обещать или даже советовать положительно... Но вот что вы сделайте непременно, Иван Максимович: познакомьтесь с хозяином этого молодого человека, разузнайте о нем все... Ну, а пока старайтесь сделать так, чтобы несчастный юноша не слишком остро ощущал свое тяжелое положение...

Сошенко тотчас же зашел к Ширяеву и завел с ним разговор о Тарасе. Однако тот не хотел его и слушать. Видно было, что Ширяев очень заинтересован в помощи талантливого ученика и не собирается предпринимать ничего, что могло бы его лишить этой помощи.

Сошенко стоило больших усилий уговорить Ширяева хотя бы не запрещать Тарасу в свободные часы ходить в классы общества. Ширяев согласился, однако же все недовольно повторял:

— Баловство это... Ни к чему это не приведет, кроме гибели...

Тогда же состоялось и знакомство Шевченко с молодым поэтом и прозаиком Евгением Гребенкой, воспитанником Нежинского лицея, где он учился вместе с Гоголем.

Шевченко стал постоянно бывать в доме Гребенки, на его литературных «вторниках». А иногда вместе с новым другом отправлялся и на «пятницы» к Никитенко и на «среды» к Кукольнику или же на «четверги» к Владиславлеву.

Евгений Павлович Гребенка, имевший в столице необычайно широкий круг приятелей, познакомил Шевченко с конференц-секретарем Академии художеств Василием Ивановичем Григоровичем, который вскоре привел Шевченко прямо к поэту Василию Андреевичу Жуковскому.

Евгений Гребенка первым обратил внимание на то, что молодой крепостной художник тайком ото всех своих знакомых пишет стихи — и стихи на родном украинском языке.

А ведь Шевченко начал писать стихи в те же белые петербургские ночи, когда впервые стал посещать

Летний сад и срисовывать там фантастические мраморные фигуры, то есть еще в первой половине 30-х годов.

Мы никогда не узнаем, что это были за стихи: они утрачены навсегда, потому что Тарас долгое время никому их не показывал и даже не сохранял.

Из многочисленных попыток поэтического творчества этого периода он напечатал впоследствии только одну романтическую балладу «Порченная» (по-украински «Причинна»), которую, таким образом, следует датировать временем до 1835 года, сам Шевченко относит ее к периоду до своей встречи с Сошенко.

Эта баллада впоследствии стала одной из самых любимых народных песен.

Ревет и стонет Днепр широкий,
Сердитый ветер вербы гнет,
Вздывает горы волн высоких
В туманный, бледный небосвод.
Неясный месяц в эту пору
Сквозь тучи изредка сквозил,
Как будто челн на синем море
То утопал, то вновь скользил.
Еще и петухи не пели,
Лишь в молчаливой той ночи
Сухие ясени скрипели
Да в чаще ухали сычи...

Все нас сегодня изумляет в этом самом первом из сохранившихся произведений Шевченко. Его народный характер и вместе с тем несомненная связь с хорошо известными Тарасу Шевченко поэтическими произведениями — Жуковского, Мицкевича, Пушкина, Рылеева, богатство ритмической и образной системы, глубокий лиризм, мастерское изображение душевных движений и картин природы.

Поистине можно сказать, что одно только это стихотворение Шевченко уже свидетельствует его гениальность.

Недаром чуткий и отзывчивый Евгений Гребенка восторженно писал на Украину одному из старейших украинских писателей, Григорию Квитке (Основьяненко):

«А еще здесь у меня есть один земляк, Шевченко, так вот же до чего здорово стихи пишет! Он мне дал хороших стихов для сборника».

Для своего альманаха «Ластівка» («Ласточка») Гребенка взял у Шевченко несколько стихотворений, но появился-то альманах в свет лишь в конце 1841 года: в те времена печатание таких сборников обычно сильно затягивалось, а тем более сборника, составленного из одних только «сочинений в стихах и в прозе на малороссийском языке».

Все же стихи, помещенные в «Ласточке» Гребенки, самые ранние из известных нам. Помимо «Порченой», здесь были напечатаны: «Ветер буйный, ветер буйный...», «На вечную память Котляревскому» и «Течет вода в сине море...» Эти три стихотворения написаны, вероятно, позже

«Порченой». Но они по своему характеру примыкают к этой балладе.

Шевченко — в стихах, письмах, дневниках[^] постоянно говорит о народной песне.

У него поют и старики кобзари, и влюбленные девушки, и парубки перед свиданием, и гайдамаки накануне жестокого боя.

Шевченко, можно сказать, всю свою жизнь жил с народной песней. Потому и сплелась так тесно его собственная поэзия с народным поэтическим творчеством. «Он близок к народной песне, — писал о Шевченко Добролюбов, — а известно, что в песне вылилась вся прошедшая судьба, весь настоящий характер Украины; песня и дума составляют там народную святыню, лучшее достояние украинской жизни. В них горит любовь к родине, блещет слава прошедших подвигов; в них дышит и чистое, нежное чувство женской любви, особенно любви материнской; в них же выражается и та тревожная оглядка на жизнь, которая заставляет козака, свободного от битвы, «искать свою долю». Весь круг жизненных, насущных интересов охватывается в песне, сливается с нею, и без нее сама жизнь делается невозможною. По словам Шевченко,

Наша дума, наша песня
Не умрет, не сгинет:
Вот где, люди, наша слава,
Слава Украины!
Без золота, без жемчуга,
Без хитрых уловок,
Громогласна и правдива,
Как господа слово...

У Шевченко мы находим все элементы украинской народной песни».

И сам Шевченко в народной песне находил созвучие своей радости, в ней же искал утешение в беде...

Однажды (это было, конечно, гораздо позже того времени, о котором мы рассказываем) Шевченко вместе с несколькими его знакомыми застала в степи метель, степная — «низовая» — метель, когда сильный и резкий ветер срывает снег с земли, с визгом кружит его в воздухе, начисто сравнивая все дороги.

Кучер признался, что лошади сбились с пути, а когда решили возвратиться назад, то оказалось, что никто даже приблизительно не знал направления. При свете спички, которую удалось кое-как зажечь в шапке,

поглядели на часы: было за полночь, а выехали часов около семи.

Женщины не на шутку перепугались. Растеряны были и мужчины. Пошли разговоры о том, как замерзают в дороге путники, как нападают на лошадей зимой голодные волки. Но вот Шевченко вдруг запел своим звучным и мелодичным голосом старинную чумацкую песню, слышанную им не раз еще в детстве: «Ой, не шуми, луже...» Спутники невольно начали ему подтягивать.

Ураган усиливался, вой ветра старался заглушить песню. Лошади врезались в сугроб, и мужчины, вылезши из саней, принялись вытаскивать их. Путешественники снова пали духом. Один из мужчин, прикидываясь спящим, забился молча в самый угол кибитки, всем своим видом нагоняя тоску и уныние. Другой с насмешкой обратился к Шевченко:

— Ну, каково, Тарас?

Но Тарас в ответ опять полным голосом запел бодрую, жизнерадостную запорожскую песню:

Ой, которі поспішали,
Ті у Січі зимували,
А которі зоставали,
У степу ті пропадали!

И всем сделалось весело, казалось, что не так уж страшны и метель и все невзгоды. А вскоре вдали забрезжил огонек: измученные лошади добрались до постоянного двора на почтовой Киевской дороге. Уж близок был и рассвет...

С песней Шевченко прошел через все жизненные боренья, муки и радости, и последней строкой, вылившейся из-под пера умирающего поэта, была строка о песне:

Мы Днепр, Україну помянем
И хаты белые в садах,
Курганы старые в степях
И песню весело затянем...

Он сам был бессмертной песней своего талантливомго, свободолубивомго народа.

IV. В КРУГУ ДРУЗЕЙ

После четырнадцатилетнего пребывания за границей приехал в Петербург Карл Павлович Брюллов, уже предшествуемый славой своей «Помпей».

Ореол, его окружавший, был в это время особенно ослепителен: Брюллова не называли иначе, как «Карл Великий».

«Последний день Помпеи» Вальтер Скотт назвал «эпопеей», Гоголь — «полным, всемирным созданием» искусства; перед Брюлловым преклонялись Жуковский и Глинка, Белинский и Герцен; Пушкин посвящал ему стихи и на коленях вымаливал у художника один из его рисунков.

— Чудо-богатырь! — говорил о Брюллове Шевченко.

Вся академия была фанатически увлечена Брюлловым, ни о чем больше не говорили, как о Брюллове. Рассказывали друг другу, как после каждого нового портрета или картины Брюллова конференц-секретарь академии Василий Иванович Григорович просил у художника позволения взять новое его произведение к себе на квартиру, запирался на ключ и двое суток просиживал перед ним, не отрывая от него глаз. Всему этому добродушно верили и сам рассказчик и его слушатели.

Когда Брюллов возвратился в Россию, в петербургских кругах в среде деятелей искусства и литературы уже говорили о молодом и одаренном крепостном юноше, которому необходимо помочь.

Музыкант и композитор Михаил Юрьевич Виельгорский, друг Пушкина и Глинки, Жуковского и Батюшкова, Гоголя и Грибоедова, познакомившись с молодым Шевченко, был покорен его талантливостью.

В доме Виельгорского на Михайловской площади происходили музыкальные собрания, которые посещали Глинка, Брюллов.

Однажды Брюллов зашел на квартиру к Сошенко. В это время у Ивана Максимовича находился Тарас, и великий художник сразу обратил внимание на его умное лицо.

— Это натурщик или слуга? — спросил Брюллов, когда Тарас вышел.

— Ни то, ни другое, — ответил Иван Максимович, рассказав тут же историю юноши.

— Барбаризм! — прошептал Брюллов и задумался, потом попросил показать рисунки Тараса. Долго рассматривал срисованную Шевченко маску Лаокоона, поднял голову и спросил:

— Кто его помещик? — И добавил: — О вашем ученике нужно хорошенько подумать... Приведите его когда-нибудь ко мне.

Только спустя некоторое время Шевченко узнал, что гостем Сошенко был не кто иной, как «Великий Карл».

— Зачем же вы мне не сказали? — огорчился Тарас. — Я хоть бы взглянул на него. А то я думал, так просто какой-нибудь господин! Не зайдет ли он к вам еще когда-нибудь? Боже мой, боже мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть! Знаете, я, когда иду по улице, все о нем думаю и смотрю на проходящих, ищу глазами его между ними...

В одно прекрасное утро Сошенко, наконец, представил Тараса Брюллову. Друзья пришли в квартиру художника, в его любимую «красную комнату», с красным диваном и красными занавесками, сквозь которые светило яркое солнце. Стены были увешаны оружием и восточными украшениями. Карл Павлович встретил их в красном халате. Просмотрел принесенные Тарасом рисунки и ласково их похвалил.

Как-то Сошенко, явившись к Брюллову, застал у него в мастерской Жуковского и Виельгорского. Увидев Ивана Максимовича, Брюллов словно что-то вспомнил, улыбнулся и увел Жуковского в другую комнату. Через полчаса они снова вышли в мастерскую, и Брюллов приблизился к Сошенко.

— Фундамент есть, — сказал он, улыбаясь. И оба хорошо понимали, о чем идет речь: об освобождении Шевченко.

И вот однажды зимой 1836/37 года Брюллов отправился прямо на квартиру к Энгельгардту.

Вечером в тот же день Сошенко зашел к Брюллову и застал его в сильном раздражении.

— Ну, что Энгельгардт? — спросил Сошенко.

— Это самая крупная свинья в торжковских туфлях! — воскликнул гневно Брюллов.

— В чем дело? — продолжал допытываться Сошенко.

— Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику.

Карл Павлович не мог сдержать негодования. Он долго молча ходил по комнате, потом остановился, сплюнул:

— Вандализм!

На следующий день Сошенко предстояло отправиться к Энгельгардту за окончательными условиями выкупа Тараса. Однако Ивана Максимовича одолевали сомнения:

— Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков:

и богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде. Но такого оригинала русского человека, который бы грубо принял у себя в доме Карла Брюллова, не видал.

В конце концов Сошенко направился к старику Венецианову за помощью. Ведь Венецианов, организовавший когда-то у себя художественную школу специально для талантов из народа, не раз имел дело с помещиками-рабовладельцами.

Венецианова Иван Максимович, несмотря на ранний утренний час, застал за работой: он срисовывал тушью собственную картину «Мать и дитя» для альманаха «Утренняя заря».

Художник был увлечен, но стоило Сошенко сообщить о цели визита, как Венецианов отложил все и стал одеваться.

Вернувшись домой, Иван Максимович застал у себя Тараса. Он явился, чтобы показать свою новую работу: довольно сложную композицию из античной жизни, навеянную чтением трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Шевченко явно волновался, и руки у него дрожали, когда он развертывал и подавал Сошенко рисунок.

— Не успел пером обрисовать... — словно извиняясь, проговорил он при этом.

Смело и лаконично была решена расстановка трех фигур, изображенных на рисунке: Эдип, Антигона, а поодаль Полиник.

Сошенко серьезно и сердечно поздравил друга с успехом. Тарас зарделся, как девушка.

Ивана Максимовича очень трогала в Тарасе эта скромность, которая могла подчас показаться робостью. Он думал так: «Это верный признак таланта!»

Сошенко посоветовал Тарасу читать исторические труды и дал несколько томов «Истории древней Греции, поселений и завоеваний оной, от первобытного состояния сей страны до разделения Македонского государства», сочинения Джона Гиллиса в переводе с английского Алексея Огинского.

Тарас схватил книги. Навсегда осталась у него эта страстная, неутолимая любовь к книге; еще только взяв в руки томик в туго раскрывающемся кожаном переплете или неразрезанную, в тонкой розовой обложке книжку журнала, он уже испытывал волнение, словно открывалась перед ним дверь в неведомый мир. Одни книги доставляли

ему яркую радость, другие вызывали боль или негодование, третьи заставляли глубоко задуматься, четвертые он с презрением бросал, награждая авторов без всяких обиняков самыми что ни на есть резкими эпитетами...

Шевченко рано научился самостоятельно оценивать прочитанное, не считаясь ни с «общепринятым» мнением, ни с суждениями «авторитетов». Может быть, он иногда — на первых порах — и ошибался при этом, но зато свою оценку всегда вынашивал сам, поверяя ее собственным умом, собственным жизненным опытом.

— Да, вы знаете... — вдруг сказал, улыбаясь, Тарас.

— Что? — спросил Сошенко.

— Когда я сказал Ширяеву, что вы водили меня к Карлу Павловичу и показывали ему мои рисунки и что Карл Павлович... да, впрочем, я и сам никакие могу поверить... точно сон какой-то...

— Хозяин твой не верит, что Брюллов похвалил твои рисунки?

— Да он вообще не верит, что я и видел Карла Павловича...

Шевченко хотел продолжать, но в эту минуту вошел в комнату Алексей Гаврилович Венецианов и, добродушно улыбаясь, сказал:

— Ну, ничего особенного! Помещик как помещик! Правда, он меня час продержал в передней, — да это уж у них обычай такой. А обычай — тот же закон... Принял меня в своем кабинете. Вот кабинет его мне не понравился: все и роскошно, и дорого, и великолепно, да ведь безвкусное это великолепие!

— Ну, а как ж «наше-то дело? — нетерпеливо Перебил Сошенко.

А у Тараса от напряженного ожидания пересохло во рту.

— Сначала я заговорил с ним о просвещении вообще и о филантропии в особенности, — продолжал спокойно Венецианов, все с той же добродушной усмешкой. — Помещик долго молча меня слушал, а потом перебил: «Да вы скажите прямо, чего вы с вашим Брюлловым от меня хотите? Знаете, Брюллов меня вчера просто одолжил, — ведь это настоящий дикарь!» — и при этом стал громко хохотать, так что я было сконфузился, но вскоре оправился и довольно ясно и хладнокровно разъяснил ему все дело. «Вот так бы давно и сказали! — самодовольно заявил мне господин Энгельгардт. — Это совершенно понятно. А то — филантропия! Какая же тут может быть филантропия? Мне нужны деньги — и больше ничего. Хотите знать настоящую цену? Так ли я вас понял?» Я и подтвердил, что действительно он понял меня довольно верно. «Ну, так вот вам моя решительная цена: две с половиной тысячи рублей. Согласны? Он, Тарас мой, человек ремесленный, при доме необходимый...» Тут он

собирался было еще что-то мне говорить, да я только отвечал, что согласен, поскорее откланялся и вышел. И вот — перед вами! — закончил старик, улыбаясь, хотя было видно, что тяжело осела у него в душе горечь от неприятного визита.

Возникла новая трудность: где достать требуемые Энгельгардтом две с половиной тысячи рублей? Это была цена неслыханно высокая по тем временам. Общество поощрения художников, помогавшее материально Шевченко, не могло отпустить из своих скудных средств такую крупную сумму.

В феврале 1837 года комитет общества в своем постановлении записал: «По случаю представления о пособиях молодым художникам Борису, Петровскому, Нерсесову, Шевченко... положено: суждение о них отложить до особого собрания комитета, в котором имеют быть определены на будущее время правила, касательно вспоможений, оказываемых художникам».

За дело взялись Брюллов и Жуковский. Жуковский знал в это время уже не только рисунки, а и стихи Тараса Шевченко. Было решено, что Брюллов напишет давно им задуманный портрет Жуковского, портрет будет разыгран в лотерею; за эти деньги и, получит Тарас долгожданную свободу.

В среду 31 марта 1837 года, спустя два месяца после трагической гибели Пушкина, на квартире у Брюллова собрались художники, литераторы, музыканты, чтобы почтить память великого русского поэта. Краевский читал неопубликованные его произведения: «Русалку», «Каменного гостя», «Газита». На этом вечере Брюллов сказал Мокрицкому, что дело освобождения Шевченко двинулось.

2 апреля 1837 года Аполлон Мокрицкий записал в своем дневнике: «После обеда призвал меня Брюллов. У него был Жуковский... Дело наше, кажется, примет хороший ход... Сегодня начат портрет Жуковского».

Томительно тянулись дни и месяцы в ожидании свободы.

Ширяев по-прежнему очень неохотно позволял Тарасу посещать Сошенко, Брюллова, рисовальные классы. Приходилось пускаться на разные уловки.

Когда Сошенко, например, приходил к Ширяеву с просьбой отпустить Тараса на месяц, заменив его в артели обыкновенным маляром, подрядчик отвечал:

— Почему не заменить? Можно. Пока еще живописные работы не начались. А потом уж извините. Он у меня рисовальщик. А рисовальщик, вы сами знаете, что значит в нашем художестве. Да вы как полагаете? В

состоянии ли он будет поставить за себя работника?

— Я вам поставлю работника, — настаивал Сошенко.

— Вы? — искренне удивлялся Василий Григорьевич. — Да из какой корысти вы-то хлопчете?

— Так, от нечего делать. Для собственного удовольствия... — спокойно отвечал Иван Максимович.

Сошенко взялся ради Тараса нарисовать портрет Ширяева. При этом произошел следующий разговор.

— По сколько вы берете за портрет? — поинтересовался Ширяев.

— Каков портрет, — отвечал Сошенко. — И каков давалец. Вот с вас, например, я более ста рублей серебра не возьму.

— Ну, нет, батюшка, с кого угодно берите по сто целковых, а с нас кабы десяточку взяли, так это еще куда ни шло.

— Так лучше же мы сделаем вот как, — протягивая Ширяеву руку, заключил Сошенко. — Отпустите мне месяца на два вашего рисовальщика — вот вам и портрет.

— На два? — проговорил Ширяев в раздумье. — На два много, не могу. На месяц можно.

— Ну, хоть на месяц. Согласен. — И они, как барышники, ударили по рукам.

Портрет Ширяева был исправно написан Иваном Максимовичем в оплату месячного отпуска Тараса.

Подневольное положение становилось настолько нестерпимым, что Шевченко даже покушался на самоубийство. Лишь теплое, участливое отношение друзей спасло юношу, и Тарас долго хранил письмо Жуковского, удержавшее его от безумного шага.

Все эти переживания подломили здоровье. Тарас опасно заболел. Его поместили в больницу при приюте святой Марии Магдалины, возле Тучкова моста, и восемь дней он был в беспамятстве, между жизнью и смертью.

Больницу часто посещали друзья. И всякий раз узнавали от сиделки, что Тарас все еще горит огнем.

— Что, не приходит в себя?

— Нет, батюшка.

— Бредит?

— Только одно повторяет: красный... красный...

— И ничего больше?

— Ничего, батюшка.

Брюллов, волнуясь, постоянно спрашивал у Сошенко, Мокрицкого:

— Ну как, Тарасу лучше?

— Начал приходить в себя, — радостно сообщил, наконец, Сошенко.

Молодой, сильный организм одолел тяжелую болезнь, против которой в те времена медицина не знала никаких радикальных средств.

Несмотря на запрещение врача беспокоить больного, беседы с Сошенко, Мокрицким волновали подчас Тараса до слез. Ему рисовалась картина возвращения к Ширяеву — и он, ослабленный болезнью, начинал плакать, как ребенок...

Общество поощрения художников в эти дни сколько возможно помогало Тарасу. В отчете расходов за 1837 год сохранилась такая записка: «Мая 30. Пансионеру Алексееву и ученику Шевченко на лекарство — 50 рублей».

Больной уже передвигался, придерживаясь за койку.

Он просил Сошенко:

— Мне хотелось бы почитать.

Иван Максимович спросил, можно ли больному принести книги.

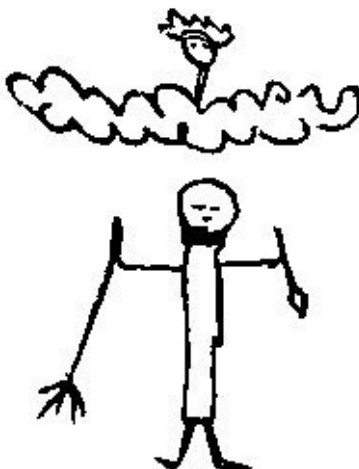
— Не приносите, — возразил врач. — Тем более чтения серьезного.

Тогда Сошенко стал здесь же, в больничной палате, давать Тарасу уроки линейной перспективы, вооружившись циркулем, треугольником и чертежами курса перспективы профессора Воробьева.

Работа Брюллова над портретом Жуковского была закончена. Однако ряд проволочек затягивал лотерею.

Жуковский откладывал со дня на день свой отъезд за границу и торопил Юлию Федоровну Баранову, которая должна была внести часть денег за лотерейные билеты:

«Историческое обозрение благотельных поступков Юлии Федоровны и разных других обстоятельств, курьезных происшествий и особенных всяких штучек. Сочинение Матвея.



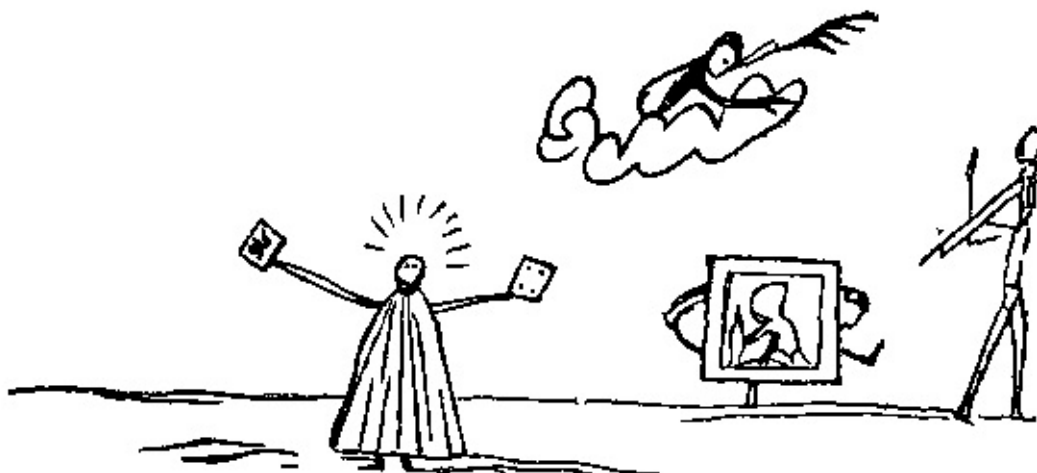
Это г. Шевченко. Он говорит про себя: хотелось бы мне написать картину, а господин велит мести горницу. У него в одной руке кисть, а в другой помело, и он в большом затруднении.

Над ним в облаках Юлия Федоровна.



Это Брюллов пишет портрет с Жуковского. На обоих лавровые венки. Вдали Шевченко метет горницу. В облаках Юлия Федоровна. Она думает про себя: какой этот Матвей красавец. А Василий Андреич, слыша это, благодарит внутренне Юлию Федоровну и говорит про себя: я, пожалуй, готов быть и Максимом, и Демьяном, и Трифоном, только бы нам выкупить Шевченко. «Не беспокойся, Матюша, — говорит из облаков Юлия Федоровна, — мы выкупим Шевченко».

А Шевченко знай себе метет горницу. Но это в последний раз.

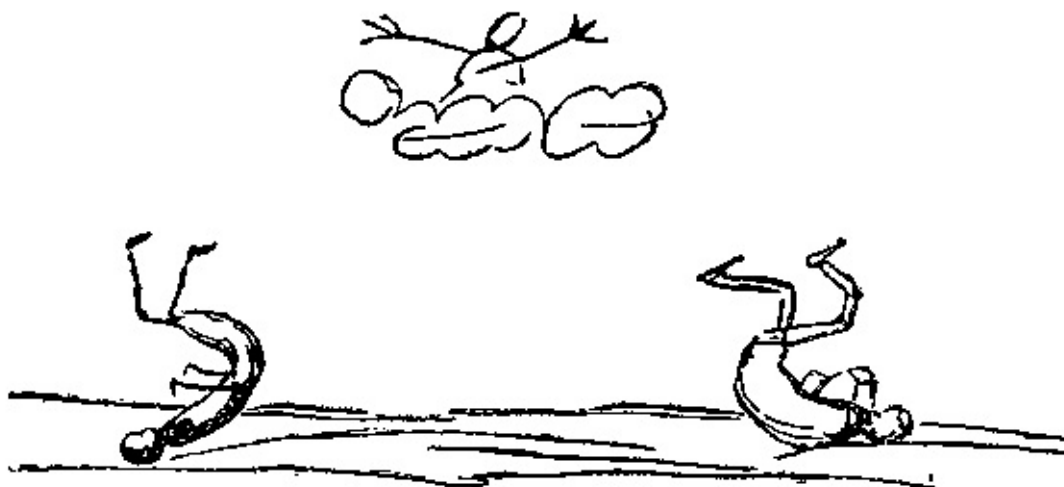


Жуковский в виде Судьбы провозглашает выигрышный билет. В одной руке его карта; а в другой отпускная Шевченко. Вдали портрет Жуковского... Шевченко вырос от радости и играет на скрипке качучу...



Юлия Федоровна сошла с облаков, в которых осталось одно только сияние. В ее руке мешок с деньгами (2 500 рублей)...

Примечание. Юлия Федоровна оттого так спешит собрать деньги, что Матвей скоро поедет за границу и должен прежде отъезда своего кончить это дело...



Это Шевченко и Жуковский; оба кувыркаются от радости. А Юлия Федоровна благословляет их из облаков».

Лотерея, в которой был разыгран портрет, состоялась в субботу, 16 апреля 1838 года, в доме у Виельгорского, после концерта, на котором присутствовал весь «свет».

Деньги, наконец, были собраны, вручены помещику, и подписана «вольная» Шевченко:

«Тысяча восемьсот тридцать восьмого года апреля двадцать второго дня, я нижеподписавшийся уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт отпустил вечно на волю крепостного моего человека Тараса Григорьева сына Шевченко, доставшегося мне по наследству после покойного родителя моего действительного тайного советника Василия Васильевича Энгельгардта, записанного по ревизии Киевской губернии, Звенигородского уезда, в селе Кирилловке, до которого человека мне, Энгельгардту, и наследникам моим впредь дела нет и ни во что не вступаться, и волен он, Шевченко, избрать себе род жизни, какой пожелает. К сей отпускнутой уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт — руку приложил.

Свидетельствую подпись руки и отпускнутой, данную полковником Энгельгардтом его крепостному человеку Тарасу Григорьеву сыну Шевченко, действительный статский советник и кавалер Василий Андреев сын Жуковский.

В том же свидетельствую и подписуюсь профессор восьмого класса К. Брюллов.

В том же свидетельствую и подписуюсь гофмейстер и тайный советник и кавалер граф Михаил Виельгорский».

Отпускная была подписана, но Шевченко об этом ничего не знал. В воскресенье, 24 апреля, он получил приглашение прийти на следующий день к Брюллову.

25 апреля 1838 года в 3 часа дня в доме Брюллова собрались, кроме самого Брюллова, Жуковский, Григорович, Виельгорский. Присутствовал при этом также Мокрицкий. Когда пришел Шевченко, Василий Андреевич Жуковский торжественно вручил ему отпускной документ. «Приятно было видеть эту сцену!»— записал в этот день в своем дневнике Аполлон Мокрицкий. Здесь же, у Брюллова, все и отобедали, отмечая радостное событие.

После обеда Шевченко, схватив «вольную», бросился в подвал Сошенко. Иван Максимович, отворив на улицу окно, приходившееся вровень с тротуаром, писал «Евангелиста Луку». Вдруг в комнату, прямо через окно, свалился, точно с неба, Тарас. Он, опрокинув «Луку», бросился в объятия Сошенко, чуть не сшиб его при этом с ног и громко кричал:

— Свобода! Свобода!

V. НА СВОБОДЕ

Тотчас по получении отпускной Шевченко поступает в Академию художеств в качестве ученика профессора Брюллова.

Первое время молодой художник совершенствовался в рисунке и композиции. Он исполнил много акварельных рисунков и портретов, привлекающих внимание четкостью и чистотой линий и композиции. И скоро его успехи были отмечены. Уже на третьем экзамене (производившемся в конце каждой трети учебного года) весной 1839 года Шевченко получил серебряную медаль за рисунок с натуры.

Он состоял в это время пансионером Общества поощрения художников, жил в общежитии общества, но целые дни проводил у Брюллова, а часто оставался у него и ночевать.

Личная библиотека Брюллова была в полном распоряжении Тараса. Он до зари зачитывался Гомером и Шекспиром, Вальтером Скоттом и Фенимором Купером, поэтическими созданиями Данте и Гёте...

В это время Шевченко заканчивает большие поэмы: «Катерина» (которую посвятил В. А. Жуковскому — «в память 22 апреля 1838 года», то есть дня подписания «отпускной») и «Гайдамаки» (посвящена В. И. Григоровичу, тоже «в память 22 апреля 1838 года»).

Наконец Шевченко решается издать сборник своих стихотворений, дав ему название «Кобзарь».

Вышел в свет «Кобзарь» в начале апреля 1840 года. Печать встретила его восторженно.

КОБЗАРЬ

Т. ШЕВЧЕНКА.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.

1840.

ВЪ ТИПОГРАФИИ Е. ФИШЕРА.

Титульный лист первого издания «Кобзаря» Т. Г. Шевченко

Белинский в «Отечественных записках» писал;
«Имя г. Шевченко, если не ошибаемся, в первый раз еще появляется в русской литературе, и нам тем приятнее было встретить его на книжке, в

полной мере заслуживающей одобрение критики. Стихотворения г-на Шевченко ближе всего подходят к так называемым народным песнопениям: они так безыскусственны, что вы их легко примете за народные песни и легенды малороссиян; это одно уже много говорит в их пользу... А при всем том его стихи оригинальны: это лепет сильной, но поэтической души...»

Первые произведения Шевченко привлекли Белинского своей народностью, художественной самобытностью.

Теплыми лирическими красками рисовал поэт облик женщины, девушки из народа: таковы героини «Порченой» и «Катерины», «Утопленницы» и «Тополя», поэмы на русском языке «Слепая»; они страстно ищут «доли», счастья, но гибнут в столкновении с враждебными силами.

С первых же шагов в литературе поэт, ставший подлинно народным Кобзарем, правдиво раскрывший всю бездну горя и страданий трудящихся масс, воспеваает мужество борьбы, героический подвиг во имя народа. Шевченко создает образы отважных защитников родины, смелых народных вожаков (исторические баллады и поэмы «Иван Подкова», «Тарасова ночь», «Гамалия»),

Борьба украинских казаков с турецкими, польскими захватчиками встает под пером поэта в подчеркнуто романтическом освещении:

Уж не три дня, не три ночи
Бьется наш Трясило,
От Лимана до Трубайла
Поле кровь покрыла.
На ту пору казаченек
Тарас созывает:
— Атаманы-товарищи,
Братья мои, дети...

Народно-героической теме посвящена и ранняя поэма «Гайдамаки», напечатанная в конце 1841 года отдельной книгой.

Однако романтические герои «Гайдамаков» — батрак Ярема Галайда, гайдамацкие вожаки Максим Зализняк и Иван Гонта — это не «сильные личности», оторванные от масс, а подлинные народные мстители. Поэт изображает народ, рисует картины освободительного восстания (главы «Третьи петухи», «Кровавый пир», «Пир в Лысянке»). Недаром многие

отрывки из поэмы стали народными песнями:

Летит орел, летит сизый
Да под небесами.
Зализняк гуляет батько
Степями, лесами.
Ой, летает сизокрылый,
А за ним орлята
Ой, гуляет славный батько,
А за ним — ребята
Нет ни хутора, ни хаты,
Ни стола, ни лавок
Степь да море — на просторе
Богатство и слава!

Здесь, как и в лирических стихах Шевченко, сказалось влияние народно-поэтического творчества, богатейшего украинского песенного фольклора.

Вместе с тем уже Белинский отметил самобытность и оригинальность поэзии Шевченко.

Во многих поэмах Шевченко появляется образ поэта-борца, народного Кобзаря, воспевающего горе народа и призывающего на борьбу с деспотизмом. Почетная и важная роль отведена старцу кобзарю, например в поэме «Гайдамаки».

Таким Кобзарем, вдохновляющим народ на борьбу за свои права, свое счастье, был и сам Шевченко.

Новая украинская литература сложилась позже, чем литература русская, позже выработался и украинский литературный язык.

Еще великий украинский философ и поэт Григорий Сковорода в конце XVIII века создавал свои песни, басни и диалоги не на украинском народном языке, а на искусственной смеси языков русского и церковнославянского, лишь с отдельными украинскими словами и оборотами:

От когда бы же мне в дурни не пошиться,
Дабы вольности не мог как лишиться,
Будь славен вовек, о муже избрание,
Вольности отче, герою Богдане!

Первое классическое произведение художественной литературы на народном украинском языке — знаменитая сатирическая поэма Ивана Петровича Котляревского «Энеида, на малороссийский язык перелицованная» (первые части ее изданы в 1798 году). Выдающийся поэт и драматург, связанный в молодости с декабристским движением, Котляревский оставил далеко позади русские пародийные поэмы Осипова, Василия Майкова. В своей «Энеиде» он рисует живые картины народного быта, разоблачает жестокость помещиков. На Украине каждому школьнику известна сцена в аду из этой поэмы:

Панів за те там мордували
І жарили зо всіх боків,
Що людям льгота не давали
І ставили їх за скотів...

Доныне не сходят со сцены и пьесы Котляревского «Наталка-Полтавка», «Солдат-чародей». Бедная крестьянская девушка Наталка, ее мать Терпилиха (Терпеливая) были первыми в украинской литературе реальными человеческими характерами.

Реалистические и демократические тенденции творчества Котляревского высоко ценил Шевченко; в одном из первых своих стихотворений, «На вечную память Котляревскому», он говорил:

Не умрет кобзарь — навеки
Эта слава встала.
Будешь долго ты в почете,
Пока живы люди;
Пока солнце с неба светит.
Тебя не забудут.

В двадцатых и тридцатых годах XIX столетия появились написанные на народном украинском языке басни Петра Гулака-Артемовского («Пан и собака», «Рыбак»), Евгения Гребенки («Малороссийские присказки»).

Тем не менее украинские поэты до Шевченко лишь в незначительной степени отражали все многообразие социальной действительности; они не

поднимались до широких реалистических обобщений и художественной типизации.

Это же относится и к тогдашней прозе и к драматургии.

Уже после появления первых повестей Гоголя, в тридцатых годах, выступил талантливый украинский прозаик Григорий Федорович Квитка (под псевдонимом Грицько Основьяненко). Но и он не был свободен от сентиментальной идеализации действительности, и впоследствии Чернышевский, Иван Франко справедливо отмечали идейно-художественную ограниченность его творчества. «Квитка так же, как и Гулак-Артемовский, — писал Франко, — стоял на той идейной основе, что барщина — состояние вполне оправданное, при котором возможна счастливая жизнь крестьянина, если только он имеет доброго пана...»



Женская головка. 1830 год. Рисунок Т. Г. Шевченко.



В. А. Жуковский. Портрет работы К. П. Брюллова.

Украинская литература первых десятилетий XIX века не достигла уровня, на котором стояла русская литература того времени — в творчестве Пушкина и Рылеева, Лермонтова и Крылова, Гоголя и Грибоедова.

Основоположником новой украинской литературы, литературы критического реализма, стал Шевченко.

Он же окончательно утвердил украинский литературный язык, основанный на живом, общенародном языке украинцев.

Предшественники Шевченко подготовили своей деятельностью его появление в литературе.

Консервативные круги встретили поэзию Шевченко в штыки.

Николай Маркевич записал в своем «Дневнике» 23 апреля 1840 года:

«Кукольник критиковал Шевченко, уверял, что направление его «Кобзаря» вредно и опасно».

Даже некоторые близкие друзья Шевченко боялись, что поэзия помешает его работе художника.

Сошенко рассказывает:

— Не раз принимался я уговаривать Тараса, чтобы он серьезно принялся за живопись: «Эй, Тарасе, одумайся! Чего ты дела не делаешь! Чего тебя нечистый по гостям носит? Имеешь такую протекцию, такого учителя!..» Куда тебе — и слышать не хочет!..

Правда, по временам мой товарищ и дома сидел, да все-таки настоящим делом не занимался: то поет песни, то пишет себе что-то, да все ко мне пристаёт: «А ну-ка, послушай, Соха, хорошо ли оно так будет?» — да и начинает читать мне свои стихи. «Да отцепись, — говорю, — ты со своими никчемными виршами! Почему ты настоящего дела не делаешь?»

Позже приятели упрекали Сошенко:

— Не грешно ли было вам, Иван Максимович, преследовать Шевченко за поэзию? Вам следовало бы поощрять его занятия, а не браниться!

— А кто ж его знал, — оправдывался обыкновенно Сошенко, — что из него получится такой великий поэт? И все-таки я стою на своем: если бы он кинул тогда свои вирши, так был бы еще более великим живописцем...

Однако Шевченко и не думал бросать живописи. В том же году, когда появился «Кобзарь», он снова был награжден советом академии серебряной медалью «за первый опыт его в живописи масляными красками — картину «Нищий мальчик, дающий хлеб собаке»; сверх того, положено объявить ему похвалу».

Очередную награду получил Тарас и в следующем году — за картину «Цыганка-гадалка». Тогда же он начал работать над картинами маслом «Катерина» и «Крестьянская семья» и над книжной иллюстрацией.

Рисунки Шевченко встречаем в сборнике «Сто русских литераторов» (к рассказу Н. Надеждина «Сила воли»), в неперIODическом прогрессивном издании Александра Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» (к рассказу Квитки-Основьяненко «Знахарь»), в книгах Николая Полевого «Русские полководцы» и «История Суворова».

Об издании Башуцкого Белинский писал:

«Рисунки г.г. Тимма, Щедровского и Шевченко отличаются типическою оригинальностью и верностью действительности...»

«Наши», как свидетельство наших успехов в деле вкуса и искусства,

должны радовать всякое русское сердце».

Близкая дружба Шевченко с Василием Штернбергом началась в сентябре 1838 года, когда они поселились на общей квартире. Штернберг приехал с Украины, где провел лето вместе с Глинкой, певцом Гулаком-Артемовским, Николаем Маркевичем, Виктором Забилой.

Через Штернберга Тарас сблизился со студентами Петербургского университета и Медико-хирургической академии. Вместе с ними посещал музыкальные вечера, которые устраивал в университете инспектор Фицтум.

Александр Иванович Фицтум был очень оригинальной фигурой. Скромный университетский инспектор и любитель-музыкант, он пользовался особым доверием передового студенчества.

По рекомендации Фицтума Шевченко после отъезда Штернберга летом 1840 года за границу поселился вместе со студентом-историком Леонардом Демским.

Леонард Демский, совершенный бедняк, был прекрасно образованным человеком и пламенным демократом. Он владел многими древними и новыми языками, читал вместе с Шевченко польскую и французскую революционную литературу и успешно обучал Тараса французскому языку.

Демский, мечтавший «превзойти Лелевеля», был смертельно болен и вскоре на руках у Шевченко скончался от чахотки. Смерть эта тяжело поразила Тараса. «Так спокойно умирают только праведники, а Демский принадлежал сонму праведников», — писал он.

Оставшаяся после смерти товарища небольшая библиотека исторической и политической литературы перешла к Шевченко, и он еще долго штудировал подобранные другом книги.

Шевченко мечтал вырваться хоть ненадолго из душной николаевской тюрьмы, вздохнуть воздухом хотя бы относительной «свободы». Он мог скорее всего рассчитывать на заграничную поездку в Италию, предоставлявшуюся Академией художеств для «усовершенствования в искусстве».

Так отправились в заграничное путешествие Штернберг с Айвазовским. На палубе парохода «Геркулес» в Кронштадте друзья распили бутылку шампанского, и молодые счастливицы отбыли в Италию, в Рим.

Это было в июле 1840 года. А спустя два года Штернберг писал Тарасу из Рима: «Дай бог тебе успех, чтобы скорее быть к нам. Василий Иванович (Григорович) тебе поможет. Идем провожать его».

В начале 1843 года Шевченко сообщал украинскому писателю Я. Г. Кухаренко: «Я в марте месяце еду за границу». Однако свое намерение он

так и не осуществил.

Зато весной, как только окончились занятия в академии, Шевченко решил поехать на Украину, в родные места.

VI. «ТРИ ГОДА»

Незаметные три года
Даром пролетели,
Но немало мне худого
Причинить успели.
Бедное опустошили
Сердце молодое,
Погасили все доброе,
Разожгли все злое...

Так писал Шевченко 22 декабря 1845 года. Три года — 1843, 1844 и 1845 — были знаменательными годами в его жизни. «Аминь всему веселому отныне до века», — заявляет он по истечении этих трех лет. «Думы мои! Годы мои, три тяжелых года!» — восклицает поэт.

Что же произошло с ним за эти три года? Почему многообразный и мучительный жизненный опыт, накопившийся на протяжении трех десятилетий, внезапно вызвал перелом в его воззрениях и мировосприятии?

В апреле 1843 года Шевченко вместе с Гребенкой выехал на перекладных так называемым Белорусским трактом: через Лугу, Псков, Полоцк, Витебск, Могилев, Гомель — в Чернигов, на Украину.

С какими чувствами ехал нынче Шевченко в родные места, оставленные без малого пятнадцать лет назад? Тогда расстался он с Украиной почти ребенком, малокультурным, бесправным рабом. Теперь он возвращался в знакомые села известным поэтом, признанным талантом, о котором говорит пресса.

Перед выездом из Петербурга Шевченко писал одному из новых своих знакомых — популярному в то время «просвещенному меценату» и почетному «вольному общнику» Академии художеств, черниговскому помещику Григорию Степановичу Тарновскому, с которым познакомил его в Петербурге Штернберг:

«Тотчас после пасхи, только вырвусь как-нибудь, прямехонько к вам, а потом уж дальше...»

Шевченко и приехал прямо к Тарновскому, в его прославленную Качановку (между Бахмачем и Прилуками), где гостили подолгу и Глинка, и Гоголь, и Гулак-Артемовский, и Маркевич, и Штернберг. Еще по рисункам Штернберга Шевченко знал роскошный качановский парк (простиравшийся на сотни десятин) с его озерами и прудами, вековыми дубами и кленовыми рощами, рядами стройных тополей и пахучих лип, с веселыми березками на зеленых солнечных лужайках.

Встретили поэта радушно, отвели ему лучшие комнаты. В мастерской, с великолепным видом на озеро, в многочисленных беседках среди старых ветвистых деревьев — всюду можно было забытья, углубившись в творчество. Так по крайней мере могло показаться на первых порах.

Но было в самом хозяине — сухопаром пожилем человеке с огромным крючковатым носом и маленькими тусклыми глазками — что-то тягостное, угнетающее. Тарновский носил купеческую толстую золотую цепь на жилетке, безвкусные, хотя и дорогие перстни и огромные бриллиантовые запонки.

Сосед Тарновского по имению и родственник его помещик Селецкий обрисовал приятеля довольно беспристрастно: «Высокопарная речь, по большей части бессмысленная, сознание своего достоинства, заключавшегося только в богатстве и звании камер-юнкера, приобретенном сытными обедами в Петербурге, посягательство на остроумие, претензии на меценатство, ограничивавшиеся приглашением двух-трех артистов на лето к себе в деревню, где им бывало не всегда удобно и приятно, скупость, доходившая до скряжничества, — вот характеристические черты Григория Степановича».

Шевченко тяжело поражали фальшь и некультурность хозяев Качановки. В то время как не слишком опрятные лакеи подавали ужин на несвежей скатерти, в кустах, под окнами дома, крепостной оркестр играл «Ивана Сусанина» и «Руслана» Глинки.

— Гм... да, да, гм... Мы приятно проводили время, когда Глинка писал у меня своего «Руслана»... — любил повторять Тарновский с важностью каждому новому гостю. — Знаете, гм... каждый день Глинка писал и был доволен моим оркестром.

Потом хозяин приказывал оркестру играть третью, «Героическую» симфонию Бетховена, с траурным маршем. Во время исполнения симфонии Тарновский вдруг поднимал палец и обращался к гостям:

— А вот это место... гм... вставил я...

И, видя изумление на лицах слушателей, самодовольно добавлял:

— Гм... да... мы и Бетховена поправляем!

Было что-то фатальное в том, что на Украине Тарас сразу попал именно в Качановку, к Тарновскому. Конечно, помещик этот ни в каком отношении не составлял исключения, но здесь как-то уж очень бросались в глаза социальные контрасты. В доме, сооруженном по проекту великого Растрелли, лились елейные речи хозяина, повествовавшего гостям о том, как Глинка вот в этих же комнатах сочинял «Руслана и Людмилу», а в темном уголке парка, под широко раскинувшейся густой кроной векового дуба, звучали рассказы крепостных, окружавших по вечерам Шевченко.

Здесь, под дубом, он слышал страшные, но не выдуманные истории о загубленных народных талантах, о поруганной девичьей чести, о попрании всех человеческих чувств и прав.

Дворовые шепотом рассказывает Шевченко, как погибла в Качановке крепостная горничная сестры Тарновского. Она в воскресенье гладила утюгом барыне платье, да немного опоздала, уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово; барыня рассердилась, выхватила из рук у горничной утюг, да и хватъ ее по голове, — бедная тут же и ноги протянула.

И Шевченко своими глазами видел на убогом сельском кладбище дубовый, выкрашенный зеленой краской крест на могиле убитой.

Эти скорбные истории должны были, по словам поэта, «заставить и немого говорить, и глухого слушать».

Шевченко через много лет изобразил хозяина Качановки в повести «Музыкант» под именем Арновского — жестокого крепостника-самодура, «гносного сластолюбца»; он ввел у себя такие «улучшения по имению, от которых мужички запищали». Рассказчик в повести Шевченко «Музыкант» восклицает:

— О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в селе Качановке.

Никто лучше Тараса не знал, что такое гнет крепостничества. Теперь он мог убедиться: нет, ничто не переменялось к лучшему, и все прекраснодушные фразы о «любви к меньшему брату», с таким пафосом произносившиеся за бокалом шампанского, только фразы!

Великих слов запас немалый —
И все тут. Вы кричите всем,
Что бог вас создал не затем,
Чтоб вы неправде поклонялись!..
Дерете с братьев-гречкосеев
Три шкуры...

И Качановка Григория Тарновского, и Сокоринцы Григория Галагана, и Исковцы Афанасьева-Чужбинского, и, конечно, Григоровка Петра Скоропадского вспоминались Шевченко, когда он писал:

Я вовсе не сержусь на злого:
Молва при нем, как страж, стоит.
Сержусь на доброго такого,
Что ту молву перехитрит.
И вспомнить тошно мне бывает —
Готический с часами дом,
Дом над ободранным селом,
И шапочку мужик снимает,
Лишь флаг завидит. Значит, пан
По саду с челядью гуляет.
Гуляй, откормленный кабан!..
Он чистокровный патриот..
Он в свитке ходит меж панами,
В шинке сидит он с мужиками
И корчит вольнодумца здесь...
Зачем его не заплюют?
И не затопчут? Люди, люди!

Это стихотворение, написанное уже в ссылке. Шевченко озаглавил буквами. «П. С.», то есть «Петру Скоропадскому» — «потомку дурня с булавою».

Григорий Галаган исправно заносил в интимный дневник собственную плодотворную деятельность. Как-то крепостные пришли к нему за разрешением жениться: «Один особенно просил. Признаюсь, что я колебался с минуту, думал, что если в самом деле тут любовь? Она редко случается между мужиками... Но все же отказал: народ избалован в высшей степени, доходит даже до непослушания».

Еще такая запись: «21-го числа, приехавши в Прилуки, я почел нужным сделать расправу в экономии». Для этого просвещенный помещик призвал двух поспоривших между собою крепостных и велел им бить друг друга по щекам; один из них, старик, особенно «плакал и извинялся, но я его прогнал, и ему дали тридцать розог...»

И в этой-то среде очутился Шевченко сразу из мастерской Брюллова, из Академии художеств! Конечно, что же тут было неожиданного? Разве он не был знаком хотя бы со «свиньей в торжковских туфлях» — Энгельгардтом?

И все-таки душа Шевченко, чуткая к чужому горю больше, чем к своему, испытывала такую боль, словно с нее вновь и вновь сдирали кожу.

Поэта пригласил на обед какой-то полтавский помещик. Когда Шевченко вместе со своим знакомым вошел в дом, он увидел в прихожей дремавшего на лавке слугу. В ту же минуту появился хозяин. Не стесняясь присутствием посторонних (а может быть, и щеголяя перед ними!), помещик принялся собственноручно зуботычинами и подзатыльниками будить крепостного парня.

Шевченко весь побагровел, нахлобучил шапку, повернулся и, не прощаясь, ушел. Хозяин и благодушный знакомый, сопровождавший Шевченко, бросились за ним вдогонку, стали упрашивать его воротиться — разумеется, безуспешно.

— Мысль о тогдашнем положении простолюдина постоянно его мучила и нередко отравляла лучшие минуты, — простодушно поясняет, рассказывая этот эпизод, свидетель сцены — либеральный помещик и писатель Афанасьев-Чужбинский.

Либерализм, украинский национализм с его фразистой и до дна фальшивой «любовью» к «славной старине», к «гетьманщине» и «козаччине», с его глубочайшим презрением к трудовому народу, к тяжкому крепостному состоянию был ненавистен Шевченко всегда, но в период «Трех лет» поэт-революционер имел особенно много случаев увидеть подлинное лицо господ либералов, панов-националистов.

Владелец села Березань на Переяславщине Платон Лукашевич был известен как составитель одного из первых сборников украинского фольклора — «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни», вышедшие в 1836 году. Он был товарищем Гоголя по Нежинскому лицей, был знаком с чешскими писателями Вацлавом Ганкой и Яном Колларом, с западноукраинскими писателями Головацким и Вагилевичем. На старости лет он сочинял и печатал книжки с удивительными названиями: «Чаромутие, или священный язык магов, волхвов и жрецов», «Ключ к познанию на всех языках мира прямых значений в названиях числительных имен первого десятка».

Познакомившись с Шевченко, Лукашевич распинаясь в своей любви к «неньке Украине». Но как-то Лукашевич прислал из своей Березани к Шевченко, жившему в Яготине, слугу с письмом, требуя, чтобы дворовый в

тот же день доставил назад ответ. Дело было в суровые зимние морозы, от Березани до Яготина — добрых тридцать верст, а посыльный — почти необутый и, разумеется, пешком.

Шевченко пытался уговорить слугу переночевать, чтобы наутро отправиться в обратный путь. Но крепостной человек не соглашался. Вся картина чудовищного бесправия, привычного, вошедшего в быт издевательства над забитыми, затравленными людьми-рабами встала перед Шевченко...

Он тут же написал и передал пану Лукашевичу гневное письмо. Вы говорите, писал Шевченко, о своей любви к Украине, а сами измываетесь над ее народом, ездите у народа на спине да еще подстегиваете кнутом. Шевченко писал, что презирает Лукашевича и всех ему подобных и что отныне ноги его не будет в этом доме.

Письмо было, конечно, неграмотным слугой исправно доставлено помещику. Тот рассвирепел и прислал Шевченко ответ, нарочито написанный на клочке измятой оберточной бумаги Лукашевич писал Шевченко: «У меня таких, как ты, триста холопов...»

Много Шевченко видел на своем веку и жестокости и подлости, но не выдержали заплакал...

Тарас побывал в Кириловке, повидал своих крепостных братьев и сестру, старался утешить их, как мог, помочь. Встреча с сестрой Ириной Григорьевной! Ведь с малых лет он был близок с сестрами. Из Петербурга он всегда писал братьям: заботьтесь о сестрах, защищайте Ирину от ее бестолкового и драчливого пьяницы-мужа! Берегите несчастную Марию (ослепшую еще в детстве)...

А сестры Сестры! Горе вам,
Мои голубки молодые!
Куда, бездомным, вам лететь!
Росли в батрачках, всем чужие,
В батрачках до седин дожили,
В батрачках вам и умереть!

Горестны были первые впечатления Шевченко, посетившего родные места.

Вскоре после того как Тарас вырвался из опротивевшей ему Качановки Тарновского, он приехал к Евгению Гребенке, жившему у себя в селе Марьяновне, недалеко от Пирятина.

Гребенка на Украине, как и в Петербурге, имел обширнейшие знакомства. Он был своим человеком и у Лизогуба в Седневе, и у Закревского в Березовой Рудке, и у де Бальмена в Линовице, и у Маркевича в Туровке.

Познакомиться с Шевченко чаяли тогда многие; многие просили Гребенку привезти в гости известного поэта. И вот в день Петра и Павла, 29 июня 1843 года, Гребенка уговорил Шевченко поехать с ним на традиционный ежегодный бал у владелицы села Моисевка, престарелой генеральской вдовы Татьяны Густавовны Волховской; она справляла в этот день одновременно именины сына, внука и покойного мужа.

На эти именины съезжалось до двухсот человек гостей, которые размещались в многочисленных комнатах, и бал длился два-три дня кряду — и в гостиных, и в огромном двухсветном зале, и в обширном старинном парке.

Вся атмосфера Моисевки очень отличалась от того, что видел Шевченко в Качановке: здесь не было твердого и расчетливого хозяина; не слышно было ханжеских и лицемерных разговоров об «искусстве» и о «славе Украины». Сын генеральши Волховской, военный, редко бывал дома, служил; известно, что позднее (но еще задолго до «крестьянской реформы») он добровольно отпустил на свободу доставшихся ему в наследство от матери крепостных.

Известно также, что после смерти Татьяны Густавовны ее «добрые соседи» — Тарновский, Селецкий и другие — предъявили на десятки тысяч рублей ее векселей, она на протяжении многих лет, не занимаясь хозяйством, позволяла себя обманывать и обкрадывать, живя почти исключительно в долг.

Шевченко впоследствии, в письмах из ссылки, спрашивал друзей о Волховской: «Жива ли она, добрая старушка?» А в стихах называл ее самым дорогим для него словом. «Мать! Старенькая мать!»

У Волховских Шевченко познакомился с Алексеем Васильевичем Капнистом, сыном известного поэта.

В прошлом Алексей Васильевич вместе с братом своим Семеном Васильевичем состоял членом «Союза благоденствия». Семен Капнист был женат на родной сестре повешенного царем декабриста Сергея Муравьева-Апостола. После декабрьского восстания Алексей Капнист испытал и арест и заключение в Петропавловской крепости, но избежал ссылки и, выйдя в отставку, поселился в своей Ковалевке, недалеко от Яготина.

Алексей Капнист был в близкой дружбе и родстве с семьей опального вельможи Николая Григорьевича Репнина (Волконского), проживавшего

«на покое» в своем имении в Яготине. Князь Николай Григорьевич через Капниста пригласил молодого художника (о талантах которого было много наслышан), чтобы снять копию со своего портрета, писанного швейцарским художником Горнунгом.

Князь Репнин, бывший вице-король Саксонии, потом малороссийский генерал-губернатор, выступил в свое время перед черниговским и полтавским дворянством с нашумевшей речью о необходимости ограничить права помещиков над крестьянами. После этого вельможа, осмелившийся указать Николаю I на «стон шестисот тысяч ваших подданных» и на то, что теперь «рабство их еще несноснее прежнего», был грубо удален от дел.

Царь, вступивший на трон под залпы пушек на Сенатской площади, относился к Репнину с особенным предубеждением еще и потому, что родной брат Николая Григорьевича, декабрист Сергей Григорьевич Волконский, один из руководителей Южного общества, был осужден «по первому разряду» и сослан на двадцать лет в Нерчинские рудники с последующим «поселением в Сибири на вечные времена».

Тарас с большим интересом отправился в Яготин.

В обширный яготинский парк Шевченко и Капнист прибыли на склоне жаркого летнего дня. Они торопились добраться до жилья, потому что на небо быстро надвигались тяжелые грозовые облака. Пересекая лужок, приятели увидели двух дам, направлявшихся на прогулку, несмотря на угрожавшие тучи.

Капнист, приблизившись к дамам, успел только воскликнуть:

— Куда вы? Ведь собирается сильная гроза, взгляните на небо!

В эту минуту хлынул крупный июльский ливень. Капнист схватил под руку старшую из дам и побежал с нею по направлению к дому. За ними последовала и молодая, поразившая Шевченко взглядом своих огромных печальных глаз.

Шевченко не хотелось спешить за всеми, и он остался под дождем один. Вскоре туча прошла, дождь прекратился. Шевченко вместе с возвратившимся за ним в сад Капнистом, оба мокрые до нитки, подошли к старинному, неприхотливой архитектуры дому Репниных. Шевченко уже знал, что встретившиеся им дамы — княгиня Варвара Алексеевна и княжна Варвара Николаевна — жена и дочь Репнина.

Когда спустя несколько часов Капнист водил приятеля по залу, показывая ему ценное собрание картин и портретов, к ним вышла Варвара Николаевна, и Шевченко снова увидел эти большие, выразительные глаза, делавшие таким заметным это совсем некрасивое, худощавое лицо далеко

не молодой девушки.

В это время Шевченко было двадцать девять лет, Варваре Репниной — тридцать пять. Пережившая в двадцать лет трагедию горячей, но неудачной любви ко Льву Баратынскому (брату известного поэта), княжна была одинока и грустна; и вот она глубоко, беззаветно полюбила Тараса Шевченко, певца своей обездоленной родины.

О том, как она относилась к молодому поэту, Варвара Репнина рассказала в своей автобиографической повести, оставшейся незаконченной и неопубликованной при ее жизни.

Биографы Шевченко долго недоумевали: почему княжна Репнина, дочь саксонского вице-короля, в детстве игравшая вместе с наследными принцами европейских дворов, могла так горячо привязаться к «вольнотпущенному» сыну крепостного мужика, внуку гайдамака, певцу народных мук, больше всего на свете ненавидевшему «голубую кровь» и «белую кость» дворян-рабовладельцев?

С подкупающей и убедительной искренностью ответила на эти вопросы сама Варвара Репнина.

В автобиографической повести, набросанной в то время, когда Репнина встречалась с Шевченко, поэт выведен под именем Алексея Березовского; себя Репнина изобразила под именем Веры Радимовой.

В повести между действующими лицами происходит спор о том, может ли девушка из богатой и знатной семьи выйти замуж за человека, все достоинства которого составляют «гений, доброта, высокая душа и поэзия». Этот спор Вера Радимова (Варвара Репнина) заключает следующим восклицанием:

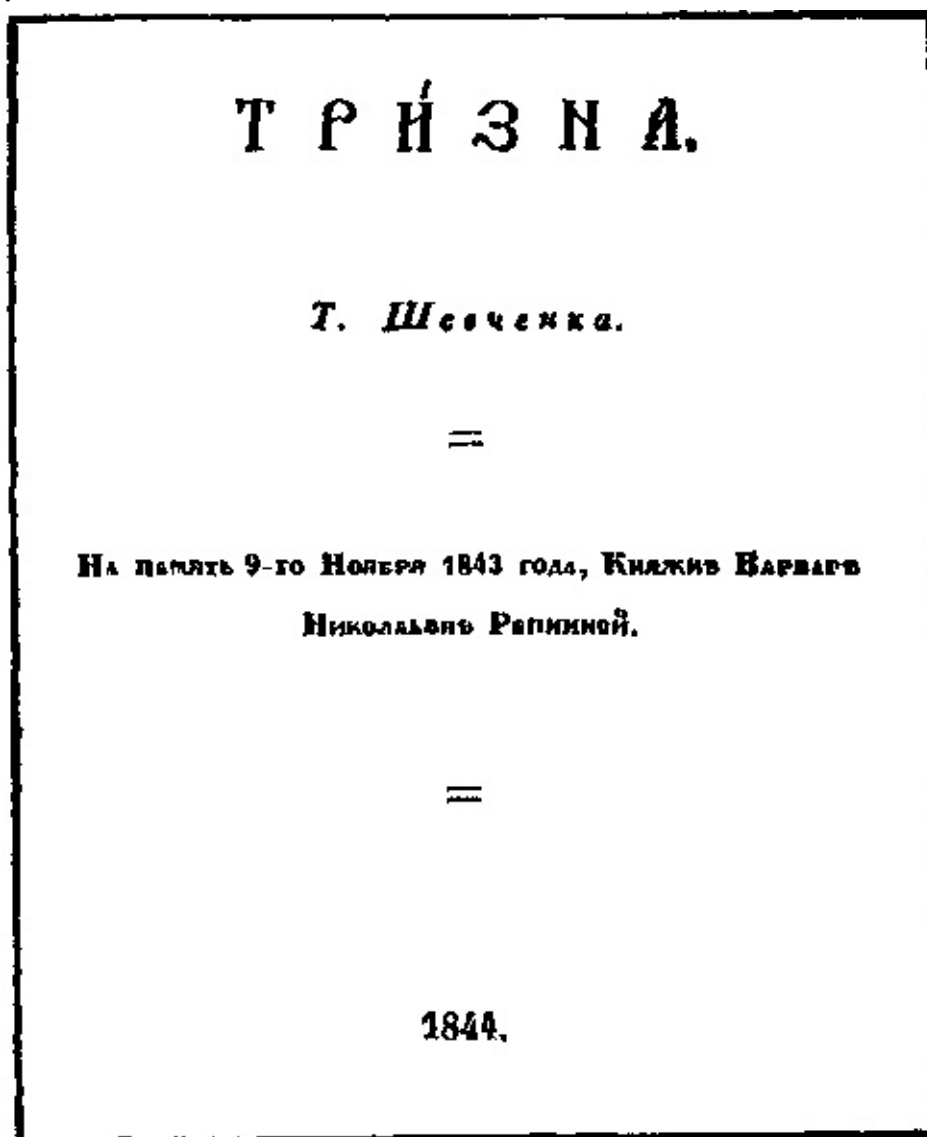
«— Оставим этот бесполезный спор... Я с вами никогда не соглашусь, чтобы сан и деньги были предпочтительны гению и благородству душевному!»

В этой повести Репнина откровенно изложила всю историю своей любви к Шевченко — любви, которую она так тщательно скрывала от окружающих.

«Он был, — говорится в повести о Шевченко, — из малого числа избранных, которые, будучи богато одарены провидением, не имеют нужды принадлежать ни к какому сословию общества и бывают приняты всеми с особенным вниманием. Он был поэт... поэт, во всей обширности этого слова: он стихами своими побеждал всех, он выжимал из глаз слушающих его слезы умиления и сочувствия, он настраивал души на высокий диапазон своей восторженной лиры, он увлекал за собою старых и молодых, холодных и пылких. Читая дивные свои произведения, он делался

обворожительным: музыкальный голос его переливал в сердца слушателей все глубокие чувства, которые тогда владычествовали над ним. Он одарен был больше, чем талантом, — ему дан был гений..»

Происхождение Шевченко, его принадлежность к трудовому классу возбуждали к нему симпатию передовых людей 40-х годов. Именно об этом говорит Варвара Репнина в той же своей повести: «Молва разносила печальные слухи о его детстве и юности, говорили, что он много страдал, что он купил ужасными испытаниями право громить сильных... Он был всеми любим, и все ему желали счастья и успеха... Иные, и более всех Вера, желали ему достигнуть высокой цели: она познала, что он может быть великим, и всеми силами души хотела, чтобы он всегда и во всем был великим».



Титульный лист поэмы Т. Г. Шевченко «Тризна»,

Варвара Николаевна в обширном письме-исповеди, адресованном в начале 1844 года ее духовнику — аббату Эйнару, утверждала: «Капнист убежден, что я люблю его [Шевченко] и что я потеряла голову. Я же очень привязана к нему и не отрицаю, что если бы я видела с его стороны любовь, я, может быть, ответила бы ему страстью, но так как я ни одной минуты не могла заблуждаться на этот счет, то я тотчас отвела этому чувству место среди тех, которые очищаются отречением...»

Таким образом, Шевченко не ответил на эту страстную любовь, хотя и относился к княжне Репниной, как и ко всей ее семье, с глубокой симпатией и искренним уважением.

В Яготине он написал посвященную Репниной поэму «Тризна» (на русском языке). Это дань уважения и благодарности за — увы! — неразделенную любовь. Шевченко был человеком слишком искренним и прямым, чтобы позволить себе кривить душой в ответ на неподдельное чувство княжны Варвары. Он слишком много страдал, чтобы не понять ее.

Подолгу гостил поэт у Репниных в Яготине, где его скоро стали считать своим человеком.

Отец и мать Варвары Николаевны, брат ее Василий и сестра Елизавета, приемная дочь двадцатилетняя красавица Глафира Псёл (художница) с сестрами Александрой (поэтессой) и Татьяной, Алексей Капнист, иногда еще и другие гости (Селецкий, княгиня Кейкуатова) собирались по вечерам в гостиной Репниных.

Но в центре всего этого кружка был Тарас Шевченко. Глафира рисовала его портреты. Селецкий уговаривал поэта писать либретто для исторической оперы...

Шевченко читал вслух свою поэму «Слепая» (на русском языке). «О, если бы я могла передать вам, — писала об этом вечере Варвара Репнина аббату Эйнару, — все, что я пережила во время этого чтения!

Какие чувства, какие мысли, какая красота, какое очарование и какая боль! Мое лицо было все мокро от слез, и это было счастьем, потому что я должна была бы кричать, если бы мое волнение не нашло себе этого выхода; я чувствовала мучительную боль в груди. После чтения я ничего не сказала; вы знаете, что, при всей моей болтливости, я от волнения теряю способность речи. И какая мягкая, чарующая манера читать!»

После чтения, когда волнение присутствующих улеглось, Варвара Николаевна сказала Шевченко:

— Когда Глафира продаст свою первую картину и отдаст мне эти деньги, как она обещала, я закажу на них золотое перо и подарю его вам!

Во время этих литературных чтений княжна вязала для Шевченко шарф...

Варвара Николаевна тоже увлекалась литературой, пробовала сама писать. Сохранились ее лирические миниатюры в прозе, посвященные Шевченко и проникнутые неподдельной теплотой.

Очень высоко ставил Шевченко стихотворные опыты молодой поэтессы Александры Псёл. Ее песню «Свяченная вода» он уже в ссылке просил прислать ему и при этом прибавлял:

— Она оросит мое увядающее сердце...

Но, конечно, среди всех яготинских впечатлений Шевченко самыми сильными были жившие в семье Репниных воспоминания о событиях 1825–1826 годов.

После ареста Сергея Григорьевича Волконского Варвара Репнина записала в своем дневнике:

«Увы, как страждет сердце мое! Как пожелала бы соединиться с ним в печальном пристанище его!.. Если б я была дочь князя С. Г. В [олконского], то меня б давно здесь не было! О, боже мой, научи меня, как достигнуть мне цели моих желаний, как соединиться мне с злополучным С. Г. Я хочу быть его дочерью, его Антигоною».

У Репниных жила молодая красавица — жена Сергея Волконского Мария Николаевна (урожденная Раевская) — «утаенная любовь» Пушкина, которой поэт посвятил свою «Полтаву»:

Тебе. Но голос музыки томной
Коснется ль слуха твоего?..

Когда писалось это пушкинское посвящение, Мария Николаевна уже последовала за мужем в Сибирь.

В этот далекий путь Волконская отправлялась из Яготина: здесь она оставляла своего десятимесячного сына (Николай I запретил ей взять ребенка с собой!).

Этим пасмурным осенним утром на крыльце яготинского дома Репниных, где проливались последние слезы разлуки, жена декабриста простилась и с восемнадцатилетней княжной Варварой Николаевной, Varette, Варенькой Репниной. Это имя, как свидетельствует внук Волконских, осталось в памяти трех поколений их семьи «как символ нравственной непогрешимости и безошибочности в суждениях».

«Leurs adieux furent déchirants...»⁵ — писала в своем дневнике об этом

тягостном расставании Варенька.

В ее чувствительном сердце все события тех дней — и мучительная сцена прощания, и затем последующие тревоги и волнения, связанные с судьбой находившихся в Сибири Волконских, с заботами о младенце, — оставили, конечно, очень глубокий след.

Маленький Николенька Волконский все болел и, наконец, умер в начале 1828 года; его ранней смерти посвятил взволнованное стихотворение Пушкин.

Эти впечатления не забываются никогда. И можно себе представить, с каким волнением Варвара Николаевна рассказывала, а Шевченко слушал историю этих людей!

Спустя почти тридцать лет, зимой 1871/72 года, Некрасов, работавший над поэмой «Русские женщины», о Марии Волконской, слушал чтение ее «Записок».

— При этом, — вспоминает сын Марии и Сергея Волконских Михаил, — Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал и со словами «довольно, не могу!» бежал к камину, садился у него и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок.

Когда Шевченко слушал рассказы яготинских жителей о Волконских, все события еще были совсем свежи в памяти, с сосланными поддерживалась переписка. О них говорили не как о далеком прошлом, а как о близком, живом и кровоточащем настоящем...

Впоследствии, уже в 1858 году, Шевченко в Москве познакомился с декабристом Сергеем Волконским, глубоким стариком, которого не сломили никакие невзгоды...

Образы декабристов впервые входят в поэзию Шевченко именно в эти годы. Тотчас по возвращении с Украины он пишет поэму «Сон»; это одно из первых произведений цикла «Три года».

Переносясь из конца в конец родной земли, где повсюду страдают и стонут люди, поэт попадает в рудники Сибири.

...Вдруг я слышу —
Под землей неясно
Цепи звякнули... Я глянул..
О народ несчастный!..

Пустыня вдруг зашевелилась,
Земля, как тесный гроб, раскрылась,
И из земли на страшный суд

За правдой мертвецы встают..

Не мертвы они, не просят
Жалости у судей!
Это ведь живые люди,
В кандалы забитые,
Золото из нор выносят,
Чтобы ненасытному
Заткнуть глотку! За что же их
В рудники сослали?
Знает бог... Хотя и сам-то
Знает он едва ли!..

Образы декабристов витают и над посвященной Варваре Репниной поэмой «Тризна» (или «Бесталанный»), из которой цензура вычеркнула не одну остро революционную строку.

К этим образам, все более и более углубленно их раскрывая, поэт возвратится еще не раз.

В Яготине Шевченко искренне подружился со стариком Репниным.

— Вот таких стариков я люблю! — восклицал он после бесед со старым князем, который с большим уважением и без малейшей тени высокомерия относился к бывшему крепостному.

Репнин терпеть не мог раболепия, пресмыкательства, и независимый тон и характер Шевченко ему очень импонировали. Известен любопытный факт еще из времен, когда Репнин был малороссийским генерал-губернатором. Черниговский гимназист четвертого класса, пятнадцатилетний Василий Лазаревский (впоследствии знакомый Шевченко и Некрасова и цензурный деятель) сочинил высокопарную оду во славу Репнина. Репнин дал на нее следующий отзыв:

— Отдавая справедливость талантам молодого человека, советовал бы ему не употреблять оных на занятия, имеющие целью лесть начальству.

Новый, 1844 год Шевченко встретил у Репниных. В этот вечер как-то особенно тепло почувствовал он себя в этой семье. Прощаясь перед сном с Тарасом Григорьевичем, старый князь Репнин горячо обнял Шевченко, и этот искренний, отцовский жест запал в душу поэта. После смерти старика Шевченко писал — уже из ссылки — Варваре Николаевне:

«Мир праху доброго человека, который приветствовал меня в Новый Год не как бесприютного скитальца, а как родного сына. Как это недавно

было, мне кажется — вчера...»

В автобиографической повести княжны Репниной Тарас Григорьевич недаром представлен под именем поэта Березовского: Варваре Николаевне было хорошо известно, что сердце Шевченко не просто отворачивается от нее, но оно занято, занято другой женщиной, вдобавок замужней... Женщина эта жила верстах в тридцати от Яготина, в Березовой Рудке, — отсюда и Березовский.

Шевченко и в самом деле часто заезжал в это время в Березовую Рудку, к дальним родственникам Репниных — помещикам Закревским

Трое братьев Закревских — Платон, Михаил и Виктор — находились в родстве с братьями Яковом и Сергеем де Бальменами. В Линовице у де Бальменов Шевченко бывал тоже нередко.

Яков де Бальмен — талантливый художник, в 1844 году иллюстрировал рукописный сборник стихов Шевченко (иллюстрации были им выполнены совместно с братом жены Сергея де Бальмена, художником Михаилом Башиловым); затем Якова де Бальмена за что-то сослали на Кавказ, в действующую армию, где он был убит в бою 14 июля 1845 года. Под свежим впечатлением известия о гибели друга Шевченко написал свою знаменитую поэму «Кавказ», посвященную «искреннему моему Якову де Бальмену».

Не может быть случайностью это посвящение де Бальмену одной из самых остро революционных поэм Шевченко.

В ней поэт обращается к другу:

И тебя загнали, друг и брат единый,
Яков мой хороший! Не за Украину —
За ее тирана довелось пролить
Столько честной крови! Довелось испить
Из царевой чаши царевой отравы!
Друг мой незабвенный, истинный и правый!

«По отзывам всех знавших его, — писал о Якове де — Бальмене художник Лев Жемчужников, — он был чрезвычайно симпатичен, талантлив и красив».

Старший брат Закревских — Платон Алексеевич, уже немолодой отставной полковник, был женат на юной красавице Анне Ивановне; она вышла за него замуж из небогатой семьи.

Шевченко полюбил Анну Ивановну, которой было в то время всего

двадцать лет (хотя она уже была матерью двоих детей). «Ганна-красавица», — называет он ее в письмах к Виктору Закревскому.

Шевченко нарисовал портреты Платона и Анны.

Уже на берегу далекого Аральского моря, спустя пять лет, было написано стихотворение, которое поэт так и назвал «Г. З.», то есть «Ганне Закревской»:

...А ты, радость!
Ты, моя надежда?
Ты, мой праздник чернобровый,
И теперь меж ними
Ходишь плавно и своими
Очами, такими,
Ну, дочерна голубыми,
И теперь чаруешь Души все!
Небось доселе Любуются всуе
Станом гибким? Ты, мой праздник!
Праздник мой пригожий!

Именно такой изобразил Шевченко Анну Закревскую на своем портрете: с черными бровями, огромными, «дочерна голубыми» глазами, с красивым, правильным овалом лица.

Но Варвара Репнина вывела Анну Закревскую в своей повести о Шевченко не только признанной всеми красавицей, «царицей балов», но и «ветреной, холодной и очень обыкновенного ума девицей», с самыми «бесстыдными задирками»; она «глупенько улыбается», «жеманно гнет голову», говорит протяжно и томно; наконец эта «легковерная кокетка запутывает в свои сети еще легкомысленнее ее поэта», которого «сводит с ума».

Нет никакого сомнения в том, что оценки княжны Репниной здесь продиктованы недобрым чувством к Закревской. Однако любовь Шевченко к «красавице Ганне» действительно не была и не могла быть счастливой, его визиты в Березовую Рудку становились для него все более мучительными, пока не прервались совсем.

В первый свой приезд Шевченко прожил на Украине десять месяцев. Эти десять месяцев были богаты встречами и впечатлениями. Злое и доброе отложилось в душе поэта новыми образами.

Повсюду крестьяне поднимались на борьбу. Крупные волнения

происходили и в Киевской губернии (в селе Русановке), и на Волыни (в селе Швайковке), и на Подолии (в Семаке, в Роженах)...

При этом, однако же, обнаруживалась вся незрелость крестьянского движения, наивная вера масс в «справедливость» царя, в возможность уйти от «злого» помещика к «доброму».

В делах некоторых полицейских архивов находим донесения земских исправников о выступлениях крестьян в Купянском и других уездах Харьковской губернии (1843 год); в документах читаем. «В прошлых 1841 и 1842 годах почти в каждом уезде настоящей губернии существовали, да и ныне еще существуют, среди помещичьих крестьян слухи о дарованной им правительством свободе и независимости...» В другом докладе тоже встречаем объяснение крестьянских волнений «ложной мыслью на какую-то свободу».

Крестьянам одного села стало не в состоянии сносить притеснения помещика — непрерывно увеличивал он барщину, чинил дикие расправы, — и они, тридцать шесть взрослых мужчин и сорок четыре женщины, вместе со своими детьми бросили хаты и ушли из деревни «в неизвестном направлении»...

В 1842 году на Черниговщине крепостные крестьяне оказали сопротивление помещице Простоквашевой: «Означенных крепостных возмущение родилось из ложных толков, что как владелец их умер бездетным, то они должны быть вольные». А на Полтавщине (в Кобелякском уезде) в том же году крестьяне «по несправедливому толкованию высочайшего указа о вступлении помещиков в договор с крестьянами... оказали непослушание», и многие крепостные целыми дворами уходили из имения помещика на Кавказ...

Кобелякское полицейское начальство было встречено в имении толпой полусотни разъяренных крестьян; арестовать поодиночке своих уполномоченных они не позволили, а всей толпой «в буйном исступлении», как докладывалось позже губернатору, бросились на пристава, который вынужден был бежать. В одном из имений Кочубея крестьяне в этом же году арестовали эконома и приказчика, а когда полиция посадила в тюрьму престарелого Якова Чумака в качестве «зачинщика», то толпа в 300 человек заставила администрацию этапной тюрьмы в Чутове (Полтавской губернии) освободить арестованного.

Множество подобных историй слышал Шевченко и в России и на Украине. Сердце поэта переполнялось великой скорбью, и он горько восклицал:

А слез! А крови! Напоить
Всех императоров бы стало,
Князей великих утопить
В слезах вдовиц! А слез девичьих,
Ночных и тайных слез привычных,
А материнских горьких слез!
А слез отцовских, слез кровавых!
Не реки — море разлилось!
Пылающее море...

В поэме «Тризна» Шевченко писал:

Без малодушной укоризны
Пройти мытарства трудной жизни.
Измерить пропасти страстей,
Понять на деле жизнь людей,
Прочесть все черные страницы,
Все незаконные дела...
И сохранить полет орла
И сердце чистой голубицы!
Се человек!..

Таким человеком был сам поэт.

Он носил в своем сердце и колыбельную матери — крепостной крестьянки, и заветы «первых русских благовестителей свободы», и собственный жестокий и многообразный жизненный опыт.

Так начались знаменательные «Три года». Это был первый год.

VII. НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

В начале февраля 1844 года Шевченко выехал из Киева в Петербург. На этот раз путь его лежал через Москву. Впервые он посетил древнюю белокаменную столицу.

В Москве Шевченко подружился с историком Осипом Максимовичем Бодянским, украинцем по происхождению, одним из основателей славяноведения в России. Незадолго перед тем (осенью 1842 года) Бодянский возвратился из западнославянских стран, где провел несколько лет и близко сошелся с выдающимся чешским ученым Шафариком.

В украинской литературе Бодянский выступал под псевдонимами Запорожец Исько Материнка, Бода Варвинец, Мастак; сборник его поэм «Наські українські казки», вышедший в 1835 году, благожелательно отметил Белинский.

Шевченко бывал в Москве и в 1845, и в 1847, и в 1858 годах. Он неизменно тепло отзывался о городе с его «древним красавцем Кремлем», о «милых сердцу, просвещенных москвичах».

В свое первое недолгое пребывание в столице Шевченко сблизился с гениальным русским актером, тоже бывшим крепостным, другом Пушкина и Гоголя Михаилом Семеновичем Щепкиным. Познакомились они еще на Украине.

Щепкин был на двадцать шесть лет старше Шевченко, и в период знакомства с поэтом ему было уже далеко за пятьдесят. Позади был и тернистый путь к славе и тяжкий груз житейского опыта, — сам артист любил говорить, что знает он русскую жизнь «от лакейской до дворца».

Немало глубокого, может быть, даже утаенного смысла в посвященном Щепкину стихотворении «Чигирин» (под ним стоит дата: «Москва, 19 февраля 1844 года» — вероятно, дата встречи со старым артистом). Недаром именно этим стихотворением открыл Шевченко свой рукописный сборник «Три года».

«Пускай же сердце плачет, просит священной правды на земле!» — восклицает поэт и, как бы подводя итог своим впечатлениям от года пребывания на Украине, замышляет найти новые слова для новых дум о судьбе народа:

Думы душу мне сжигают,

Сердце разрывают
Ой, не жгите, подождите,
Может быть, я снова
Найду правду горестную,
Ласковое слово
Может, выкую из слова
Для старого плуга
Лемех новый, лемех крепкий,
Взрежу пласт упругий
Целину вспашу, быть может,
Загрущу над нею
И посею мои слезы,
Слезы я посею
Пусть ножей взойдет побольше
Обоюдоострых,
Чтобы вскрыть гнилое сердце
В язвах и коросте.

У Шевченко созревала революционная страсть, в его поэзии вырастал призыв к вооруженной борьбе.

Почему с именем Щепкина связано это первое стихотворение из революционного цикла «Три года»?

В 40-х годах Щепкин был в близких, дружеских отношениях с кругом московских передовых деятелей— в первую очередь с Герценом и Белинским. После переезда Белинского в Петербург Щепкин из своих поездок в Петербург на гастроли иногда привозил письма Белинского к Герцену в Москву и служил как бы живым звеном, связывавшим друзей.

Наши сведения о знакомстве Шевченко с московскими литераторами очень неполны. Например, мы не имеем данных, чтобы установить, встречались ли Герцен и Шевченко. А это вполне возможно: при очень близких отношениях обоих со Щепкиным тот мог, конечно, их познакомить в один из приездов Шевченко в Москву.

Известно, что Герцен заслушивался устными новеллами Щепкина; повесть «Сорока-воровка» написана на основе одного из таких рассказов. 19 марта 1844 года Герцен записал в своем дневнике: «Превосходные рассказы Михаила Семеновича о своих былых годах... Во всех этих рассказах пробивается какая-то *sui generis*⁶ струя демократии и иронии».

А вспомним, что в марте того же года Шевченко также находился в

Москве и также встречался со Щепкиным, бывал у него дома.

При посредстве Щепкина Шевченко мог познакомиться и с Грановским, и с Аксаковым, и с Александром Станкевичем (по возвращении из ссылки, посетив Станкевичей в 1858 году, Шевченко называет их в своем дневнике «старыми знакомыми»), и с редактором «Московских ведомостей», где печатался Герцен, — Евгением Коршем Шевченко, между прочим, был знаком с членом московского кружка Герцена, украинцем по происхождению, Петром Редкиным.

Герцен говорил впоследствии о передовой молодежи Москвы сороковых годов «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде»

Со Щепкиным поэт часто виделся в Петербурге, куда в конце 1844 года великий артист приезжал на гастроли. Ему посвящено стихотворение, которое поэт вписал в свой рукописный сборник «Три года» вслед за «Чигирином»; здесь тоже есть намеки на беседы, которые велись между друзьями:

Зачаруй меня, волшебник,
Друг мой седоусый!
Ты закрыл для мира сердце,
Я ж еще боюсь, —
Страшно мне дотла разрушить
Дом свой обгорелый,
Без мечты остаться страшно
С сердцем опустелым
Может быть, еще проснутся
Мои думы-дети
Может, с ними, как бывало,
Помолюсь, рыдая,
И увижу солнце правды
Хоть во сне, хоть краем!..
Обмани, но посоветуй,
Научи, как друга,
Что мне — плакать иль молиться,
Иль виском об угол?

Щепкин долгие годы знал это стихотворение на память (он дал ему название, которого не было у Шевченко: «Пустка», то есть брошенная хата)

и часто читал его друзьям.

Возвратясь в 1844 году из Петербурга в Москву, Щепкин привез Герцену письма от его петербургских друзей — Белинского, Кетчера — и рассказывал о своих столичных встречах; может быть, упоминал он при этом о новом друге — замечательном поэте, талантливом художнике и обаятельном человеке Тарасе Шевченко.

А Шевченко в «Отечественных записках» уже прочитал в 1843 году «Дилетантизм в науке» Герцена — работу, о которой все много тогда говорили. Белинский писал Боткину: «Скажи Герцену, что его «Дилетантизм в науке» — статья донельзя прекрасная — я ею упивался...»

Шевченко и Герцен через всю жизнь пронесли чувство взаимной симпатии и глубокого уважения друг к другу.

— Чуть ли не единственный народный поэт, политический деятель и борец за свободу, — говорил о Шевченко Герцен.

— Апостол наш, наш одинокий изгнанник, святой человек! — отзывался о Герцене Шевченко.

Решающее влияние на молодого Шевченко оказал властитель передовых умов, великий русский критик и мыслитель Белинский.

Тесной личной дружбы между Белинским и Шевченко (подобной дружбе великого критика с Кольцовым) не было; встречались они редко, однако Шевченко, внимательный и вдумчивый читатель журнальной литературы, прекрасно знал статьи Белинского.

Критик был в 1839–1846 годах фактическим редактором «Отечественных записок»; здесь в эти годы выступали часто и украинские писатели (Квитка-Основьяненко, Гребенка), публиковались отзывы на украинские издания.

Многие из этих отзывов принадлежали перу самого Белинского, другие им редактировались в духе демократического и реалистического направления журнала. Белинский последовательно отстаивал право на существование украинского национального художественного творчества и в то же время призывал к единству культурных деятелей России и Украины.

«Много в истории Малороссии характеров сильных и могучих, — писал Белинский в 1843 году в рецензии на «Историю Малороссии» Николая Маркевича. — История Малороссии исполнена дикой поэзии, как ее поэтические народные думы... Слившись навеки с единокровною ей Россиею, Малороссия отворила к себе дверь цивилизации, просвещению, искусству, науке... Вместе с Россиею ей предстоит теперь великая будущность».

Белинский в сороковых годах борется против крепостничества и

самодержавия. «Идея социализма», по его собственным словам, в это время становится для него «идею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса».

И явления литературы Белинский оценивает с точки зрения их жизненной правдивости, с точки зрения глубины раскрытия социальной действительности.

Появившиеся весной 1842 года «Мертвые души» Белинский называет «великим произведением», а Гоголя — «великим талантом, гениальным поэтом и первым писателем современной России» — именно потому, что Гоголь «первый взглянул смело и прямо на русскую действительность».

Вслед за Белинским и Шевченко горячо приветствует критический реализм Гоголя, постоянно называет автора «Мертвых душ» — «наш бессмертный Гоголь», почти наизусть знает эту поэму в прозе.

Шевченко в 1844 году пишет стихотворение «Гоголю», в котором ясно определяет свое место художника-реалиста в одном ряду с Гоголем:

Все безропотны в неволе,
В кандалах да в стуже,
Ты смеешься, а я плачу,
Мой великий друже!
Что взойдет из слез горючих? —
Горестные всходы
Пускай, брат мой! А мы будем
Смеяться и плакать

Статьи Белинского западали в память Шевченко, и отдельные высказывания критика он вспоминал уже много лет спустя. Ему, например, запомнилась статья Белинского об Эжене Сю. Критик, говоря о «неестественных и невозможных» героях французского романиста, о множестве «сентиментального вздора и пошлых эффектов» в его произведениях, заявлял, что «во всем этом виден не даровитый живописец-творец, а ловкий ученик Академии, набивший руку, присмотревшийся к картинам мастеров и кое-как умеющий сплеча чертить фигуры, иные так себе — недурные, а иные очень плохие, и никогда не умеющий написать ничего полного и стройного».

«Перед Гоголем, — писал Шевченко спустя шесть лет, — должно благоговеть, как перед человеком, одаренным самым глубоким умом и

самую нежную любовью к людям! Сю, по-моему, похож на живописца, который, не изучив порядочно анатомии, принялся рисовать человеческое тело, и, чтобы прикрыть свое невежество, он его полуосвещает. Правда, подобное полуосвещение эффектно, но впечатление его мгновенно! Так и произведения Сю, пока читаешь — нравится и помнишь, а прочитал — и забыл. Эффект и больше ничего! Не таков наш Гоголь — истинный ведатель сердца человеческого. Самый мудрый философ! И самый возвышенный поэт должен благоговеть перед ним, как перед человеколюбцем!»

Нельзя не видеть прямого совпадения в этих оценках.

Под влиянием идей Белинского и Герцена находилась в это время вся передовая молодежь, объединявшаяся в различные тайные кружки; в сороковых годах такие кружки существовали и в Петербурге, и в Москве, и на Украине. Наиболее крупной тайной организацией была организация М. В. Буташевича-Петрашевского. Она образовалась в середине сороковых годов в Петербурге и была связана с другими поддельными обществами и кружками.

Нам известно, что Шевченко был знаком с некоторыми из петрашевцев: с Момбелли, Штрандманом, с художниками Бернадским и Жуковским, возможно, также с поэтами Пальмом и Дуровым (они оба бывали у Гребенки, печатались в альманахе «Молодик», в котором печатался и Шевченко) Может быть, знал он и рукописные документы, составленные петрашевцами, и пользовался их обширными собраниями запрещенных в России книг; «библиотекарем» петрашевцев был близкий приятель Шевченко — Роман Штрандман.

Воздействие на поэта идей петрашевцев, как и идей Белинского и Герцена, отчетливо отразилось в эти годы в его поэтическом творчестве

С детства так близко, так горестно знакома была Шевченко гнусная крепостническая действительность. Передовые идеи его времени помогали ему глубже осознать ее социально-исторический смысл.

Это новое понимание общественных явлений и вызвало к жизни весь замечательный цикл произведений, озаглавленный поэтом «Три года». Единым пафосом — пафосом революционного протеста против крепостничества — проникнуты стихотворения и поэмы этой тетради Шевченко.

В том-то и заключался глубокий смысл слов поэта о «незаметных трех годах», которые «разожгли все злое» в его сердце.

Одно из первых произведений этого периода — остросатирический «Сон», получивший еще при жизни Шевченко широкое распространение в

списках.

Развивая традиции русской политической лирики Радищева и Рылеева, Пушкина и Лермонтова, Шевченко создает образы, не имевшие аналогий в предшествовавшей поэзии.

Все эти образы реалистически конкретны, взяты из повседневного быта: опухший, голодный ребенок, умирающий под забором; вдова, с которой требуют подати, а единственного кормильца-сына забирают в многолетнюю (практически пожизненную) солдатскую службу; крепостная крестьянка, день и ночь работающая на барщине; молодой помещик, надругавшийся над крестьянской девушкой:

Это — покрывка вдоль тына
С ребенком плетется, —
Мать прогнала, и все гонят,
Куда ни толкнется!
Нищий даже сторонится!
А барчук не знает
Он, щенок, уже с двадцатой
Души пропивает!

Поэт с убийственным сарказмом изображает царя («царь по залам выступает высокий, сердитый. Прохаживается важно.»), его приближенных («...выступают гордо, все как свиньи: толстопузы и все толстоморды»), всю систему чиновничьей бюрократической администрации.

С богоборческих позиций он выступает против религиозного дурмана:

Нет на небе бога!
Под ярмом вы падаете,
Ждете, умирая,
Райских радостей за гробом, —
Нет за гробом рая!
Образумьтесь!

Работа Фейербаха «Сущность христианства», воспитавшая целое поколение атеистов, была, несомненно, знакома Шевченко через его друзей-петрашевцев.

Благоговейное чувство вызывают у поэта борцы за волю и права

народа — закованные в кандалы, загнанные в рудники герои восстания 14 декабря, «апостолы-мученики»

Поэма «Сон» датирована: «Петербург, 8 июля 1844 года». В ней поэт еще готов сочувствовать защитнику феодальных прав казацкой старшины — гетману Павлу Полуботку А спустя полтора года, 14 декабря 1845 года (может быть, не случайно в двадцатую годовщину пушечных залпов на Сенатской площади, — во всяком случае, Шевченко всегда хорошо помнил эту знаменательную дату), он в послании «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам» окончательно развенчивает «казацкую национальную романтику», разоблачает идеализированных буржуазно-националистической историей гетманов.

Где уж тут понять народу!!
А шуму, а крику!
— И гармония и сила!
Музыка — и полно!
А история! Поэма
Народности вольной!
Еще раз пересмотрите,
Прочитайте снова
Книгу славы да читайте
От слова до слова
Рабы, холопы, грязь Москвы,
Варшавский мусор ваши паны —
И гетманы, и атаманы!
Так чем же чванитесь вы!
Сыны сердечной Украины!.
А чьей жаркой кровью
Та земля была полита,
Что картошку родит, —
Все равно вам, лишь бы овощь
Росла в огороде!
Тяжело мне, только вспомню
Печальные были
Дедов наших Что мне сделать,
Чтоб о них забыл я?
Я бы отдал за забвенье
Жизни половину
Такова-то наша слава,

Слава Украины!

Поэт горячо сочувствует всем народностям, страдающим, как и украинцы, под игом царя и помещиков.

В поэме «Кавказ» Шевченко создает образ порабощенного, но не сломленного свободолюбивого народа — это бессмертный Прометей:

Спокон века Прометея
Там орел карает,
Что ни день, долбит он ребра.
Сердце разрывает
Разрывает, да не выпьет
Крови животворной,
Вновь и вновь смеется сердце
И живет упорно,
И душа не гибнет наша,
Не слабеет воля,
Ненасытный не распашет
На дне моря поля
Не скует души бессмертной,
Не осилит слова!

И поэт верит в победу народа, он призывает:

Боритесь — поборете!
С вами правда, с вами слава
И воля святая!—

и клеймит ненавистный самодержавный строй:

У нас же и простор на то,
Одна сибирская равнина
А тюрем сколько. А солдат!
От молдаванина до финна
На всех языках все молчат:
Все благоденствуют!

Недаром формула «на всіх языках все мовчить, бо благоденствує» сделалась классическим определением царской «тюрьмы народов». Ее неоднократно использовали в революционной публицистике, начиная с Чернышевского, вплоть до большевистской печати

Цикл «Три года» завершился стихотворением, на долгие годы сделавшимся подлинным народным гимном-это «Завещание» В мировой литературе мало поэтических произведений, которые могли бы равняться по своей силе и по широчайшей, всенародной популярности с шевченковским «Як умру, то поховайте».

Як умиру ти поховайте
Меня на могилі
Серед стіт широкого
Невкритих миль,
Щоб лави широкополе,
И Дмитро, и кручи
Було видно; було чути
Як раве равучій,
Як пошеє в Українці
Уешное море
Крові вороту... отойди в
И лави и горы
Все покину, и политу
До самого Бога

Автограф «Завещания» Т Г Шевченко

Поэт, осознавший свою зрелую творческую мощь, обращается к народу, к грядущим поколениям.

Схоронив меня, вставайте,
Цепи разорвите

И злодейской, вражьей кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте, помяните
Незлым, тихим словом.

В Петербурге в годы своего учения Шевченко написал единственную дошедшую до нас в полном виде драму «Назар Стодоля». Более ста лет она не сходит со сцены профессиональных и самодеятельных театров. В драме четкие психологические и социальные характеристики; простое сюжетное построение; ткань пьесы пронизана украинской народной песней.

Шевченко изобразил столкновение казацкой старшинской верхушки и «голоты» — рядового, безземельного казачества. Действие драмы переносит зрителей в далекий XVII век, но все произведение настолько насыщено протестом против богатых, что революционный смысл пьесы был близок и современникам.

Образы дивчины Гали, мужественных казаков-побратимов Назара Стодоли и Гната Карого, а с другой стороны — зажиточного и черствого сотника Хомы Кичатого до сих пор волнуют миллионы зрителей своей жизненной правдивостью.

В существующем варианте «Назара Стодоли» (опубликованном П. Кулишом) пьеса оканчивается сценой раскаяния Хомы Кичатого и его примирения с «голотой». Однако сохранились свидетельства современников (рукопись драмы до нас не дошла), что первоначальный финал был иной: Гнат убивал сотника со словами проклятия.

Из другой драмы, написанной Шевченко в это же время — «Никита Гайдай», — до нас дошел только отрывок; герой драмы высказывает свое презрение к угнетателям в следующих словах (драма написана по-русски):

И вам, кровавые деспоты,
Несдобровать!..
В ком нет любви к стране родной,
Те сердцем нищие калеки,
Ничтожные в своих делах...
А наша родина страдает...
Нет, запоем мы песню славы
На пепелище роковом.

Мы цепь неволи разорвем,
Огонь и кровь мы на расправу
В жилища вражьи принесем.
И наши вопли, наши стоны
С их алчной яростью умрут!
И наши вольные законы
В степях широких оживут!

Вскоре после своей поездки на Украину Шевченко горячо, как все, что он делал, увлекся идеей систематически издавать (по двенадцать выпусков ежегодно) серию гравюр с объяснительным текстом под общим названием «Живописная Украина».

Первые же его рисунки в этой серии были посвящены исторической и современной жизни народа.

Шевченко успел изготовить и отпечатать шесть рисунков серии. Это яркие жанровые сцены из крестьянского быта: «Сваты» и «Мирская сходка» («Народный суд»), офорт на историческую тему «Приношение от трех держав даров Богдану Хмельницкому и украинскому народу в 1649 году» («Дары в Чигирине»), композиция на сюжет известной украинской народной сказки «Солдат и смерть» («Сказка»), наконец, два лирических пейзажа: «В Киеве» и «Выдубецкий монастырь».

Не имея средств на издание «Живописной Украины», Шевченко вынужден был собирать деньги по предварительной подписке на всю серию. Подписка шла довольно успешно. Варвара Репнина, принявшая в этом деле горячее участие, сообщала Тарасу Григорьевичу, что в Чернигове и Полтаве, Харькове и Киеве «билеты» на «Живописную Украину» разбираются охотно.

«Что такое 30 билетов? — писала Репнина в ноябре 1844 года, получив от Шевченко посылку с подписными билетами. — Надо было прислать их сотнями. Какие же вы несносные!»

Шевченко намеревался посредством издания «Живописной Украины» раздобыть средства для выкупа на свободу своих крепостных братьев и сестры. Об этом Репнина сообщала в одном из писем своему наставнику Шарлю Эйнару в Швейцарию:

«Хочется плакать кровавыми слезами, и хуже всего то, что никто не плачет, а все мирятся с плачевным положением вещей, с плачевными жизненными порядками! Я вот получила два письма от Шевченко — два прекрасных, но очень печальных письма, ибо он, бедный, хлопочет о том,

чтобы сделать своих братьев свободными людьми. Вы поймете без моих пояснений, что должна чувствовать его душа»

Но так удачно начатое дело вскоре пришлось приостановить.

Самыми ожесточенными врагами шевченковского замысла оказались украинские паны-либералы, увидевшие, что художник намеревается в своей «Живописной Украине» воспеть не «классовый мир» между помещиками и крестьянами и не националистическую романтику прошлого, а трудовой народ, его повседневный быт и борьбу за свои права, единение Украины с Россией и т. п.

Сопrotивление националистов-либералов этому глубоко демократическому замыслу цинично выразил известный украинский писатель Пантелеймон Кулиш. С нескрываемым озлоблением он писал:

«Милостивый государь Тарас Григорьевич! Мне досадно, что Вы, не списавшись со мною, объявили мое имя в числе сотрудников, тогда как я понятия не имею о Вашем литературном предприятии. Объявление Ваше пахнет так сильно спекуляциею, что я решился было, как только выйdet в свет ваша «Украина», написать рецензию и указать все ошибки, каких без сомнения будет бездна в тексте Вашей скороспелой книжки. Вы, господа, принимаясь с ребяческим легкомыслием за Малороссию, без советов людей, серьезно занятых этим предметом, вредите во мнении публики самому предмету и компрометируете нас».

Наглый тон и открытая враждебность этого письма не случайны. Именно в пору «Трех лет» Шевченко все более остро разоблачает фальшивое, антинародное лицо либералов, и Кулиш, ревниво следивший за деятельностью Шевченко, знакомый со многими его еще не опубликованными произведениями, загорался открытой ненавистью к поэту-революционеру, подлинному крестьянскому демократу.

На издании шести эстампов «Живописная Украина» прекратила свое существование.

Развевалась и мечта об освобождении закрепощенных родных. Шевченко очень тяжело это все переживал.

Но ему в то же время приходилось много работать: шла последняя зима, приближался срок окончания Академии художеств.

VIII. ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО

Курс Шевченко окончил.

Совет Академии художеств 22 марта 1845 года постановил: «Поелику Шевченко известен Совету по своим работам и награжден уже за успехи в живописи серебряной медалью 2-го достоинства, то удостоить его звания некласного художника и представить на утверждение общему собранию Академии».

Общее собрание состоялось, однако, только осенью, поэтому формальный аттестат был выдан Шевченко лишь 10 декабря 1845 года (за № 1267) и переслан ему на Украину товарищем по академии Иваном Гудовским

Аттестат, украшенный пышным гербом — в сиянии и облаках, — с надписью «Императорская С. П. Б Академия художеств» («Императорская» — буквами покрупнее, «Академия художеств» — буквами помельче) подписали:

— Президент герцог *Максимилиан Леихтенбергский*

— Конференц-секретарь *В. Григорович*.

Между тем Тарас Шевченко хлопотал перед соответствующими полицейскими органами о разрешении снова выехать на Украину.

Может быть, он уже в это время лелеял мечту о создании на Украине тайного революционного общества: ведь он знал о существовании в Петербурге таких обществ...

Шевченко 23 марта писал Якову Кухаренко, служившему на Черноморье:

«Я сегодня оставляю Петербург. Буду летом в Таганроге...»

Но разрешение на выезд задержалось. Только в конце марта удалось выехать из Петербурга в Москву и далее на Украину.

В этом году зима была небывало снежная, а весна — поздняя и быстрая. Наводнением на Днепре затопило многие прибрежные села, местечки и даже Киев; а дороги, никогда не отличавшиеся на Руси большими удобствами, так размыло, что сообщение кое-где было совершенно прервано.

Кибитка вместе с проезжими не раз целиком окуналась в грязную ледяную воду; вся захваченная с собою провизия промокла, и ее пришлось выбросить уже в Подольске. «Итак, от Подольска до Тулы

пропутешествовал я на пище святого Антония, а от Тулы до Орла на той же самой пище, потому что город Тула, хоть и славится ружьями и гармониками, но колбасною лавкой не может похвалиться...»

После тяжелого путешествия, в середине апреля, Шевченко приехал, наконец, в село Марьянское (Марьинское), близ Миргорода, где его ждал местный помещик Лукьянович, заказавший известному столичному художнику портреты всех членов семьи.

В Марьянском Шевченко прожил довольно долго. Ему удалось здесь, уже зная нравы провинциальных душевладельцев, полностью отгородиться от «господ», выполняя лишь свои договорные обязательства.

Бывший повар Лукьяновича Арсений Татарчук и его жена Горпына спустя полвека рассказали, что Шевченко поселился отдельно от Лукьяновича, во флигеле; помещик предложил крепостного лакея «для личных услуг», но поэт наотрез отказался от таких «удобств».

— Тарас Григорьевич вставал с рассветом и тотчас принимался за работу Всегда-то он трудился! Когда портреты хозяев не рисовал, так все время читал (а у помещика была огромная библиотека: на семи пароконных подводах привезли! Заняли две комнаты) или же писал: письма, сочинения свои.

Иногда Шевченко бродил по окрестностям Марьянского, подолгу мог сидеть или стоять на одном месте, рассматривая виды, а то срисовывал. Изредка ездил купаться на реку Псел, заезжал к соседу — Замятнину. Да раза два уезжал в Яготин, к Варваре Николаевне Репниной, оставался у нее дней на пять, а потом возвращался к Лукьяновичам.

Почти всех крепостных Марьянского Шевченко знал по имени. Часто по вечерам выходил на деревенскую улицу, и появления его крестьяне — и старики и молодежь — ожидали с нетерпением. Шевченко чрезвычайно оживлялся; рассказы его лились один за другим; он читал и собственные произведения: «Сон», «Кавказ», «Послание к землякам»...

Ведь недаром в имении Лукьяновича после пребывания здесь Шевченко дух протеста среди крепостных заметно возрос. Рассказывают, что однажды кто-то из несправедливо обиженных барином крестьян прямо бросил ему в лицо:

— Вы не барин, а палач!

Дерзкого за это страшно высекли, он долго болел, а затем его отдали в солдаты. Но в конце концов Лукьянович был убит своими крепостными.

Портреты и пейзажи, выполненные Шевченко во время пребывания в Марьянском, не сохранились.

Здесь же написано им несколько крупных поэм: «Еретик» («Иван Гус»), «Слепой» («Невольник»).

Поэма «Еретик» рисует великого чешского народного вождя Яна Гуса, его борьбу с папством и феодалами.

Гус был предательски схвачен врагами и сожжен. Но его казнь только усилила мощное антифеодальное движение народа; после его гибели вспыхнули знаменитые гуситские войны. Революционным крестьянско-плебейским течением — так называемыми «таборитами» — руководил Ян Жижка.

Шевченко говорит об этом:

Гуса осудили
И сожгли
Но божье слово
С ним не умертвили...
...Постойте! —
Вон над головою
Старый Жижка из Табора
Взмахнул булавою.

Шевченко изобразил Гуса как борца за народные права, и в революционно-демократической направленности — основная сила поэмы «Еретик». Начальные ее строфы сделали народной песней:

Кругом неправда и неволя.
Народ замученный молчит,
А на апостольском престоле
Монах раскормленный сидит
Он кровью, как в шинке, торгует,
Твой светлый рай сдает внаем!
О царь небесный! Суд твой всеу,
И всеу царствие твое

В защиту народных прав, против самовластия выступает Шевченко в поэме:

Разбойники, людоеды

Правду побороли,
Осмеяли твою славу,
И силу, и волю!
Земля скованная плачет,
Словно мать по детям!
Кто собьет оковы эти,
Встанет в лихолетье
За евангелие правды,
За народ забитый?
Некому! Неужто ж, боже,
И не ждать защиты?
Нет! Ударит час великий,
Час небесной кары!
Распадутся три короны
Высокой тиары...
Распадутся!..

Судьба поработанного, лишенного социальных и национальных прав чешского народа, конечно, связывалась в воображении поэта с судьбой народа его родной Украины.

Шевченко мечтал о единении славян, о том, чтобы народные массы сообща боролись против монархии и крепостничества, —

Чтобы стали все славяне
Братьями-друзьями,
Сыновьями солнца правды
И еретиками!

В этом и коренилось важнейшее отличие революционно-демократической позиции Шевченко в славянском вопросе от либерально-националистической позиции Костомарова, Кулиша, — те противопоставляли интересы Украины интересам России и больше всего на свете боялись освободительного движения самих народных масс.

В Киев Шевченко приехал в конце мая 1845 года; он хотел обосноваться здесь на какой-нибудь постоянной службе.

Ему предложили место в недавно организованной Археографической

комиссии, или так называемой «Временной комиссии для разбора древних актов», это была должность «сотрудника для снимков с предметных памятников» с ежемесячным окладом в двенадцать рублей пятьдесят копеек серебром.

По поручению Археографической комиссии Шевченко ездил по Украине. Он собирал археологические и этнографические сведения, делал зарисовки старинных архитектурных памятников и предметов быта, записывал народные песни и предания.

Осенью 1846 года поэт отправился в далекую археологическую экскурсию на Подолию и Волынь. Побывал в Каменец-Подольске, Новоград-Волынске, Кременце, Дубно, Почаеве, Остроге, приблизившись к самой границе России.

Вдали видел синюющие на горизонте отроги Карпатских гор. Там под иггом австрийской монархии, в составе «королевства Галиции и Лодомерии», томились родные братья — украинцы; в старинном украинском городе Львове, в украинских селах над водами Днестра и Сана запрещалась национальная культура, национальный язык украинцев.

Знал ли в это время Шевченко, что его «Катерину» и «Гайдамаков» читают с восторгом западноукраинские литераторы — Маркиан Шашкевич, Иван Вагилевич, Яков Головацкий?

Спустя несколько лет, в дни революции 1848 года, огненное, страстное слово Кобзаря стало острым оружием в руках борцов за социальные и национальные права народа Галичины. Микола Устьянович, выступая на первом «соборе» украинских ученых во Львове в октябре 1848 года, провозгласил:

— Коль хотим вооружиться силою, давайте прислушаемся к громогласному Шевченко!

Мы теперь знаем, что Шевченко и сам пересылал за границу некоторые свои произведения: он передал рукопись поэмы «Еретик» чешскому ученому-слависту Павлу-Иосифу Шафарику, снабдив ее следующим посвящением:

Слава тебе, любомудру,
Чеху-славянину,
Что не дал ты уничтожить
Немецкой пучине Нашу правду!
Будь же славен ты, Шафарик,
Вовеки и веки,
Что в одно собрал ты море

Славянские реки!

Когда знакомый Шевченко Николай Савич уезжал в начале 1847 года в Париж, он вез Адаму Мицкевичу рукопись поэмы «Кавказ», которую и передал по назначению...

Во время поездок по Украине Шевченко вслух читал и охотно давал переписывать свои революционные стихи из цикла «Три года».

Молодежь, студенты особенно горячо принимали их. Юрий Андрузский, студент Киевского университета, и сам посвятил Тарасу Шевченко стихотворение, в котором выражал поэту свое глубокое уважение и любовь.

И Савич и Андрузский в это время уже состояли членами тайного Общества Кирилла и Мефодия.

Костомаров (в то время учитель 1-й Киевской гимназии) и Кулиш (смотритель уездного училища в Киеве) познакомились в доме помощника попечителя Киевского учебного округа Юзефовича.

В конце лета 1845 года они задумали образовать культурно-политическое общество, «которого задача была бы, — рассказывает Костомаров, — распространение идей славянской взаимности как путями воспитания, так и путями литературными... Мною начертан был устав такого общества... Заранее заявлялось, что такое общество ни в коем случае не должно покушаться на что-нибудь, имеющее хотя тень возмущения против существующего общественного порядка и установленных предрержащих властей... Обществу предположено было дать название Общества святых Кирилла и Мефодия, славянских апостолов».

Либеральные взгляды Костомарова и Кулиша разделял и третий из организаторов Кирилло-Мефодиевского общества — студент Киевского университета, а затем учитель Полтавского кадетского корпуса Василий Белозерский, брат будущей жены Кулиша.

Костомаров сочинил пространный документ, озаглавленный им «Книги бытия украинского народа». Общие пожелания «братства народов» и уничтожения крепостничества (чтобы не было «ни царя, ни царевича, ни царевны, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крепостного, ни холопа — ни в Московщине, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни у хорватов, ни у сербов, ни у болгар») перемежаются в «Книгах бытия» с типично либеральными идеями, с буржуазно-националистическим утверждением

некоего исключительного — свободолюбивого и демократического — характера украинского народа, исключительной руководящей роли украинцев в освобождении всех славян.

«Тогда, — читаем в «Книгах бытия», — скажут все языки, показывая рукою на то место, где на карте будет изображена Украина: «Вот камень, который отвергли строители, соделался главою угла».

Что же касается практической деятельности, то Кирилло-Мефодиевское общество не успело выйти из стадии подготовительной; участники общества собирались для бесед и споров, но так и не подошли к широкой пропаганде своих идей.

С Костомаровым Шевченко познакомился весной 1846 года.

Приезжая из своих археологических экскурсий в Киев, Шевченко жил в гостинице (или, как тогда говорили, «в трактире с нумерами») на углу Крещатика и Бессарабской площади. Через несколько домов, на другой стороне Крещатика, в доме купчихи Сухоставской поселился с матерью Костомаров.

Шевченко начал посещать их, особенно привязавшись к старушке Татьяне Петровне Костомаровой.

Татьяна Петровна, женщина своеобразного и энергического склада, бывшая крепостная отца Костомарова, искренне полюбила Шевченко, относилась к нему, как к родному сыну. И Шевченко подолгу засиживался в небольшом, уставленном ульями, усаженном вишнями и заросшем цветами садике Костомаровых, беседуя с Татьяной Петровной под мирное гуденье пчел...

Вскоре Костомаров посвятил его в существование Кирилло-Мефодиевского общества.

Как рассказывает Костомаров, поэт «тотчас же изъявил готовность пристать к нему; но отнесся к его идеям с большим задором и крайнею нетерпимостью, что послужило поводом ко многим спорам между мною и Шевченко».

На собраниях «братчиков» он читал свои стихи из тетради «Три года». Даже Костомаров, совершенно не разделявший революционных убеждений, выраженных в этих стихах, пишет:

«Муза Шевченко раздирала завесу народной жизни. И страшно, и сладко, и больно, и упоительно было заглянуть туда!!! Сильное зрение, крепкие нервы нужно иметь, чтоб не ослепнуть или не упасть без чувств от внезапного света истины... Этот светоч горит нетленным огнем — огнем Прометея...»

Шевченко был прирожденным пропагандистом; он умел говорить

просто, горячо и убедительно. Под его влиянием некоторые из участников Кирилло-Мефодиевского тайного общества стали склоняться к революционным и республиканским идеям.

Прежде всего на стороне Шевченко оказался двадцатичетырехлетний Николай Тулак, недавно окончивший Дерптский (Юрьевский) университет со званием кандидата прав и служивший в канцелярии генерал-губернатора Бибикова.

Это был энергичный, прямой, несколько экспансивный человек, отличавшийся высокой образованностью и необычайно широким кругом интересов; кроме юридических наук, он глубоко и успешно занимался историей и филологией, физикой и математикой, космографией и естествознанием, географией и славяноведением; он прекрасно владел древними и новыми языками, вел переписку со многими учеными, в том числе, например, с Вацлавом Ганкой, которому Тулак писал:

«Преимущественное внимание обращал я на отношения низших сословий как в России, так и у прочих славян, — именно на рабов, невольников, холопов, крестьян и проч., — как на предмет, по важности и современности своей, предпочтительно перед другими заслуживающий внимательного изучения...»

Вместе с Гулаком жил его двоюродный брат — Александр Навроцкий, студент последнего курса философского отделения Киевского университета. Они во многом по своему характеру походили друг на друга: Навроцкий был горяч и решителен, но в то же время очень вдумчив и при необходимости сдержан и хладнокровен: он отличался незаурядным поэтическим дарованием. Как и Гулака, Навроцкого привлекали революционные идеи Шевченко.

Республиканские настроения разделяли и мелкий помещик Николай Савич (земляк Гулака и Навроцкого, останавливавшийся у них на квартире во время приездов в Киев из Полтавской губернии) и престарелый учитель химии Зенович, мечтавший о соединении славян в единой «Всеславянской республике».

Сколько человек входило в Общество Кирилла и Мефодия?

На этот вопрос историки до сих пор не могут дать ответа. Известные нам имена примерно полутора десятка кирилломефодиевцев, очевидно, не исчерпывают всего состава «братства». Есть основания предполагать, что у Кирилло-Мефодиевского общества были представители в Полтаве, Харькове и в других городах.

Спустя много лет кирилломефодиевец Пильчиков говорил биографу Шевченко Александру Конисскому, что «число членов общества в январе

1847 года доходило до ста». Проверить это сообщение нет теперь возможности: никаких списков члены тайной организации не вели.

Была у них (по предложению Белозерского) договоренность носить на руке золотое кольцо с буквами «К. М.» — «Кирилл и Мефодий», но кольца эти мало кто имел; не носил такого кольца и Шевченко. У Костомарова была еще печать общества с надписью: «Иоанна гл. VIII, стих 32, Н. К.» В указанном тексте евангелия Иоанна читаем: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Ясно, что Шевченко не мог согласиться с подобными евангельскими утверждениями: он уже твердо знал, что свобода дается лишь борьбой, упорной и непримиримой:

По апостольским заветам
Любите вы брата,
Суесловы, лицемеры!..
Возлюбили вы не душу —
Шкуре братней рады.
И дерете по закону...
За кого же был ты распят,
Сын единый, божий,
В искупленье нам? За слово
Истины!.. Иль, может,
Чтоб глумленье не кончалось?
Так оно и случилось!..

Зимой в Киев съехались многие члены Кирилло-Мефодиевского общества. Они собирались у Гулака, жившего в доме протоиерея Завадского, на Кадетской улице (ныне улица Ленина).

В конце ноября возвратился с Волыни в Киев и Шевченко. Он снимал квартиру в переулке, носившем странное название — Козье болото, хотя переулок и находился в самом центре города (ныне Шевченковский переулок, возле площади Калинина).

Столица Украины имела в те времена совершенно отличный от нынешнего вид.

Так называемый Старокиевский район, или Старый город, прилегающий к Золотым воротам и Софийскому собору, был весь застроен сельского типа мазанками; обыкновенно их окружали небольшие сады и разделяли огромные пустыри.

На Крещатике еще не было ни магазинов, ни каменных домов: вдоль улицы (летом — пыльной, весной и осенью — непроходимо грязной, так как на Крещатик стекали все дождевые и снеговые воды с обеих нагорных частей Киева) стояли деревянные постройки в один, редко в два этажа.

Город почти не освещался, и в осеннее или зимнее время на улицах редко можно было встретить запоздалого прохожего.

Но в квартире Гулака в темные декабрьские вечера 1846 года былолюдно, шумно и допоздна засиживались гости.

Это привлекло внимание соседа Гулака — студента Алексея Петрова, также снимавшего комнату в доме протоиерея Завадского. По вечерам он слышал у себя за стеной многолюдные собрания, а нескромно приложив ухо к стене, установил, что там идут «рассуждения о предметах, касающихся до государства, проникнутые совершенно идеею свободы».

Систематически подслушивая, Петров убедился, что «Савич ревностно доказывал необходимость уничтожить в России монархический образ правления» с целью устроить республику и предлагал для этого «произвести переворот, восстание»; что Гулак призывал «доказать народу, что все его бедствия происходят от подчинения верховной власти», в чем его поддерживал и Навроцкий; наконец, что в собраниях часто читались «стихотворения Шевченко, имеющие своим содержанием вообще мысли явно противозаконные»...

Подленький воспитанник подлого лакейского режима, Петров решил втереться в доверие к собиравшейся у соседей молодежи. Он перед Гулаком и Навроцким разыграл из себя ярого сторонника самых радикальных воззрений.

— Люди, верно бы, находились в лучшем положении, если бы были под правлением республиканским, — распинался провокатор, стараясь выпытать у Гулака его взгляды. — Да к тому же и людей, думающих подобным образом, должно быть очень много, но они разрознены, не имеют точки опоры, чтобы объединить свои намерения...

Чистосердечный и доверчивый Гулак поведал Петрову, что уже существует обширное тайное общество, и познакомил его с некоторыми кирилломефодиевцами.

Однако Петров почему-то медлил с доносом. Нужно полагать, что все-таки участники тайной организации не вполне ему доверяли, и доносчику нелегко было разузнать все необходимые для составления «дела» подробности. Он никак не мог получить сведения о числе членов и их именах; не на все заседания общества его, видимо, пускали.

Гулак даже пытался сбить с толку Петрова: он ему довольно охотно

дал сочиненные Костомаровым и Белозерским «Устав», «Книги бытия», продемонстрировал пресловутые кольца «во имя святых Кирилла и Мефодия», но, например, революционных стихотворений Шевченко не дал (и с Шевченко Петров ни разу даже не встречался).

Между тем в начале января 1847 года члены общества, собиравшиеся, вполне возможно, по заранее выработанному плану, вновь разъехались из Киева: Савич отбыл в Париж, Белозерский — к себе в Борзну, туда же, на свадьбу Кулиша с сестрой Белозерского, поехал и Шевченко; позднее поэт отправился к Лизогубу на Черниговщину, а Кулиш и Белозерский — в Варшаву; Гулак уехал на жительство в Петербург, Навроцкий, окончивший университет — в Полтаву.

Никто из них не подозревал, что над ними уже занесла свою медвежью лапу николаевская полиция, — что правитель канцелярии Бибикова и председатель Археографической комиссии Писарев, исправлявший, кроме того, должность председателя Киевской секретной комиссии для открытия тайных обществ, скоро получит возможность вновь проявить свое усердие и проницательность...

Шла ранняя в этом году весна. Шевченко в Чернигове получил известие о назначении его «учителем рисования» в Киевском университете — «в виде опыта, на один год, для удостоверения в его способностях», как писал в своем постановлении министр просвещения граф Сергей Уваров.

Это был конец февраля 1847 года»

**Часть вторая
В ИЗГНАНИИ**



В ИЗГНАНИИ

IX. ПОД МЕДВЕЖЬЕЙ ЛАПОЙ

Сатирическая поэма Шевченко «Сон» изображает «царский выход»:

Дверь открылась; будто вылез
Медведь из берлоги..
Поглядел он да как крикнет
На самых пузатых.
Все пузатые мгновенно
В землю провалились!
Царь как выпучит глазища, —
Все, что сохранилось,
Затряслось. А он как гаркнет
На тех, кто моложе, —
И те в землю. Он на мелочь —
Мелочь в землю тоже!
Он — на челядь, и вся челядь,
Как один, пропала;
На солдат, и все солдаты —
Аж даль застонала —
Ушли в землю!. Вот так чудо
Увидел я, люди!
Я гляжу, что дальше будет,
Что же делать будет
Мой медведь? Гляжу — стоит он,
Печальный, понурый.
Эх, бедняжка!.. Куда делась
Медвежья натура?
Тихий стал, ну как котенок!
Я расхохотался

Такова была вся система царского, чиновничьего управления, под медвежьей лапой Николая Палкина гнулись чиновники, министры, губернаторы и жандармы; но он-то сам не смог бы без всей этой системы владычествовать!

Образ Николая I — «дрессированного медведя» — позднее вновь возник в публицистике Герцена (возможно даже, что не без прямой связи с сатирой Шевченко, так как «Сон», «Кавказ» и другие произведения «Трех лет» были широко распространены в сотнях списков, а впоследствии и изданы за границей)

Типичным вершителем медвежьей воли Николая I был Бибиков — «Капрал Гаврилович Безрукий», как называл его Шевченко, — киевский военный, подольский и волынский генерал-губернатор.

В его власти находились жизнь и смерть миллионов людей; ему подчинялись военные и гражданские власти, и даже назначение университетского учителя рисования требовало утверждения всесильного Бибикова.

Немалую роль в судьбах Правобережья играл и Юзефович, с 1842 по 1858 год занимавший официально скромную должность помощника попечителя Киевского учебного округа, а на самом деле державший в своей власти не только школьное дело, но и прессу, цензуру края.

Юзефович, родственник Тарновских, рисовался своей «дружбой» с Кулишом, Костомаровым, Максимовичем и мечтал привлечь в свой «культурный салон» прославленного «малороссийского Кобзаря» — Шевченко. Но, несмотря на все старания услужливого Кулиша, Шевченко не желал приятельствовать с бибиковским прихлебателем.

Зато подружился с крепостным человеком Юзефовича — Василием. В свои вынужденные посещения званых приемов помощника попечителя округа поэт нередко, вместо того чтобы идти в гостиную, прямо заходил в каморку Василия и просиживал за беседой с ним весь вечер, крайне шокируя хозяев.

Это было в понедельник, 3 марта 1847 года. Алексей Петров, сидя в роскошном служебном кабинете попечителя округа генерал-майора Траскина, куда привел его Юзефович, четким писарским почерком писал:

«Занимаясь довольно поздно вечером, я часто слышал у Гулака собрание людей... Я услышал, как лица собравшегося у Гулака общества подавали свои мнения касательно лучшего, республиканского устройства для России... Устав общества я имел честь представить Вашему высокопревосходительству. Имея слишком ограниченные средства к поддержанию своего существования, я необходимо должен был искать случая... Все мною открытое я решился представить Вашему превосходительству...»

Руки у Петрова немного все-таки дрожали, но не от стыда и не от позднего раскаяния, а от жадности и от страха, что его рвение не будет в

полную меру оценено и вознаграждено «их высокими превосходительствами»...

В это время Бибиков находился в Петербурге. Туда же было послано сообщение о доносе Петрова. По тогдашним средствам связи сравнительно быстро — 17 марта — это сообщение было уже в руках у Бибикова, и им в тот же день передано в Третье отделение; затем доложено его начальником, графом Орловым, великому князю, и от него получено «высочайшее соизволение» на арест заподозренных лиц; а уже на следующий день, 18 марта, жандармы нагрянули в квартиру недавно поселившегося в Петербурге и ничего не подозревавшего Николая Гулака.

Тотчас по заключении в тюремном каземате Третьего отделения, в печально прославившемся здании у Цепного моста, Гулака начали мучить ежедневными допросами. И Бибиков, и Писарев, и Дубельт, наконец, сам «шеф корпуса жандармов» граф Орлов пытались выведать состав и цели тайного общества. Однако же Гулак на все вопросы упорно отвечал только «не знаю» и «мне неизвестно».

22 марта граф Орлов разослал полицейским начальникам Левобережной и Правобережной Украины секретное предписание: арестовать и «со всеми бумагами и вещами доставить в Санкт-Петербург, в III отделение, в сопровождении благонадежных и верных чиновников и под самым строжайшим надзором» художника Петербургской академии художеств Тараса Шевченко, дворянина Василия Белозерского, преподавателя истории в Киевском университете Николая Костомарова, студентов Ивана Посяду, Афанасия Марковича, Юрия Андрузского... Кроме того, был арестован Навроцкий, из Варшавы доставили Кулиша, а при возвращении из-за границы, позднее, задержали Савича..

Костомаров, находившийся в Киеве, собирался тотчас после пасхи жениться на своей ученице — шестнадцатилетней пианистке, и уже назначил день свадьбы: воскресенье 30 марта. Поздно вечером 28 марта к нему на квартиру неожиданно, на правах приятеля, явился помощник попечителя — Юзефович, вбежал прямо в спальню, где Костомаров уже укладывался спать, и сказал:

— На вас донос! Я пришел вас предупредить.

— Какой донос? — вскричал насмерть перепуганный, от природы необыкновенно мнительный Костомаров.

— Я пришел вас спасти, — продолжал Юзефович. — Все, что у вас есть способное возбудить подозрение, давайте скорее мне сюда!

Костомаров, полураздетый, стал лихорадочно метаться по квартире, потеряв голову от страха и хватая различные бумаги, которые по тем

крутым временам могли подойти под разряд «возбуждающих подозрение».

Он всегда смертельно боялся всякой «нелегальщины» и избегал держать ее у себя. Не было у него дома и никаких бумаг по Кирилло-Мефодиевскому обществу. Поэтому он не сразу вспомнил, что в кармане его пальто лежит рукопись «Книг бытия украинского народа», приготовленная им для передачи на хранение Гулаку, но почему-то оставшаяся при отъезде последнего в Петербург.

Костомаров бросился к своему пальто, достал забытую рукопись и стал искать огня, чтобы поскорее сжечь ее.

Но Юзефович поспешно выхватил тетрадь из рук окончательно растерявшегося Костомарова, воскликнув:

— Будьте покойны! *Soyez tranquille!* Ничего не бойтесь! — и с этими словами выскользнул из комнаты.

Костомаров не успел еще прийти в себя, как Юзефович возвратился, на этот раз в сопровождении киевского гражданского губернатора Фундукля, попечителя генерал-майора Траскина, жандармского полковника Белоусова и киевского полицмейстера. Гости потребовали ключи от всех шкафов и ящиков, отправились в заваленный книгами и рукописями кабинет и принялись упаковывать бумаги.

При этом жизнерадостный и добродушный жуир Траскин, более всего на свете боявшийся иметь дело с большим количеством печатной и писаной бумаги, которую случается надобность читать, всплеснул руками и с самым искренним огорчением вскричал (разумеется, по-французски):

— Черт возьми! Нужно будет десять лет, чтобы разобрать все эти брульоны!

На столе случился номер старой газеты, в которой был напечатан какой-то материал о декабристах. Белоусов не преминул отметить:

— Вот! Сразу видно, чем занимается...

На первом же допросе Белоусов и Траскин спросили Костомарова о Гулаке:

— В каких вы с ним отношениях? Знакома ли вам такая рукопись... — и Костомарову были прочитаны хорошо знакомые ему отрывки из «Книг бытия» и подробно передано содержание всей рукописи. — Что это?

— Не знаю, — отвечал Костомаров.

— Можете ли вы дать слово, что не знаете этой рукописи?

— Могу!

— Честное слово!

— Да, честное слово!

После этого заверения Белоусов показал Костомарову тетрадь, взятую

у него Юзефовичем. Костомаров побледнел и наскоро стал выдумывать, что это перевод «Книг пилигримских» Мицкевича; эта версия почему-то показалась жандармам убедительной и была затем закреплена во всех следственных документах.

Долго и хлопотливо разыскивался Шевченко. 30 марта киевский гражданский губернатор сообщил в Петербург, что «художника Шевченко в Киеве нет и неизвестно, где он теперь находится и когда приедет сюда».

4 апреля полтавский гражданский губернатор докладывал о том, что он «сделал вчерашнего числа сношение» с черниговским гражданским губернатором «об арестовании и обыске художника Санкт-Петербургской академии художеств Тараса Григорьевича Шевченко», но пока безрезультатно.

Шевченко между тем жил в Седневе, недалеко от Чернигова, в поэтическом уголке над рекой Снов, в доме гостеприимного и культурного отставного чиновника Андрея Ивановича Лизогуба, о котором хорошо его знавший Лев Жемчужников отзывается так:

— Андрей Иванович Лизогуб, чрезвычайно добрый и простой человек, был хороший музыкант, любил живопись, писал портреты сам... Лизогубы любили Шевченко как человека и поэта и высоко ценили его. Шевченко имел у Лизогубов мастерскую, стены которой были исписаны его заметками и стихами.

Мастерская Шевченко помещалась в мезонине, а из окон ее открывался вид на огромный сад с вековыми липами, на реку, на дальние заливные луга.

Шевченко в это время как-то особенно хорошо работалось. В Седневе он много рисовал и сочинял. Из сохранившихся крупных вещей здесь была написана поэма «Ведьма» (в первой редакции — «Осина»). Над этой поэмой, изображающей трагедию бесправной женщины и ее поруганные чувства, Шевченко продолжал работать еще спустя много лет.

В четырех верстах от Седнева, на крутом берегу реки Снов, было расположено село Бегач, имение князя Кейкуатова, изображенного позже в повести «Княгиня» под именем князя Мордатова.

Сюда Шевченко пригласили писать маслом портреты хозяев, и он приезжал в Бегач из Седнева на день-два для работы.

По воспоминаниям жившего в это время у Кейкуатовых землемера Демича, Шевченко в Бегаче за короткий срок успел приобрести расположение всех местных крестьян и дворовых. Демич рассказывает:

— Одет Шевченко был скромно, и все его скудные пожитки помещались в маленьком ветхом чемоданчике. Но зато этот удивительный

человек обладал другими богатствами — умом и сильною любовью к трудящемуся народу. Каждый вечер после дневных работ вокруг поэта собирались все служащие княжеской «экономии». Шевченко что-нибудь читал или рассказывал, да при этом так интересно, что все слушали с большим вниманием. Приветливый и словоохотливый с простыми тружениками, Тарас Григорьевич заметно не любил оставаться долго среди «господ» и избегал княжеских хором, хотя его туда часто приглашали, тем более что к князю приезжали соседние помещики с желанием посмотреть, как на диковинку, на знаменитого в то время Кобзаря.

В марте — апреле 1847 года Шевченко побывал и в Москве, где у него было столько приятелей и просто знакомых. Бродил по извилистым московским улицам и переулкам, был в театре.

— Неделю, а то и больше, пробыл я тогда в Москве, — вспоминал впоследствии Шевченко

Затем через Чернигов направился в Киев.

С левого берега Днепра в Киев переезжали в те времена самым примитивным, ручным паромом: громадный деревянный плот двигался вдоль каната, протянутого с одного берега на другой. Переправа была устроена не прямо напротив города (где расположен большой остров), а версты на три «иже по течению Днепра — у поросшей дубовым лесом горы, на которой расположен Выдубецкий монастырь».

Ранним весенним утром в субботу, 5 апреля, добравшись от Броваров по Черниговской дороге к Днепру, плыл Шевченко на пароме через широко разлившийся своими темно-синими водами Днепр.

Как прозрачен утренний воздух на Украине, как ослепительно ярко сверкает солнце на днепровской вольной зыби, на белых песчаных отмелях.

Впереди, в кружеве светлой молодой зелени, блестят золотые купола Выдубеча, направо высится стройная пятидесятисаженная колокольня Печерской лавры, а дальше раскинулся Киев, славный, чудесный Киев.

Таким в это утро и видел его Шевченко, таким и остался он на долгие годы в памяти поэта — словно висящим в синеве весеннего утреннего неба:

Я из Броварского леса
Вышел
И утром погожим
Вижу Киев наш великий
В вышине сияют
Храмы

Когда «аром приблизился к правому берегу и уже с Выдубецкой горы доносились переливы соловьиных трелей, Шевченко заметил на причале жандармов.

Губернатор Фундуклей для верности распорядился подстеречь поэта прямо на переправе.

Шевченко тут же обыскали, забрали чемодан, бумаги, усадили в полицейскую пароконную бричку и повезли во дворец губернатора.

А на следующий день, 6 апреля, в воскресенье, Шевченко «под строгим караулом, при одном полицейском офицере и одном рядовом жандарме», как сообщалось в официальном донесении, был отправлен через Чернигов, Витебск, Великие Луки в Петербург.

Об отправке доносил начальнику 4-го округа корпуса жандармов начальник Киевского губернского жандармского управления полковник Белоусов:

— При художнике Шевченко найдена тетрадь с возмутительными стихами, самим им написанными. В стихах под названием «Сон» дерзко описывается высочайшая его императорского величества особа и Государыня-императрица... Стихотворения его на малороссийском языке доставили ему большую известность.

В Петербург Шевченко прибыл после одиннадцатидневного пути 17 апреля, в три часа дня, прямо к Цепному мосту, в Третье отделение, где уже находились другие «братчики».

Один только Гулак еще 1 апреля, после новой последней неудачной попытки графа Орлова выведать у него «сообщников», — был переведен в страшный Алексеевский рavelин Петропавловской крепости, ибо «и при новом допросе показал прежнее, ничем не преборимое упорство».

Не все участники Кирилло-Мефодиевской организации были так же стойки и мужественны, как Гулак. Белозерский, Костомаров, Андрузский, Кулиш давали жандармам пространные показания, пытались выгородить себя, сваливая всю вину на других.

Особенно постыдно держал себя студент Андрузский; человек нервнoбольной, он на допросах выбалтывал все, что знал. Показания Андрузского сильно повредили «братчикам».

— Главная цель, соединявшая всех, — говорил Андрузский на допросе, — была: соединение славян воедино, принимая за образец Соединенные Штаты или нынешнюю конституционную Францию... Меры вытекают из положений — следовательно, должен был повториться 1825

год.

Характеризуя отдельных участников общества, Андрузский показывал следующее:

— Костомарова ложно понятые идеи совратили с пути истины и повели к гибели. Он часто говорил, а действовал слабо. Приехал Тарас Григорьевич Шевченко. Его поэтические слова гремели по всей Малороссии; надеялись иметь в нем своего Шиллера. Свои «Кавказ», «Сон», «Послание к землякам» он привез из Петербурга. Костомаров приглашал его к себе на вечера, и тут-то Шевченко читал свои пасквили. Я морщился, Костомаров зевал, но Шевченко все превозносили до небес. Шевченко писал пошлые стихи и побуждал к большей деятельности общество. Он называл подлецами всех монархистов.

— Гулак в Дерпте напился своих мыслей. Я бывал у него редко.

— Пальчиков только и бредил республикой; жил у Гулака.

— Навроцкий — человек горячий, чуть ли не наизусть знает сочинения Шевченко.

— Посяда — казенный крестьянин; он только и думал, что о крестьянах. Видя тягостное положение крестьян, сам крестьянин, он задумал во что бы то ни стало облегчить этот быт. Дворян он ненавидел, почитая виновниками всего худого; ненавидел монархизм; негодовал на духовенство. Шевченко почитал великим поэтом.

— Кулиш — иного знать не хотел, кроме Малороссии. Белозерский его в полном смысле ученик. Маркович обоготворял гетманщину и славянизм; в последнее время он мало что и делал.

Много разглагольствовал на следствии и перепуганный Костомаров, наговаривая на всех, моля о пощаде.

В день второго допроса Костомарова привезли в Петербург Шевченко. Его допрашивали единственный раз — в понедельник, 21 апреля 1847 года.

Допрашивал Шевченко «сам» Дубельт, в присутствии чиновников Третьего отделения Попова и Нордстрема.

Дубельт с особенной ненавистью относился к передовым литераторам; известно, как он сокрушался, что не успел «сгноить в крепости» Белинского. «Черты его, — вспоминает Герцен (его студенческое «дело» также вел Дубельт), — имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость диких зверей, вместе уклончивость и заносчивость».



В. Н. Репнина. Портрет работы неизвестного художника.

Об этом допросе спустя десять лет Шевченко вспоминал:

— Дубельт со своими помощниками, Поповым и Нордстремом, в своем уютном кабинете, перед пылающим камином, меня тщетно направлял на путь истинный, грозил пыткой и в заключение плюнул и назвал меня извергом рода человеческого.

Шевченко после обычных вопросов — «ваше происхождение,

воспитание, занятия» и пр. — были предложены следующие «вопросные пункты»:

«3. Кем сочинены устав и правила Славянского общества, кто их распространял?

4. Не было ли у вас тетради с возмутительными воззваниями и кто распространял экземпляры оной?

5. Кем изобретены символические знаки общества, кто именно имел их?

6. В чем состояли подробности предположений славянистов?

7. Какие замыслы были против настоящего образа правления в России и какое правление предполагалось ввести?

8. Каким образом славянисты предполагали распространять образование между крестьянами и тем готовить народ к восстанию?

9. Кто и в каком виде хотел учреждать школы для простого народа, сочинять книги и какого содержания, кто собирал деньги для этих целей, и не предназначались ли эти деньги для каких-либо других преступных целей?

10. Не было ли предположений действовать оружием?

11. Кто из приверженцев славянства наиболее действовал, склонял и возбуждал к преступным замыслам, и не было ли одного, который всем руководил?

12. Правда ли, что Костомаров был представителем умеренной славянской партии, а Гулак его последователем, и что вы с Кулишом были представителями неумеренной малороссийской партии Славянского общества?»

На все эти вопросы Шевченко отвечал одной строкой: «3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-й мне совершенно неизвестны».

Только на один вопрос, касавшийся попавших в руки жандармерии революционных своих стихотворений, Шевченко отвечал более пространно.

«Будучи еще в Петербурге, — писал он, — я слышал везде дерзости и порицания на государя и правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более и хуже между молодыми и между степенными людьми; я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и экономами-шляхтичами, и все это делалось и делается именем государя и правительства».

И, находясь в заключении, крепко сжатый жесткой лапой царя-медведя, Шевченко продолжал жить помыслами и идеалами

революционной демократии.

В каземате у Цепного моста им было написано четырнадцать стихотворений, которые он так и озаглавил — «В каземате», с подзаголовком «Моим союзникам посвящаю».

Развивая идеи своего «Завещания», Шевченко повторяет здесь, что высшее назначение поэта — самоотверженное служение идеям народного блага и свободы:

Мне, право, все равно, я буду
На Украине жить иль нет.
Забудут или не забудут
Меня в далекой стороне —
До этого нет дела мне.
В неволе вырос меж чужими,
И не оплаканный своими,
В неволе, плача, я умру
И все в могилу заберу.
Не вспомнят обо мне в кручине
На нашей славной Украине,
На нашей — не своей земле.
Родной отец не скажет сыну
О том, как я в неволе жил:
«Молися, сын, за Украину
Когда-то он замучен был»
Мне все равно, молиться будет
Тот сын иль нет... и лишь одно,
Одно лишь — мне не все равно:
Что Украину злые люди,
Лукавым убаюкав сном,
Во сне ограбят и разбудят.
Ох, это мне не все равно!

На Шевченко не действовали ни запугивания Дубельта, ни вкрадчивые советы Попова, ходившего из камеры в камеру и ласково «убеждавшего» заключенных давать раболепные и «откровенные» показания.

Костомаров, прямо под диктовку Попова написавший свои показания, — «в отмену прежних по тому случаю, что прежние составлял он под влиянием расстройств ума», — искренне изумлялся стойкости и твердости

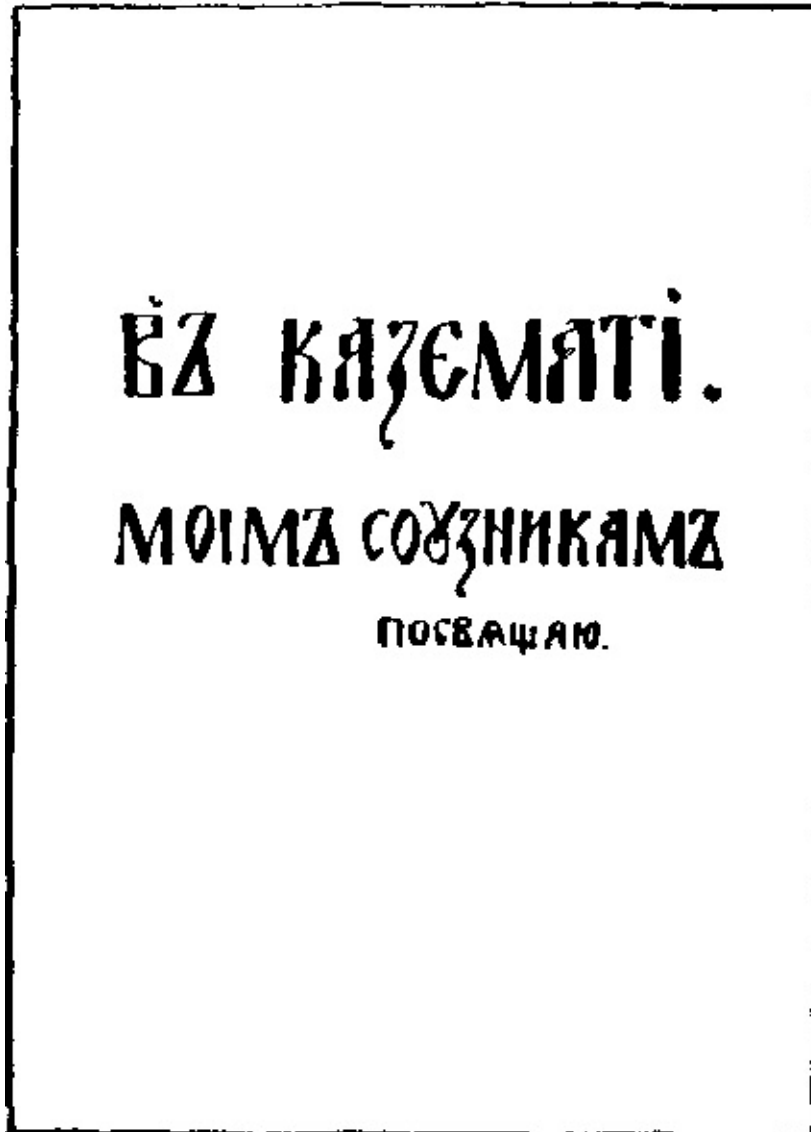
Шевченко.

Когда 15 мая всех привлеченных к делу одновременно вызвали для очных ставок, они впервые сошлись все вместе, ожидая перед дверью. Костомаров вспоминает эту минуту:

— Всех нас привели в зал. Был там и Шевченко, беззаботно веселый и шуточный, как ни в чем не бывало. Он комически рассказывал, как во время возвращения его в Киев арестовал его на пароме косой квартальный; замечал при этом, что недаром он издавна не терпел косых. А когда какой-то жандармский офицер, знавший его лично во время его прежнего житья в Петербурге, сказал ему: «Вот, Тарас Григорьевич, как вы отсюда вырветесь, то-то запоет ваша муза», — Шевченко иронически отвечал: «Да кой же черт меня сюда занес, если не эта дьявольская муза!»

Перед тем как Шевченко был доставлен в Петербург, находившийся все еще в столице Бибииков получил из Киева новое сообщение: на стене одного дома была обнаружена рукописная антиправительственная прокламация, озаглавленная «К верным сынам Украины».

Прокламация была расклеена за два дня до ареста Шевченко — 3 апреля. К этому времени арест всех известных полиции по доносу Петрова членов Кирилло-Мефодиевского общества был уже произведен, следовательно, жандармы оказались перед фактом, что какие-то активные противоправительственные силы еще продолжали оставаться на свободе.



Титульный лист работы Т Г Шевченко к циклу «В каземате».

13 апреля Бибиков доложил начальнику Третьего отделения о «возмутительной прокламации», а граф Орлов на следующий день сделал доклад царю. Николай написал на докладе Орлова:

«Долго этой работе на Украине мы не верили; теперь ей сомневаться нельзя, и слава богу, что так раскрылось. Бибикову дай знать, что пора на место и надо везде строго смотреть».

Царскую карандашную резолюцию, чтобы не стерлась, граф Орлов, по обычаю, покрыл прозрачным лаком...

Третье отделение, с одной стороны, было очень взволновано и готово обрушиться самыми жестокими репрессиями на «возмутителей спокойствия», а с другой, не имея в руках настоящих и полных сведений о

повсеместно разраставшейся подпольной антиправительственной деятельности, хотело несколько смягчить впечатление. Это отразилось и в докладе Орлова царю после окончания следствия по кирилло-мефодиевскому делу:

— Украинно-славянское общество святых Кирилла и Мефодия было не более как ученый бред трех молодых людей. Зло еще не созрело; часть уничтожилось само собою, а остальное предотвращено распоряжениями правительства.

Так думать было утешительнее, чтобы не слишком пугать царя...

Тот же страх отразился и в нечеловечески жестоких приговорах над теми, кого правительство имело основание опасаться и в дальнейшем. В кирилло-мефодиевском деле это проявилось в решении судьбы Шевченко и Гулака.

Кирилломефодиевцы были покараны совсем не одинаково; если кандидата 10-го класса Белозерского царь распорядился направить «за откровенность — прямо на службу в Олонецкую губернию под надзор», то «коллежского секретаря Гулака, как главного руководителя Украинно-славянского общества, вначале и долго запиравшегося в своих преступных замыслах, а еще более как человека, способного на всякое вредное для правительства предприятие», Орлов предложил заключить в Шлиссельбургскую крепость на три года и потом отправить его в отдаленную губернию под строжайший надзор.

Но Николаю этого показалось мало; он всегда любил решения «е вполне ясные, оставляющие место для любого произвола; к приговору о трехлетнем заключении Гулака в крепости монархом было прибавлено: «Буде исправится в образе мыслей». Такой припиской срок заключения в крепости делался неопределенным и фактически бесконечным.

Участие Шевченко в тайном обществе Кирилла и Мефодия жандармам не удалось доказать, и он был отнесен к числу лиц, «виноватых по своим собственным, отдельным действиям».

Шевченко, как указывалось в докладе, «сочинял стихи «а малороссийском языке самого возмутительного содержания»; в них поэт «с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома... Шевченко приобрел между друзьями своими славу знаменитого малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны... Судя по тому чрезмерному уважению, которое питали и лично к Шевченко, и к его стихотворениям все украинно-славянисты... по возмутительному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, он должен быть признаваем одним из важных преступников».

Николай I, «коронованный фельдфебель», мстительный, как все трусливые люди, к каждому из проектов приговоров Третьего отделения прибавил отпечаток собственной злобной души. Даже приговоры вполне «раскаявшимся» Костомарову и Кулишу были высочайшей конфирмацией хоть немного, да ухудшены.

В отношении Шевченко Третье отделение предлагало:

«Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

К проекту графа Орлова и Дубельта Николай сделал «собственною его императорского величества рукою» приписку: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать».

Таким образом, если даже Третье отделение ставило поэту и художнику условием только содержание его будущих произведений, то самодержавный медведь варварски лишал человека вообще всякого права на духовное творчество.

«Август язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать, — с горечью писал в своем «Дневнике» Шевченко спустя десять лет. — А христианин Николай запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И христианин девятнадцатого века...»

В конце концов в официальном приговоре стояла совсем уже непонятная формула:

«Определить Шевченко рядовым в отдельный Оренбургский корпус, с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

Из-за неясности этого решения (а также и оттого, что фактически Шевченко был лишен «права выслуги») впоследствии поэту пришлось пережить немало тяжелых преследований. Во всяком случае, при объявлении приговора Шевченко устно было «разъяснено», что в запрещении писать не входит «писание обыкновенных писем».

«Россия велика и сильна, — с восторгом писал в своих интимных «Записках» Дубельт, — русский царь у себя, дома, бог земной!»

Медведь подминал под свою тяжелую лапу все живое, все жаждущее жизни...

Х. НА БЕРЕГАХ УРАЛА

Передовая общественность России восприняла расправу с украинскими «славянистами» как вопиющее преступление самодержавия против прогрессивной человеческой мысли: после декабристов и польских революционеров тридцатых годов кирилломефодиевцы были очередными жертвами николаевской деспотии и террора.

Из ряда косвенных архивных данных можно заключить, что несколько человек, пострадавших в известном нам деле кирилломефодиевцев, не составляли всего существовавшего на Украине в середине сороковых годов революционного подполья. А такие его деятели, как Шевченко, Гулак, Навроцкий, были, очевидно, связаны и с другими революционными организациями, действовавшими одновременно и продолжавшими действовать позже на Украине и в России.

Каким-то пока еще неизвестным нам образом с тайными обществами на Украине была связана организация Буташевича-Петрашевского. Специально подсланный к петрашевцам полицейский агент Антонелли доносил Третьему отделению в 1849 году:

«В рассказе о происшествиях, бывших в Киевском университете, в которых был замешан Шевченко, Петрашевский говорил, что заговор этот (Кирилло-Мефодиевское общество. — Л. Х.) был открыт студентом Петровым, принятым ныне на службу в Третье отделение. Несмотря на неуспех помянутого предприятия, оно все-таки пустило корни в Малороссии, чему много способствовали сочинения Шевченко, которые разошлись в том краю во множестве и были причиною сильного волнения умов, вследствие которого и теперь Малороссия находится в брожении...»

В другом донесении тот же агент писал:

«Сколько я мог заметить из моего кратковременного знакомства с Петрашевский, связи его огромны и не ограничиваются одним Петербургом, но, напротив, находятся во всех концах России. Доказательством того служат: знание им всех подробностей происшествий в Киевском университете; уверенность, с которою он говорил, что вся Малороссия находится в брожении; собственное его признание, что он принадлежал к Харьковскому обществу, которое, по его словам, существует и до сих пор; подтверждение его, что и в Москве есть люди с человеческими понятиями...»

Лично знавший Шевченко петрашевец Момбелли вспоминал впоследствии, что «о Шевченко тогда очень много говорили». В своем дневнике весной 1847 года Момбелли записал (по условиям конспирации — очень отрывочно и со всевозможными нарочито туманными оговорками):

«В настоящее время в Петербурге все шепчутся и говорят по секрету с видом таинственности об открытом и схваченном правительством обществе... Несколько человек умных, истинно благородных брошено в тайные темницы, ни для кого не доступные... Шевченко, Кулиш и Костомаров находятся в числе несчастных... Малороссия считала Шевченко в числе своих любимых поэтов, которых так немного. Он написал поэму «Гайдамаки» и много других стихотворений... Говорят, что Шевченко — истинный поэт, поэт с чувством, поэт с воодушевлением... Говорят, будто бы они хотели возбудить Малороссию к восстанию... С восстанием же Малороссии зашевелился бы и Дан, давно уже недовольный мерами правительства. Поляки тоже воспользовались бы случаем. Следовательно, весь юг и запад России взялся бы за оружие... Шевченко, говорят, написал на малороссийском языке, в стихах, воззвание к малороссиянам...»

Итак, в пятницу 30 мая 1847 года поэту был объявлен совместный приговор Третьего отделения и царя.

«Трибунал под председательством самого Сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора!» — писал Шевченко.

И все же он сохранял необыкновенную волю, ни на минуту не переставал владеть собой.

— Мы, заключенные, — рассказывал Костомаров, — видели из окон, как вывели на двор Шевченко в солдатской шинели. Он улыбался, прощаясь с друзьями. Я заплакал, глядя на него, а он не переставал улыбаться, снял шляпу, садясь в телегу, а лицо было такое же спокойное, твердое...

В тот же день Шевченко, одетый в солдатскую форму, был доставлен от каземата Третьего отделения в инспекторский департамент Военного министерства, а на следующий день, в субботу 31 мая, генерал-адъютант Игнатьев отправил рядового Шевченко под присмотром фельдъегеря прямо в Оренбург, в распоряжение командира отдельного Оренбургского корпуса и оренбургского военного губернатора генерала-от-инфантерии Владимира Афанасьевича Обручева.

«Фельдъегерь неудобозабываемого Тормоза (то есть Николая I,

которого так прозвал Герцен. — Л. Х.) не дремал, — вспоминает Шевченко в своем «Дневнике». — Он меня из Питера на осьмые сутки поставил в Оренбург, убивши только одну почтовую лошадь на всем пространстве».

Действительно, путники делали на перекладных более трехсот верст в сутки и все расстояние от Петербурга до Оренбурга, через Симбирск, Самару, Бузулук, то есть две с половиной тысячи верст, покрыли за восемь дней.

«Все пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько, — говорит Шевченко устами героя одной из своих повестей, вспоминая, конечно, собственное «мимолетное путешествие» из северной столицы на берега Урала. — Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи... После волжских прекрасных берегов передо мною раскрылась степь, настоящая калмыцкая степь...

Первые три переезда показывались еще кое-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи, по берегам речки Самары. Наконец и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только — и то местах в трех — я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы...

Проехавши город Бузулук, начинают на горизонте в тумане показываться плоские возвышенности Общего Сырта. И, любуясь этим величественным горизонтом, незаметно въехал я в Татищеву крепость... Пока переменяли лошадей, я припоминал «Капитанскую дочку», и мне как живой представился грозный Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне...

Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание называется здесь Караван-сарай: оно недавно воздвигнуто по рисунку А. Брюллова. Проехавши Караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие Сакмарские ворота, — в них я и въехал в Оренбург».

Шевченко был привезен в Оренбург в понедельник 9 июня, в одиннадцать часов ночи, доставлен прямо в «ордонансгауз», то есть в канцелярию корпуса; в передней, прямо на голом полу, Шевченко и провел первую ночь.

Наутро, совершенно измученного дорогой и всеми событиями последнего времени, Шевченко вызвал к себе комендант Лифлянд и направил поэта в казарму впредь до решения, в какой из десяти батальонов

отдельного Оренбургского корпуса будет назначен ссыльный поэт.

Между тем уже к полудню 10 июня разнеслась весть о прибытии в Оренбург Тараса Шевченко. К дивизионному квартирмейстеру штабс-капитану Карлу Ивановичу Герну зашел начальник штаба 23-й пехотной дивизии «полусумасшедший», как его называли, Прибытков:

— Вообразите себе, Карл Иванович, какого господина нам сегодня прислали: ему запрещено и петь, и говорить, и еще что-то такое! Ну как ему при этих условиях можно жить?

В тот же день молодой чиновник Оренбургской пограничной комиссии Федор Матвеевич Лазаревский, украинец по происхождению, давно зачитывавшийся стихами Шевченко, услышал от писаря, ссыльного поляка Голевинского:

— Вы знаете, ночью жандармы Шевченко привезли! Я слышал от офицера, которому его сдали, и он теперь в казарме.

Вскоре в казарму 3-го батальона, где находился Шевченко, стали являться люди, желавшие с ним познакомиться. Поэт лежал ничком на голых нарах, углубившись в чтение какой-то книги. При входе Федора Лазаревского Шевченко неохотно поднялся с нар и с явной недоверчивостью стал отрывисто отвечать на вопросы любопытного юноши.

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? — опросил Лазаревский.

— Я не нуждаюсь в чужой помощи, — довольно сдержанно ответил Шевченко, — буду сам себе помотать. Я получил уже приглашение от заведующего пересылочной тюрьмой учить его детей.

В те времена Оренбург был населен почти исключительно военными и ссыльными, среди которых было особенно много поляков. В Оренбурге помещались штаб отдельного Оренбургского корпуса, управление начальника края и другие ведомства. В городе был также расположен Неплюевский кадетский корпус — одно из старейших в России военных учебных заведений, наименованное в честь основателя Оренбурга, сподвижника Петра I, Ивана Ивановича Неплюева.

Оренбург был основан при впадении реки Орь в Урал и отсюда получил свое название. Но затем выяснилось, что в открытой степи неудобно сооружать город, и укрепление было перенесено к западу, вниз по течению Урала, в более благоприятные географические и климатические условия; при этом за новым городом было сохранено прежнее наименование, хотя река Орь и осталась далеко на востоке.

На месте прежнего Оренбурга была сооружена небольшая крепость, названная Орской, а среди местного казахского населения известная под именем Яман-Кала, что означает «Дрянь-Город».

На новом месте Оренбург за сто лет значительно разросся и, по сравнению с Орской крепостью, уже представлял собой в какой-то мере «настоящий» город.

Один из польских ссыльных, Юлиан Ясенчик, живший в 50-х годах в Оренбурге, описывает его так:

«Оренбург для степи является довольно порядочным городом; все казенные здания, а их немало, выстроены из камня и, конечно, выкрашены в желтый цвет; на улицах дома деревянные, лишь кое-где белеют каменные; весь город окружен высоким валом, сооруженным из кирпича руками ссыльных... Самое величественное здание — дворец начальника края, возвышающийся в самом конце города. Здесь Перовский вел королевскую жизнь, здесь сменивший его Обручев копил деньги в своей шкатулке...

В окрестностях города, за валом, раскинулись предместья с невзрачными лачугами, частью деревянными, частью сооруженными из глины и крытыми соломой. Там обитают уволенные женатые солдаты и татары. В городе расположены два батальона, 2-й и 3-й, составляющие нечто вроде гвардии генерал-губернатора».

Естественно, что Шевченко предпочел бы остаться на службе в Оренбурге. На это же рассчитывали и новые его знакомые, которые тотчас принялись хлопотать, чтобы поэта зачислили во 2-й или 3-й батальон. Право выбора батальона было предоставлено начальнику края, командиру отдельного Оренбургского корпуса Обручеву. Управляющий военным министерством генерал-адъютант граф Адлерберг-младший в сопровождавшей Шевченко бумаге на имя Обручева писал:

«Имею честь покорнейше просить почтить уведомлением: в который из оренбургских линейных батальонов он будет зачислен».

Трудно сказать, чем руководствовался «корпусный ефрейтор Обручев» (выражение Шевченко), сразу же отдавший распоряжение о зачислении ссыльного поэта в один из дальних батальонов, расположенных в неприветливой Орской крепости. Но только 10 июня, уезжая на некоторое время из Оренбурга, он направил «секретное предписание» начальнику 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту Толмачеву: «Препровождая рядового Шевченко, покорнейше прошу зачислить его в Оренбургский линейный № 5 батальон, учредив за ним строжайший надзор, с запрещением ему писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

А 11 июня уже сам Толмачев, «за отсутствием командира отдельного Оренбургского корпуса», докладывал в рапорте на имя графа Адлерберга, что Шевченко «зачислен в Оренбургский линейный № 5 батальон, с учреждением за ним строжайшего надзора».

Таким образом, когда Карл Иванович Герн обратился за помощью к бригадному генералу Федяеву, слывшему добряком, Федор Лазаревский бросился к начальнику пограничной комиссии добродушному генералу Ладыженскому, а товарищ Лазаревского по Черниговской гимназии, Сергей Левицкий, решил действовать через влиятельного чиновника особых поручений при военном губернаторе подполковника Матвеева, сына простого уральского казака и отзывчивого человека, — участь Шевченко уже была решена; предпринять что-нибудь практически для того, чтобы оставить поэта в Оренбурге, не представлялось никакой возможности впредь до возвращения Обручева.

Шевченко стали советовать отправиться педели на две в лазарет, чтобы этим выиграть время. Однако же поэт наотрез отказался от такой хитрости. Он вообще потребовал, чтобы никто за него не ходатайствовал, считая это унижительным для себя,

Между тем Шевченко в самом деле испытывал недомогание: от бессонницы, быстрой езды и внезапной перемены климата у него появилась лихорадка. Поэтому отправку в Орскую крепость все равно пришлось на неделю отложить.

Шевченко в эти дни, чуть оправившись, получил возможность ходить свободно по городу. Он так давно (более трех месяцев!) не испытывал этого сладостного чувства свободы, что с радостью обозревал новую для него обстановку, природу, быт.

На улице ему встречались почти одни только каски да эполеты, солдаты да казаки; его изумило, что даже бабы ходили по городу в солдатских шинелях!

Поэт, которому Оренбург в первый день показался ужасно неприятным городом, теперь уже начал заключать, что и у города «наружность иногда обманчива бывает». Шевченко с наслаждением всходил на гору, откуда открывался вид на Урал, на рошу за Уралом, а в двух верстах от города, на левом берегу реки, раскинулся Меновой Двор, выстроенный в виде небольшого укрепления и служивший в летнее время местом оживленной торговли.

Участие, встреченное ссыльным поэтом в Оренбурге, расположило его к новым друзьям: Герну, Лазаревскому, Левицкому. Радостной была для него встреча со своим младшим товарищем по Академии художеств, одним

из любимых учеников Венецианова, Алексеем Филипповичем Чернышевым.

Двоюродный брат Чернышева, Александр, тоже художник-любитель, служил урядником казачьего войска; он-то и сообщил своим родным о прибытии Шевченко. Алексей Чернышев, приехавший на лето к семье в Оренбург, горячо встретил однокашника, пригласил Шевченко в свой дом, познакомил с отцом, братьями (все они — Константин, Владимир и Матвей — рисовали) и сестрой Ольгой.

Шевченко добился разрешения ночевать иногда не в казарме, а у Чернышевых или у Лазаревского и Левицкого, живших вместе.

Об одной из таких ночей Лазаревский рассказывал:

«Сняв с кроватей тюфяки, мы разложили их на полу, и все втроем улеглись на полу вповалку. Шевченко прочел нам наизусть свою поэму «Кавказ», «Сон» и др., пропел несколько любимых своих песен: неизменную «Зіроньку», «Тяжко-важко в світі жити»; но с особенным чувством была исполнена им песня:

Забілили сніги,
Заболіло тіло.
Ще й голівонька.
Ніхто не заплаче
По білому тілу,
По бурлацькому...

Мы все пели. Левицкий обладал замечательно приятным тенором и пел с большим чувством... Летняя ночь, таким образом, пролетела незаметно. Мы не опали вовсе. Рано утром Тарас Григорьевич простился с нами...»

Бывал Шевченко у Герна, необыкновенно чуткого, уже немолодого человека. Подполковник Матвеев, который, по словам Федора Лазаревского, «при Обручеве был великая сила в Оренбургском крае», тоже приглашал Шевченко к себе домой.

Тяжело было поэту отправляться снова дальше, за двести пятьдесят верст от Оренбурга, в Орскую крепость. Но срок отъезда неумолимо приближался.

Шевченко был отправлен в Орск 14 июня. Путь лежал вдоль реки Урал, через крепости и редуты, составлявшие в те времена единую «Оренбургскую укрепленную линию»: Неженка, Красная Горка,

Островная, Озерная, Ильинская, Губерля...

В повести Шевченко «Близнецы» изображается этот путь от Оренбурга до Орской крепости с того момента, когда поутру, у Орских ворот, дежурный ефрейтор, проверив документы у отъезжающих, скомандовал:

— Подвысь! — окрик, означавший разрешение поднять шлагбаум при выезде или въезде в крепостные ворота, и раздалось обычное: — Пошел!

«И тройка понеслася через форштат, мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встацил две пушки, осаждая Оренбург».

В казачьей станице Неженке путникам захотелось есть. О своем герое, совершавшем этот переезд, Шевченко рассказывает так:

«Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный»

И между проезжим и молодой женщиной произошел следующий диалог:

— Можно у вас остановиться отдохнуть на полчаса? — спросил он молодку.

— Мозно, для ца не мозно! — щелкая арбузные семечки, протяжно отвечала она.

— А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить? Хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом, чай рыбы пропасть?

— Нетути. Мы ефтим не занимаемся.

— Чем же вы занимаетесь?

— Бакци сеем!

— Ну, так сорви мне огурчиков.

— Нетути. Мы только арбузы сеем.

— Ну, а лук, например?

— Нетути. Мы лук из городу покупаем.

«Вот те на! — подумал проезжий. — Деревня из города зеленью довольствуется».

— Что же вы еще делаете? — продолжал он любопытствовать.

— Калаци стряпаем и квас творим.

— А едите что?

— Калаци с квасом, покамест бакца поспеет.

— А потом бахчу?

— Бакцу.

— Умеренно, нечего сказать. — И он замолчал размышляя:

«Какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские!

И что же? Поселяне из города лук получают и...» — он не додумал этой тирады; ямщик прервал ее, сказавши, что лошади отдохнули.

Пока возница затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилась и, расстилаясь по улице, застлала и ворота и стоящую у ворот молодку...

До станицы Островной проезжий только любовался окрестностями Урала. Но, подъезжая к Островной, он вместо серой, обнаженной станицы увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил у ямщика:

— Здесь тоже казаки живут?

— Тоже казаки, — отвечал возница, — только что хохлы.

Проезжий легонько вздрогнул. Его глазам действительно представилась настоящая украинская слобода. Те же зеленые вербы, те же беленькие, в зелени хаты и та же девочка в плахте и с полевыми цветами гонит корову.

«Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину», — говорит Шевченко.

С перевала Губерлинских гор открылся путникам вид на широкую, окаймленную вдали горами пустыню, миновав станцию Подгорную, они снова поднимались часа два на плоскую возвышенность.

«Спустя минуту после тягостного впечатления я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное красно-бурою лентою.

— А вот и Орская белеет, — сказал ямщик как бы про себя.

— Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил я, и мне сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастье ожидало в этой крепости. А страшная пустыня, ее окружающая, казалась мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо...»

XI. ОРСКАЯ КРЕПОСТЬ

Жителю не только Москвы, Киева или Ленинграда, но и нынешнего Орска трудно представить себе, чем была Орская крепость сто лет тому назад, во времена Шевченко. Вот как описывает Юлиан Ясенчик Орск того времени:

«У подножия горы, где река Орь впадает в Урал, рассыпались деревянные домики, по большей части выстроенные татарским способом, с окнами во двор... Главная улица крепости по левой стороне застроена казармами 5-го батальона; с правой — тюрьма арестантской рабочей команды, казармы инженерных и артиллерийских частей».

Довольно обширная территория, окруженная невысоким валом и ограниченная с трех сторон канавой в сажень шириной, а с четвертой примыкающая к реке Урал, и составляла собственно крепость, это «диво фортификации», как иронически отозвался о ней Шевченко.

Батальонные казармы — длинное, низенькое бревенчатое строение с небольшими квадратными окошками — одним своим концом примыкали к деревянному сараю, называвшемуся «экзерцисгауз», а другим выходили на площадь с новой каменной церковью, окруженную маленькими деревянными домишками.

Комендантом Орской крепости был старик Исаев, генерал-майор, с которым Шевченко вскоре же близко познакомился при помощи ссыльного польского революционера Фишера, обучавшего детей Исаева. Благодаря Исаеву Шевченко получил разрешение жить не в общей казарме, а в наемной квартире, представлявшей, правда, жалкую лачугу.

Из Орска поэт мог более или менее подробно писать друзьям об условиях своей жизни. Вот, например, одно из его первых писем к Варваре Репниной, начинающееся строчками из поэмы Рылеева «Войнаровский», читанной, очевидно, вместе с «ею в зимние яготинские вечера»

«30 мая мне прочитали конфирмацию, и я был уже не учитель Киевского университета, а рядовой солдат Оренбургского линейного гарнизона!

О, как неверны наши блага!
Как мы подвержены судьбе!⁷

И теперь прозябаю в Киргизской степи, в бедной Орской крепости. Вы непременно рассмеялись бы, если б увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата, растрепанного, небритого, с чудовищными усами, — и это буду я. Смешно, а слезы катятся... И при всем этом горе мне строжайше запрещено рисовать что бы то ни было и писать (окроме писем). А здесь так много нового, киргизы⁸ так живописны, так оригинальны и наивны: сами просят под карандаш; и я одуреваю, когда смотрю на них... Иногда степь оживляется бухарским на верблюдах караваном, как волны моря, зыблущим вдаль...

Я иногда выхожу за крепость, к Караван-сараю, или Меновому Двору, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой стройный народ! Какие прекрасные головы! (Чистое кавказское племя.) И постоянная важность, без малейшей гордости. Если бы мне можно рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков... А смотреть и не рисовать, это такая мука, которую поймет один только истинный художник...»

И Андрею Ивановичу Лизогубу Шевченко писал в это же время «Брожу над Уралом да... нет, не плачу, а что-то еще хуже творится со мною!»

Но, несмотря на «высочайшее» и «строжайшее» запрещение, Шевченко продолжает и рисовать и писать стихи..

В первую же зиму он получает от Лизогуба полный набор акварельных красок, запас хорошей бумаги, чистые «аглицкие альбомы», рисовальные карандаши и даже «кисти Шариона» (лучшей парижской фирмы).

Посылка была переслана Шевченко при посредстве Федора Лазаревского и его сослуживца Александрийского — попечителя прилинейных киргизов. Михаил Семенович Александрийский, которому о Шевченко написал из Оренбурга Лазаревский, близко сошелся с ссыльным поэтом; на его имя Шевченко во время своего пребывания в Орске получал корреспонденцию, посылки с книгами и рисовальными принадлежностями. Врач по образованию, Александрийский служил по ведомству министерства иностранных дел, в так называемой Пограничной комиссии.

— Несмотря на свои сорок лет, это был лучший представитель молодого поколения сороковых годов, — рассказывает о нем Федор Лазаревский.

Именно Александрийский сообщал Тарасу Шевченко, уже находившемуся тогда на Аральском море, о событиях революции 1848 года в Европе. 16 августа он писал поэту

«Новостей много, очень много. Но так как они отнюдь не орские, а политические, и вдобавок европейские, а не российские только, то излагать их со всеми подробностями я не берусь. Скажу, однако ж, главную тему их: хочется лучшего!.. Это старая песня, современная и человеку, и человечеству, — только поется на новый лад с аккомпанементом двадцатичетырехфунтового калибра!..»

Очевидно, это был отзвук обычных тем, на которые велись у Шевченко беседы с Александрийским и которые волновали их обоих.

В Орской крепости начал Шевченко «мережати» (буквально — плести мелкие, тонкие кружева) свои знаменитые «захалывные» (то есть спрятанные «за халывой» — за голенищем) книжечки стихов

Это были крошечные тетрадошки (они сохранились) — их формат — десять на шесть сантиметров, вчетверо сложенный маленький листок почтовой бумаги; каждая страничка аккуратно обведена рамочкой и исписана пером чрезвычайно густо мельчайшими, как бисер, буквами. Поэт носил их за голенищем своих солдатских сапог

Думы мои, думы мои,
Вы мои родные!
Хоть вы меня не оставьте
В эти годы злые, —

писал Шевченко, открывая первую из своих «захалывных» книжек.

Это стихотворение, начинающееся не случайно точно так же, как то, которым некогда открывался его «Кобзарь», показывает, как зрело понимал Шевченко свои задачи народного поэта; он зовет свою «музу»:

Погулять в пустыне
С киргизами убогими.
Хоть они убоги,
Хоть и голы...

Он ясно сознает свое призвание, еще в пору «Трех лет» выраженное в стихотворении «Гоголю»: будить поэтическим словом любовь и сострадание к поработанному, угнетенному люду; он утверждает себя сторонником «гоголевской школы» в литературе, как ее позднее назвал Чернышевский, то есть школы критического реализма, острого

социального разоблачения.

От ранней национальной романтики в произведениях Шевченко теперь не остается и следа.

Свою любовь к Украине он объединяет с глубокой симпатией ко всем угнетенным народам («на что уж худо за Уралом киргизам бедным...»); с сочувствием говорит про «батька Богдана», воссоединившего Украину с Россией на Переяславской раде.

И в далекой ссылке Шевченко совсем не в розовом свете рисует себе Украину. С искренней болью говорит он о проведенных на родине годах:

Не греет солнце на чужбине,
А дома слишком уж пекло.
Мне было очень тяжело
И там — на славной Украине:
Любви и ласки я не знал,
И ни к кому я не клонился,
Бродил, тихонечко молился,
Панов-злодеев проклинал...
И на Украине нашей люди
Как на чужбине! Как везде!

Шевченко не устает повторять, что его «земляки», украинские паны-помещики, — лютые враги украинского народа.

В поэме «Княжна» он создает образ лицемерного «пана-либерала»:

Село! Пришел конец кручине..
Село на нашей Украине —
Пестрее писанки село,
Зеленой рощей поросло,
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты,
Как диво дивное; кругом
Кудрявых тополей вершины;
А там и лес, — леса, долины.
Холмы синеют за Днепром.
Сам бог витает над селом
Село! Село! Веселье в хатах!
Веселье, издали, в палатах —

Чтоб вы бурьяном поросли!
Чтоб люди следу не нашли,
Чтоб не искали вас, проклятых...
Гуляет князь, гуляют паны...
По селам мужики кряхтят..
Приказный шлет молитву богу..
Гуляки, знай себе, кричат!
— И патриот и брат убогих!
Наш славный князь! Виват! Виват! —
А патриот, убогих брат...
И дочь и телку отнимает
У мужика, — и бог не знает...
А может, знает, да молчит.

Удрученный тоской, почти лишенный книг и общения с людьми (особенно в первое время пребывания на берегах Урала), поэт не впадает в отчаяние.

Ни тени религиозной мистики не найдем мы в его стихах: первые корреспонденты Шевченко в его ссылке — и Лизогуб и княжна Репнина — густо насыщали свои письма к поэту религиозными мотивами смирения и покорности судьбе: «молюсь господу, чтобы он поддержал Вас, чтобы дал и силу, и волю нести крест, ниспосланный Вам, без жалоб на бога и на людей, а с любовью к наказанию, которому Вы подвергаетесь. Если виноват — терпи, что бог послал, и благодари господу; если кажется, что и не виноват, а бог карает, — все-таки благодари господу, писано бо, кого люблю, того и караю...» — писал в каждом своем письме Лизогуб; «предайтесь Вашей настоящей обязанности как можно усерднее, облагораживайте ее примерной исправностию, видя в ней испытание, посланное Вам самим богом для очищения души Вашей, воспитывайте ее, очищайте молитвою... Есть ли у Вас евангелие?» — наставляла поэта княжна; а сам Шевченко как раз в это время неоднократно и настойчиво выражает свои атеистические взгляды, свое презрение к поповщине.

В первые месяцы ссылки, не имея книг, Шевченко внимательно изучает оставленную ему при аресте библию. Но не мистическое настроение и не дух «долготерпения» черпает поэт в священном писании; на основе библейских преданий и легенд он создает свою блестящую сатиру «Цари», в которой «кроткий Давид» глаголет языком всероссийских самодержцев — царя Николая I и жандарма генерал-лейтенанта Дубельта:

«Я. Мы повелим!
Я царь над всем народом божьим!
И сам я бог моей земли I Я — всё!..»
И царь сказал, чтобы в покои
Рабы рабыню привели..
Давид, святой пророк и царь,
Не слишком был благочестивый

И — как закономерный вывод:

Чтоб палачи их покарали, —
Царей — проклятых палачей!

Нет, не смирение, а ненависть, страстный протест растет в душе поэта, который в первые же дни своей тяжелой солдатчины гордо восклицал: «Караюсь, мучаюсь я... но не каюсь!»

В конце 1847 года умер хорошо относившийся к поэту генерал-майор Исаев; в это же время у Шевченко были обнаружены рисунки политического содержания. Его снова перевели на казарменное положение, запретив жить на частной квартире. В декабре Шевченко сообщил об этой очередной неприятности Михаилу Лазаревскому в Петербург:

«Я прозябал себе хотя и в жалкой, но все же вольной лачуге, как видите ли, чтобы я не изобразил (ведь мне рисовать запрещено) своих бедствий (углем на печи), — так и сочли за благо перевести меня в казармы. К табаку, смраду и крику стал я понемногу привыкать, да здесь настигла меня цинга лютая... Если бы все го рассказать, что я терплю нынче по любви и милости милосердного бога, так и за неделю не рассказал бы».

Варваре Репниной Шевченко поведал о своей жизни в николаевской казарме: «Товарищи-солдаты кончили ученье, начались рассказы — кого били, кого обещались бить; шум, крик, балалайка выгнали меня из казарм, я пошел на квартиру к офицеру (меня, спасибо им, все принимают как товарища)... И вообразите мою муку: хуже казарм, а эти люди (да простит им бог) с большой претензией на образованность и знание приличий... Боже мой! Неужели и мне суждено быть таким? Страшно! Пишите ко мне и присылайте книги».

И дальше: «Теперь самое тихое и удобное время— одиннадцатый час

ночи: все спит, казармы освещены одной свечкой, около которой только я один сижу и кончаю нескладное письмо мое; не правда ли, картина во вкусе Рембрандта?»

Очень тяжелым человеком оказался майор Мешков, командовавший 5-м батальоном в Орске. Он сразу невзлюбил Шевченко — и за его непокорный характер, и за то, что Шевченко не умел и не любил никому кланяться и угождать, и даже за то, что почти все порядочные люди его любили и всячески старались ему помочь.

Несколько раз сидел Шевченко из-за Мешкова на гауптвахте. Один раз за то, что появился на улице в белых замшевых перчатках (это, конечно, разрешалось только офицерам, а никак не рядовым солдатам!). В другой раз при встрече на улице с Мешковым Шевченко снял перед ним фуражку правой рукой. Батальонный командир подозвал к себе провинившегося солдата и стал ему вычитывать:

— А вы еще благородным человеком называетесь! Не знаете, какой рукой нужно снимать фуражку перед начальством!

За это Шевченко тоже отсидел сутки под арестом.

Командир 3-й роты, тупой и жестокий человек, штабс-капитан Степанов, видя отношение к поэту своего батальонного начальства, также выбивался из сил, чтобы Шевченко «чувствовал» свое солдатское положение. Его по несколько часов в день вместе с другими и отдельно мучили муштровкой, обучая ружейным приемам, солдатской выправке, учебному шагу «в три приема» и другим «тонкостям» строевой науки.

А один поручик даже грозил ему розгами, на что имел, конечно, все права.

— Майор Мешков, — вспоминал Шевченко, — желая задеть меня за живое, сказал однажды мне, что я, когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную гостиную войти, если не выучусь, как следует бравому солдату, вытягивать носка; меня, однако ж, это не задело за живое... Я и мысли боялся быть похожим на бравого солдата.

Когда поэт с милостивого разрешения начальства оставлял на час или на два казармы, случалось, что кто-нибудь из живших с ним несчастных солдат стянет у него из шкафчика книгу да и заложит в кабаке. Возвратясь в казармы и обнаружив пропажу, Шевченко не обижался, он хорошо понимал весь ужас положения людей, спавших с ним на общих нарах; он только расспрашивал спокойно, где и за какую сумму заложена книга, отправлялся к кабатчику и выкупал ее сам.

Между тем средств у поэта не было. Выезжая из Петербурга на Урал, он имел, как значилось в официальной описи к сопровождавшему

ссылного «конверту № 876», 354 рубля 62 копейки серебром; по тем временам это была довольно значительная сумма (а переезд ведь совершался на казенный счет!).

Однако уже в начале декабря Шевченко сообщал Лизогубу, что все его деньги «до копейки пропали».. Обращаясь к Лизогубу с просьбой прислать ему бумагу, карандаши, краски для рисования, Шевченко прибавлял: «Когда буду иметь рисовальные принадлежности, так, может быть, заработаю».

Михаил Лазаревский рассказывал о тех наивных способах, при помощи которых грабило солдат беспардонное начальство: Шевченко, когда ему выдали солдатское обмундирование, «не подозревая, что. ему принесли платье, сшитое за счет казны, спросил унтер-офицера, что стоит платье; тот без запинки ответил — 40 рублей, и Шевченко сейчас же заплатил деньги».

Еще один характерный случай засвидетельствован позднейшим документом: рапортом подполковника Матвеева, начальника Раимского укрепления на Аральском море (где Шевченко находился после Орской крепости), к начальнику дивизии генерал-лейтенанту Толмачеву. В рапорте сообщалось, что подпоручик 5-го батальона Бархвиц одолжил в Орске у рядового того же батальона Тараса Шевченко 68 рублей 30 копеек серебром, рядовой Тарас Шевченко (очевидно, когда все другие пути уже были испробованы.) обратился к начальству с просьбой «о взыскании с подпоручика Бархвица следующих ему денег, присовокупляя в числе доказательств, что о займе этом известно ротному его командиру штабс-капитану Степанову, который засвидетельствовал о том и господину командиру бригады генерал-майору Федяеву. Подпоручик Бархвиц от этого займа отказался и просил поступить с рядовым Шевченко по всей строгости законов, будто бы за ложное предъявление претензии..»

Таков был нравственный уровень многих офицеров в этих далеких гарнизонах; недаром Шевченко называл их «амфибиями» и прибавлял при этом:

— Геты, между которыми на берегах Дуная влачил остаток дней своих Овидий Назон, были дикие варвары, но не пьяницы, а окружающие меня — и то, и другое... Если бы Гомер увидел этих богатырей, так он бы покрутил свой седой ус и принялся переделывать свою славную эпопею от начала до конца.

Свою жизнь в Орске Шевченко изображал следующим образом:

И довелось снова мне

Под старость с виршами таиться,
Опять исписывать страницы,
И петь, и плакать в тишине...
Я под муштрою в муках рос,
Мне под муштрой стареть пришлось,
Так под муштрой и закопают...
А в день воскресный я за валами
Как вор прокрадываюсь в поле.
Талами ⁹ выйду я вдоль Урала
В простор широкий, как на волю...
...— Айда в казармы! Айда в неволю! —
Как будто крикнет кто надо мною.
И вдруг очнусь я, и под горою
Крадуся вором я за валами
И возвращаюсь вновь вдоль Урала.
Вот так-то праздную в мученье
Я здесь святое воскресенье
А понедельник?.. Но покуда
Всю ночь в казарме душной будут
Тревожить думы. Разобьют
Надежду, сердце вместе с нею
И то, что вымолвить не смею...
И все на свете разметут.
Ночь остановят. И веками
Часы глухие потекут,
И я кровавыми слезами
Не раз подушку омочу.
Молю я бога, чтоб светало,
И, как свободы, солнца жду.
Сверчок замолкнет; зорю бьют.
Молю я бога, чтоб смеркалось, —
Ведь дурня старого ведут
Солдатским шагом поле мерить, —
Чтоб знал он, как в свободу верить,
Чтоб знал, что дурня всюду бьют...

В первый же год своей ссылки Шевченко принялся хлопотать об официальном разрешении ему рисовать; он написал письмо на имя

всесильного Дубельта, мотивируя свое требование отменить жестокий «высочайший» запрет тем, что осужден он не за рисунки, а только за стихи.

Письмо было передано в Третье отделение художником Алексеем Чернышевым, возвратившимся в декабре 1847 года в Петербург, и к Дубельту оно попало тотчас же. В результате этого письма Третье отделение запросило в январе 1848 года корпусного командира Обручева «об усердии, поведении и образе мыслей» бывшего художника Шевченко с заключением о том, «заслуживает ли он ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием».

Переписка велась в те времена неспешно. 12 февраля корпусный командир запросил «о поведении и образе мыслей» Шевченко батальонного командира. 10 марта батальонный командир дал ответ. 30 марта из Оренбурга в Петербург была, наконец, отправлена бумага, в которой Толмачев, за отсутствием Обручева, сообщал Третьему отделению, что Шевченко в Орске «ведет себя хорошо, службою занимается усердно, в образе его мыслей ничего предосудительного не замечено, и, по засвидетельствованию его ближайшего начальника, он заслуживает ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием».

Увы! Результат всей этой длительной канцелярской волокиты оказался равным нулю: получив все необходимые сведения, граф Орлов признал... «еще рановременным входить по сему предмету со всеподданнейшим докладом» к царю.

Непонятно было даже, зачем же Третье отделение интересовалось «образом мыслей» ссыльного, если независимо от этого «образа» почитало «рановременным» всякое рассмотрение вопроса об облегчении участи Шевченко!

Репнина писала Тарасу Григорьевичу: «Здесь мы Вас не забываем, и очень часто речь идет о Вас. С какою радостью все Ваши здешние друзья помогли бы Вам нести крест...»

Наконец Михаил Лазаревский из Петербурга откровенно сообщил поэту: «Мне сказали, что нечего и хлопотать здесь, — никто ничего не захочет. А что можно будет (что обещали) освободить тебя из казарм и перевести в Оренбург, похлопотав там, в Оренбурге...»

Единственным средством изменить положение опального поэта оказалась отправка его в составе экспедиции на Аральское море летом 1848 года.

Шевченко первоначально опасался этой отправки: «Предстоит весною поход в степь, на берега Аральского моря, для построения новой крепости; бывалые в подобных походах здешнюю в крепости Орской жизнь

сравнивают с эдемом. Каково же должно быть там, коли здесь эдем!..»

В марте в Оренбург приехал молодой (ему тогда было всего тридцать два года) географ и моряк — лейтенант Алексей Бутаков, назначенный по рекомендации выдающегося русского мореплавателя Беллинсгаузена начальником экспедиции для съемки и промера совершенно еще не исследованного Аральского моря.

Участник кругосветного плавания «Або» и автор «Записок русского морского офицера во время путешествия вокруг света в 1840, 1841 и 1842 годах», положительно отмеченных Белинским, Бутаков принадлежал к передовой части русского офицерства сороковых годов.

Друзья Шевченко рассказали Бутакову о ссыльном поэте, и тот обратился к Обручеву с ходатайством включить его в состав Аральской «описной экспедиции» в качестве художника для срисовывания берегов — в те времена, до применения фотографии, функции художника в любой географической экспедиции были очень важны и ответственны.

Назначение состоялось в мае, спустя два месяца по приезде Бутакова в Оренбург. Шевченко, таким образом, получил официальное разрешение взяться за карандаш и кисть, а это было для него, пожалуй, самым главным в этот период.

И он уже иначе, чем прежде, пишет о предстоящем походе Лизогубу: «Я теперь веселым отправляюсь на это никудышнее Аральское море... Ей-богу веселым... Пришло мне разрешение рисовать, а на следующий день — приказание в поход выступать. Беру с собой все твои рисовальные принадлежности... Прости меня, ей-богу некогда и сухарь какой-нибудь съесть, а не то чтобы письмо написать как следует. К Варваре Николаевне напишу уж разве что из Раима...»

XII. СТЕПНОЙ ПОХОД

Воспитанник Военной Академии генерального штаба двадцатипятилетний штабс-капитан Алексей Иванович Макшеев, прибывший на службу в Оренбург, также был назначен по его собственной просьбе в состав Аральской экспедиции.

Макшеев, обучавшийся в Академии генерального штаба в 1844–1847 годах, близко сошелся с рядом петрашевцев, был членом кружка Момбелли (своего однокашника по военному училищу). С Момбелли он поддерживал тесную дружбу вплоть до своего отъезда в Оренбург и продолжал с ним оживленно переписываться уже из Оренбургского края.

В Орскую крепость, откуда должен был отправляться в поход транспорт на Аральское море, Макшеев приехал 3 мая 1848 года. Отправка транспорта в дальний и трудный путь была обставлена со всей торжественностью. Начальствовал над транспортом генерал-майор Шрейбер, командир 2-й бригады; прибыл в Орск и «сам» корпусный командир Обручев.

Транспорт составляли тысячи башкирских одноконных подвод и казахских верблюдов; их сопровождали рота пехоты, десять с половиной сотен казаков и семь артиллерийских орудий с прислугой.

К Аральскому морю следовали отряды различного назначения. Среди них был и небольшой отряд для закладки нового форта на реке Карабутак; отрядом командовал друг Шевченко штабс-капитан Карл Иванович Герн.

Основной транспорт направлялся с кладью в Раимское укрепление при устье реки Сыр-Дарьи. Туда же отправлялся и отряд лейтенанта Бутакова с флотской командой и со шхуной «Константин», которая была построена в Оренбурге и в разобранном виде перевозилась к Аральскому морю на башкирских телегах.

— Ежегодное выкомандирование в степь, почти на целое лето, значительного числа башкир с подводами, — рассказывает Макшеев, — было чрезвычайно обременительно и даже разорительно для них.

Собирать такие крупные соединения транспортов приходилось из-за частых набегов хивинцев, нападавших и на местное казахское население и на русских. Макшеев рассказывает:

— Сырдарьинские киргизы приведены были в крайнюю нищету. У кого остались верблюды, те откочевали к Уральскому укреплению, а

остальные до нового хлеба питались рыбою и этим поддерживали свое существование... Вскоре в Оренбурге получено было известие о движении хивинцев по Усть-Урту и о намерении их напасть на наш транспорт, который должен был следовать на Раим...

Главный раимский транспорт, в котором состояли Бутаков, Макшеев, Шевченко, выступил из Орска в степь утром 11 мая.

— 1 500 подвод, — повествует необычайно точный в своих описаниях Макшеев, — выстроились по направлению пути в две линии, каждая в три нити, и заняли в глубину более версты. Рота пехоты с двумя орудиями поместилась впереди между линиями, а две сотни казаков по бокам и сзади. Отслужили напутственный молебен, и транспорт тронулся. Корпусный командир проводил его версты три и потом, став со свитою на возвышенности, пропустил его мимо себя и простился со всеми.

Впереди транспорта, отдельно от своей роты, пешком, потому что верховая езда была ему тяжела, шел в штатском стареньком пальто Шевченко, здесь же познакомившийся и сдружившийся с Макшеевым.

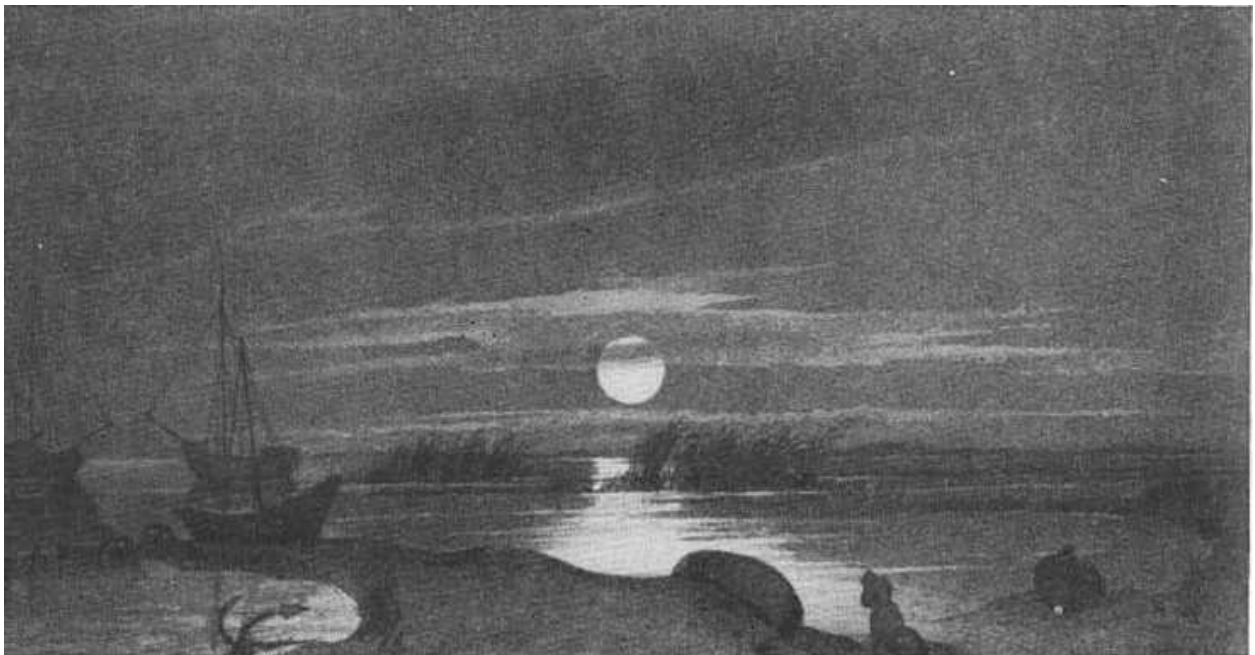
— Он был весел, — вспоминает Макшеев, — и, по-видимому, очень доволен раздольем степи и переменою своего положения. Походная обстановка его нисколько не тяготила...



Автопортрет Т. Г. Шевченко. 1847 год.



Джангис-агач. Рисунок Т. Г. Шевченко.



Лунная ночь на Аральском море. Рисунок Т. Г. Шевченко.

Еще не было половины мая, а ковыль в степи уже пожелтел от жгучих лучей солнца. Тысячи конских и верблюжьих ног поднимали в воздухе

белую тонкую пыль, относимую ветром и закрывавшую одну половину горизонта. Скрип телег равномерно и тягуче нарушал тишину. Кто-то затянул песню, но было жарко, и песня не сладилась...

Шевченко радовала картина необозримой степи, тихого, светлого утра: безжизненная степь жила для него особой, незримой для постороннего глаза жизнью. По мере того как все выше и выше поднималось ослепительно сиявшее солнце, степь как будто начинала шевелиться, вздрагивать.

«Еще несколько минут, — рассказывает Шевченко об этом впечатлении в своей повести «Близнецы», — и на горизонте показались белые серебристые волны, и степь превратилась в океан-море. А боковые аванпосты начинали расти, расти и мгновенно превратились в корабли под парусами. Очарование длилось недолго. Через полчаса степь приняла опять свой безотрадный, монотонный вид; только боковые казаки попарно двигались, как два огромные темные дерева».

Транспорт, растянувшийся по дороге длинной лентой, напоминавшей какое-то исполинское, глухо стонущее чудовище, двигался с черепашьей скоростью — от трех до четырех верст в час. В пути делали часовой привал. После полудня переход, начинавшийся в шесть часов утра, заканчивался, так что за один день покрывали около двадцати верст. Переходы осложнялись тем, что весь основной путь проделывался прямо против ослеплявшего людей и животных солнца, которое вместе с едкой пылью вызывало болезнь глаз.

Когда после остановки на ночлег жара спадала, разводили костры, над походным лагерем звучали русская, башкирская, казахская речь, веселый смех, солдатская задорная песня, а ей издали отвечал тихий и мелодичный напев башкира, сопровождаемый звуками сыбызги (подобие флейты)...

Шевченко любил проводить время на привале в обществе Макшеева, сопровождавших его солдата Марковea Сидорова и посыльного — молодого казаха Алмакурова. Вожатым всей колонны был старый опытный проводник — казах Агау. Макшеев вспоминает, что Шевченко умел всех заразить бодрым настроением, рассмешить веселой шуткой:

— Когда после продолжительного перехода мы приходили в укрепление, где имели возможность заменять сухари и воду свежим хлебом и хорошим квасом, Тарас Григорьевич шутливо обращался к моему человеку со словами: «Дай, братец, квасу со льдом! Ты знаешь, что я не так воспитан, чтобы пить голую воду». Он много рассказывал...

От Орска до Раима немногим более 700 верст, или тридцать три перехода. Этот путь делится почти пополам Иргизом (Уральским

укреплением); от Орска до Иргиза — девятнадцать переходов, от Иргиза до Раима — четырнадцать переходов. Второй этап гораздо тяжелее первого: он лежит через сыпучие пески Приаральских Кара-Кумов.

Пока транспорт продвигался по степи, на одном из первых переходов Шевченко наблюдал живописную картину «пала» — огня, который пускают казахи, чтобы сжечь старый, пересохший ковыль и дать свободнее расти новому.

Из-за горизонта вдруг начала показываться легкая белая тучка; она вела себя как-то странно: то поднималась в небо, то снова расплывалась в раскаленном от жары воздухе.

— Что это такое? — спросил один молодой казак, впервые попавший в степь, у другого, постарше.

— Да разве ослеп, не видишь? — отвечал старый казак. — Степь горит!

— И в самом деле горит...

К полудню навстречу транспорту ветерок принес уже и запах дыма. Сначала отдельные, мелькающие среди дыма огоньки сливались в непрерывные нити; затем, после захода солнца, в дыму образовалось мощное, очень красивое зарево.

«С приближением ночи, — пишет Шевченко, — зарево краснело и к нам близилось. Из-за темной горизонтальной, чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. В транспорте все затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И действительно, невиданная картина представилась моим изумленным очам. Все пространство, виденное мною днем, как бы расширилось и облилось огненными струями, почти в параллельных направлениях. Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джеломейкою, любуясь огненной картиною...»

Шевченко по просьбе спутников зарисовал эту почти фантастическую иллюминацию. Рисунок был им выполнен акварелью — тонко и с большим мастерством, — и все вдруг почувствовали по-настоящему, какого замечательного художника забросила судьба в эти края...

14 мая вдали сверкнула серебряная лента реки Ори, свежим воздухом повеяло на путников. Все вдыхали полной грудью влажный аромат широко раскинувшегося речного залива. А Шевченко уже через минуту купался в прохладной воде, пока наводили плавучие мосты для переправы транспорта через Орь, в это время года разливающуюся шире всего.

После переправы через реку была устроена первая дневка — суточный отдых в степи. Затем Орь осталась по правую руку, а караван продолжал

свой путь на юго-восток.

Не доходя нескольких верст до реки Карабутак, путешественники увидели вдали от дороги одинокое дерево. К нему сразу же свернуло несколько казахов и любопытных офицеров. Шевченко спросил у одного башкира, что это такое.

— Мана ауля агач, — ответил тот, что означало: «Это — святое дерево».

Его называют еще «Джангыс-агач», то есть «Одинокое дерево». В самом деле, это было единственное дерево, встреченное на протяжении всего пути от Орска до Раима. Оно выросло верстах в двух влево от дороги, в небольшой ложбинке. Это был осокорь, или «черный тополь», саженой пять в высоту и не менее двух саженой в обхвате у корня. На вершине находилось гнездо «талги» — птицы из породы орлов.

Когда Шевченко приблизился к «Джангыс-агачу», вокруг него столпилось уже много народу; люди с благоговением смотрели на дерево, на котором были навешаны кочевниками различные лоскутья, обрывки цветной ткани, пучки крашеного конского волоса, и «самая богатая жертва, — рассказывает Шевченко, — это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на все это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения... Я оглянулся еще раз, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою А я, в забытьи, как бы живому существу, проговорил «прощай»...»

Сохранилась акварель Шевченко «Джангыс-агач», сделанная им в этот день.

На следующее утро на берегу небольшой речки Карабутак, на высокой скале, был заложен новый Карабутакский форт, и в нем оставлено пятьдесят человек гарнизона.

По окончании закладки строитель форта Карл Иванович Герн пригласил офицеров и Шевченко на обед в свою кибитку.

Герн со своим отрядом вышел из Орска и прибыл к реке Карабутак на несколько дней ранее основного транспорта. С какой же радостью встретился с ним снова Шевченко — «с единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае, — как говорит о нем поэт. — После долгой, самой душевной беседы мы с ним расстались уже ночью На дорогу подарил он мне бутылку эстрогона и пару лимонов, драгоценный дар в такой пустыне, каковы Кара-Кумы. где я и оценил эту драгоценность по достоинству»

От Карабутака до Иргиза предстояло совершить девять переходов и

перебраться еще через две небольшие речушки: Яман-Кайраклы и Якши-Кайраклы. Вся эта местность была усеяна кварцевыми отложениями, вызвавшими у Шевченко замечание:

— Отчего никому в голову не придет на берегах этих речек поискать золота? Может быть, и в киргизской степи возник бы новый Санто-Франциско. Почем знать?

Предвидение Шевченко подтвердилось в наше время: на территории Актюбинской, Кзыл-Ординской, Карагандинской областей Казахской ССР были обнаружены и начали разрабатываться ценнейшие месторождения золота и фосфоритов, угля и нефти, цветных металлов и железных руд, кварца и строительных материалов. Разведка и освоение всех этих полезных ископаемых, однако, начались только в годы советской власти!

Из четырех эшелонов, шедших вместе от Орска, два — отряд топографов прапорщика Яковлева и транспорт, направлявшийся в Иргиз, — ушли несколько вперед.

И вот утром 26 мая, только миновали они Дустанову могилу, на них напал отряд конных хивинцев

Сначала произошла только небольшая перестрелка, и всадники исчезли за курганами. Но спустя несколько часов хивинцы, в числе шестисот человек, возобновили нападение, и стычка оказалась довольно жестокой: с обеих сторон были и раненые, и убитые, и попавшие в плен. С большим трудом удалось отогнать нападавших.

Главные силы транспорта, с которыми был и Шевченко, подошли к Дустановой могиле на следующий день.

— Мы перешли вброд реку Иргиз, — рассказывал он, — и пошли по левому, плоскому ее берегу. Вдали, на самом горизонте, синела гора, увенчанная могилами батырей... Оставив гору в правой руке, мы остановились на берегу Иргиза, вблизи могилы батыря Дустана. Этот грубо из глины слепленный памятник напоминает общей формой саркофаги древних греков. Мы остановились на том самом месте, где вчера на предшествовавший нам транспорт напала шайка хивинцев и нескольких человек захватила с собою, а нескольких оставила убитыми. И здесь я в первый раз увидел обезглавленные и обезображенные трупы, валяющиеся в степи, как какая-нибудь падаль. Начальник транспорта приказал зарыть их...

В тот же день хивинские вооруженные отряды напали также на гарнизон Новопетровского укрепления на полуострове Мангышлак. Однако оба эти нападения были уже последними в этом крае хивинцы отступили в пределы своего ханства и больше не трогали ни мирного казахского

населения, ни русских частей, расположенных в степи.

К Уральскому укреплению транспорт приблизился 30 мая. Еще верст за пятнадцать увидели путники впереди неопределенные возвышенности, и проводники пояснили:

— Иргиз-Кала! Город Иргиз.

Подошли ближе. Перед взорами раскинулись низенькие серые глинобитные лачуги, крытые камышом и обнесенные невысоким земляным валом. Шевченко не мог отделаться от впечатления, что эти мазанки с камышовой кровлей больше походят на помещение для овец, чем на человеческое жилище.

Транспорт расположился лагерем в нескольких верстах от Иргиза и занялся переформированием своего состава.

Впереди предстояла самая трудная часть пути: переход через пустыню.

Генерал Шрейбер распорядился разделить весь транспорт на эшелоны по пятьсот конных повозок и тысяче верблюдов в каждом.

При первом эшелоне следовал отряд лейтенанта Бутакова.

От Иргиза транспорт сделал еще два перехода, с ночевками у соленых степных озер, и достиг речушки Джаловлы, за которой начинались знаменитые пески Приаральских Кара-Кумов.

— День был тихий и жаркий, — вспоминал Шевченко. — Целый день у нас только и разговору было, что про Кара-Кумы. Бывалые в Кара-Кумах рассказывали ужасы, а мы, разумеется, как не бывалые, слушали и ужасались.

Задолго до рассвета начали вьючить верблюдов, мазать телеги. Начальник транспорта торопил, чтобы пуститься в дорогу как можно раньше и до сильного зноя сделать первый переход.

Однако в эти и следующие двое суток рассказчики ужасов были посрамлены: сильный северный ветер не только не давал почувствовать весь прославленный «жар пустыни», но заставлял даже днем кутаться в шинели.

Только на четвертые сутки, когда транспорт продвинулся еще дальше на юг и освежающий ветер стих, дала себя знать настоящая кара-кумская жара. И люди и животные испытывали все время недостаток в питьевой воде. Лошади и верблюды страдали от острых жал слепней.

Мучительное передвижение через Кара-Кумы продолжалось почти две недели. Жара становилась все более и более нестерпимой, и транспорт снимался с ночлега часа за два до рассвета. Воду из замутненных людьми и животными колодцев нельзя было пить, не процедив через густую марлю и не вскипятив на огне.

Шевченко шел все время пешком и не унывал. Гнилую и плохо пахнущую воду он сдабривал лимоном, подаренным Герном. В самый сильный зной пел песни. На привале делал наброски и искренне восхищался своеобразной красотой степной природы.

По-казахски Кара-Кумы — «Черные пески», черные — то есть заросшие (в отличие от красных — лишенных всякой растительности). И в самом деле, Приаральские Кара-Кумы сравнительно богаты типичной степной растительностью, особенно в ложбинах, наполняемых в зимний период снеговыми водами.

Шевченко вспоминает, как его привело в восторг одно из прекрасных зрелищ степи — высохшие соленые озера:

«С восходом солнца открылась перед нами огромная бледно-розовая равнина. Это — высохшее озеро, дно которого покрылось тонким слоем белой, как рафинад, соли... Я долго не мог отвести глаз от этой гигантской белой скатерти, слегка подернутой розовой тенью.

Один из казаков заметил, что я пристально смотрю на белую равнину, и сказал:

— Не смотрите, ослепнете!

Действительно, я почувствовал легонькое дрожание света и, зажмуривши глаза, пустился догонять вожака, далеко выехавшего вперед. Так я перебежал всю ослепляющую равнину. На противоположной стороне, с высокого бугра, я залюбовался невиданною мною картиной...

Через всю белую равнину черной полосой растянулся наш транспорт, то есть половина его, а другая половина, как хвост черной змеи, извивалась, переваливаясь через песчаные бугры. Чудная, страшная картина! Блестящий белый фон картины опять начал действовать на мое зрение, и я скрылся в песчаных буграх...»

Чтобы предохранить себя от слепоты, люди надевали на глаза черные волосяные сетки.

По мере того как все ниже и ниже становились песчаные холмы, исчезали и впадины пересохших соленых озер. Равнина снова начала покрываться скудной зеленовато-серой и бурой растительностью.

Наконец в один прекрасный день далеко на юге можно было уже различить еле заметную синюю полоску — это было Аральское море, в воздухе повеяло влагой; транспорт заметно оживился; к вечеру подошли к северному заливу Арала — Сары-Чаганаку — и искупались в тепловатой соленой воде.

Дальше путь лежал вдоль берегов Аральского моря, покрытых кое-где кустарниками саксаула, мимо озер Чумышкуль и Камыслыбас. На

Камышовом озере — Камыслыбас — транспорт впервые встретил казахские поселения. Это были аулы земледельцев-угенчей, совершенно обнищавших в результате хищнических набегов хивинцев. В жалких, сплетенных из камыша (вместо войлока). кибитках было пусто и голо. Еле прикрытые лохмотьями мужчины и женщины были окружены совсем голыми детьми.

— Ни у кого не было ни лошади, ни коровы, ни барана, а только у немногих осталось по козе, — свидетельствует Макшеев. — В таком бедственном положении находились в 1848 году все киргизы, занимавшиеся земледелием в окрестностях Раима.

Вот откуда у Шевченко его известный, горячо сочувственный образ «убогих, голых киргизов»!

Вечером 18 июня транспорт начал свой последний переход. Теперь приходилось идти по ночам, потому что июньская жара достигала сорока градусов в тени; в раскаленном песке яйцо пеклось всмятку за пять минут.

Когда взошло солнце, вдали показались валы и камышовые кровли Раимского укрепления.

В Раиме экспедиции Бутакова пришлось около месяца ожидать сборки доставленной из Оренбурга шхуны «Константин»

Укрепление было расположено в шестидесяти верстах от устья, на правом высоком берегу Сыр-Дарьи, в широкой зеленой полосе камыша, за которой открывалась серебристая гладь реки.

Шевченко поселился, по приглашению Макшеева, в его войлочной походной кибитке, помещенной посреди площади в центре Раимского укрепления.

Здесь он рисовал, писал стихи, между прочим написал стихотворение «Топор был за дверью у господ-бога», навеянное впечатлениями степного похода, пожара в степи и одинокого священного дерева «Джангыс-агач». Шевченко передает казахскую народную легенду о происхождении пустыни.

Образ вечнозеленого дерева, пощаженого божьей карой, у поэта — символ бессмертия народного духа; и поэт верит в то, что дерево еще даст новые ростки, что из этого дерева в будущем разрастется новый могучий лес...

Так как Раим удален от устья Сыр-Дарьи, у самого моря, на острове Кос-Арал. был создан пост; здесь были сооружены казармы и постоянно находились пятьдесят человек команды из числа солдат Раимского укрепления. Верстах в пяти от устья помещалась рыболовная ватага, состоящая из двух десятков рыбаков, кормщиков и приказчиков.

«Кос-Арал» означает по-русски «прибавляющийся остров», и он в самом деле из года в год расширяется, сливаясь постепенно с обмелевшим и заросшим камышом и кугой полуостровом и близлежащими островами.

Пост Кос-Арал обыкновенно пополнялся из числа больных цингой раимских солдат, считалось, что морские купания благотворно действуют на цинготных, а цинга — из-за отсутствия свежих овощей и вообще плохого снабжения продуктами питания — приобретала в гарнизоне на Арале иногда прямо характер эпидемии.

Рыбаки имели в своем распоряжении шхуну «Михаил» и несколько кочевых лодок, на которых они отважно пускались в открытое море. Рыбу (осетров, сомов) на месте засаливали, так же как и икру; затем раз в год соленую рыбу, икру, клей отправляли с очередным транспортом в Оренбург.

— Кос-аральские рыбаки, — рассказывает Макшеев, — прибывшие сюда из приволжских губерний, не унывали в неприятной чужой и дальней стороне

Шевченко часто бывал и на Кос-Арале и в рыболовной ватаге, подолгу беседовал с разношерстным и разнохарактерным людом. Сохранились рисунки (акварели, сепии), выполненные им еще до плавания по Аральскому морю: «Раимское укрепление», «Сооружение шхун».

Из более крупных поэтических вещей Шевченко, навеянных походом и новыми встречами на Аральском море, можно назвать поэмы «Варнак» и «Дочь ктитора»; эти произведения, несомненно, подсказаны слышанными здесь, в Оренбургском крае, историями о ссыльных, каторжниках — «несчастных», как их называет народ..

Наконец сборка шхуны «Константин» была закончена, и шхуна спущена на воду; отплытие назначено на 25 июля Между тем накануне пришла почта из Оренбурга с печальным известием в городе свирепствовала опустошительная эпидемия холеры, на протяжении каких-нибудь десяти дней из одиннадцати тысяч населения города умерло около трех тысяч человек, то есть свыше четверти всех жителей Оренбурга.

Сообщением о холере навеяно стихотворение Шевченко «Чума»

Чума с лопатою ходила
Да все могилы рыла, рыла

Поэт с такой убедительностью изображает эту мрачную работу чумы — среди весны, расцветающих садов и жаждущих жизни и счастья людей, — что невольно напрашивается сопоставление этой античеловеческой

работы с беспощадным, уродующим и убивающим человека деспотическим строем

Шевченко рисует поход чумы совершенно теми же чертами, какими обыкновенно изображается у него крепостничество:

А люди бедные в селе,
Как всполошенные ягнята,
Позаперлись с испуга в хатах
И мрут. На улицах волю
Ревут без корма, в огороде.
Пасутся кони, не выходит
Никто загнать их, корму дать.
И трубам горестно без дыма,
За огородами, за тыном
Могилы черные растут.
Село
Навек замолкло, онемело.
И все крапивой поросло

А вот в это же время, тоже на Аральском море, Шевченко вспоминает свое родное село на Украине («И вырос я в краю чужом»)

Недавно как-то довелось
Заехать мне на Украину,
В то благодатное село,
Где мать качала, пеленала
Меня, младенца.
...Как неприглядно
Все в благодатном том селе!
Земли чернее, по земле
Блуждают люди; оголились
Сады зеленые; в пыли
Погнили хаты, покосились;
Пруды травой заросли
Село как будто погорело,
Как будто люди одурели,
Без слов на барщину идут
И за собой детей ведут!

И чума настоящая и чума помещичьих крепостнических порядков ведет к опустошению, к поруганию и гибели всего живого; здесь, однако, разница в том, что эпидемия что-нибудь да пощадит, а бесчеловечный эксплуататорский строй не минует ничего, никого:

И не одно лишь то село, —
Везде на славной Украине
Лихое панство запрягло
Людей в ярмо...

Тоскуя по своей родине, поэт все же восклицает:

И очень тяжело, страх как тяжело
В пустыне этой пропадать!
Еще трудней на Украине
Все видеть, плакать и молчать!

XIII. АРАЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Еще в конце XVII века на западноевропейских географических картах реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья изображались впадающими в Каспийское море: о существовании Аральского моря ученым Западной Европы ничего не было известно.

Русские давно знали об Аральском море и называли его в давние времена «Синим морем». Название «Аральского», или «Хивинского», море получило при Петре I. Однако на карту вплоть до середины XIX века оно положено было лишь по частичным описаниям (Бековича, Муравина, Берга) и так называемым «опросным данным». Ни островов, ни глубин, ни точной береговой линии моря никто до экспедиции Бутакова не знал.

Поэтому описное плавание по Аральскому морю шхун «Константин» и «Николай»¹⁰ имело первостепенное научное значение.

25 июля оба судна снялись с якоря в Раиме и начали продвигаться к устью Сыр-Дарьи. Первая запись в тщательно веденных Бутаковым «Дневных записках плавания по Аральскому морю в 1848–1849 годах» гласит:

«В семь часов вечера снялся от Раимской пристани со шхунами «Константин» и «Николай», подняв свой брейд-вымпел на первой. Отсалютовав крепости семью выстрелами, на что получил ответ равным числом, начал спускаться вниз по течению Сыр-Дарьи. Провизия (на три месяца) была погружена на шхуне «Николай», а равно и все тяжести».

Макшеев также вел дневник плавания. В его письме к Момбелли сохранились подробные выдержки из этого дневника. Во многом он перекликается с «Дневными записками» Бутакова. Но во многом — для нас в самом главном — петрашевец Макшеев сумел сделать наблюдения социального порядка несравненно более глубокие, чем Бутаков¹¹.

— Мы снялись с якоря от Раимской пристани, — рассказывает Макшеев своему другу и единомышленнику, — 25 июля, в 8 часов вечера... Плавание по реке было сопряжено с большими хлопотами. Шхуна то припирала к берегам, то устремлялась в боковые прореки (рукава), то становилась на мель, так что мы прибыли к Кос-Аралу, наносному острову, прикрывающему Сыр-Дарью, не прежде как через два дня. По берегам реки кочует довольно много киргизов, особенно зимою. Нищета их выше всякого описания. Мужчины и женщины едва прикрываются лохмотьями, а

мальчики лет двенадцати ходят совершенно нагие. Жилищами им служат и зимою и летом шалаши из камыша Скота почти не имеют, средства их для хлебопашества и рыболовства слишком скудны. Хлеб здесь не родится без полива; единственным земледельческим орудием служит мотыга... Сообщение через Сыр-Дарью производится посредством салов, или лодок, сделанных из камыша...

Так петрашевец Макшеев рисует картину жизни колонизированных народов Закаспийского края. Эти же впечатления ложились и на душу чуткого украинского поэта-революционера.

Шевченко на Аральском море испытывал прилив бодрости и творческих сил. В воспоминаниях Макшеева есть важное для нас свидетельство- «Во время похода на Сыр-Дарью и описи Аральского моря я прожил с Шевченко, не разлучаясь, четыре с половиной месяца и во все это время видел его постоянно бодрым и веселым».

В крохотной офицерской каюте шхуны «Константин» помещались семь человек: Бутаков, Макшеев, Поспелов, Акишев, Истомин, Шевченко и Вернер.

О Бутакове сам Шевченко говорит в письме к Репниной так: «Это мой друг, товарищ и командир при описании Аральского моря, сойдитесь с ним, благодарите его за его доброе, братское со мной обращение...»

Характерную запись встречаем и в сохранившемся черновом блокноте Бутакова; среди заметок для памяти— о поручениях при отъезде в 1850 году из Оренбурга:

«В Москве. Тарасию простые синие очки с боковыми стеклами и сочинения Веневитинова и Кольцова».

Какой теплотой веет от этой простой заметки! Видимо, друзья по экспедиции так интимно и называли Шевченко — Тарасием!

С ссыльным польским революционером Томашем (Фомой) Вернером и молодым штурманом Ксенофонтом Егоровичем Поспеловым поэт быстро сошелся на «ты», и сколько раз позднее упоминаются их имена в переписке Шевченко, который передает им приветы, интересуется личными и служебными успехами и неприятностями — и все это в тоне глубокого участия, симпатии, дружеской задушевности:

«Поцелуй Поспелова, ежели он в Оренбурге, и скажи ему... Поздравь Фому от меня и извинись за меня, что я ему не пишу с этой почтой...»

В записках Макшеева читаем: «Поспелов был человек сведущий по своей части, предприимчивый, энергичный и вместе с тем чрезвычайно скромный, добрый и мягкий. По окончании описи он несколько лет оставался на Сыр-Дарье, но мало-помалу стал впадать в меланхолию,

постепенно угасал и, наконец, скончался, оставив по себе самые теплые воспоминания у всех, кто его знал близко».

Шевченко, таким образом, был окружен в Аральской экспедиции людьми симпатичными и передовыми, относившимися к нему не как к «опасному» политическому ссыльному и не как к бесправному «рядовому» николаевской армии, а как к человеку, заслуживающему и уважения, и сочувствия, и самого искреннего расположения. Макшеев замечал о Шевченко: «Ко всем неудобствам походной обстановки он приноравливался легко...»

А неудобств походная жизнь действительно имела множество.

В офицерской каютке было так тесно, что не только днем, но и ночью некоторые из ее обитателей предпочитали находиться на палубе. На протяжении всего плавания экспедиция терпела большой недостаток в доброкачественной пище.

— Мы должны были довольствоваться, — рассказывает Макшеев, — тою почти совершенно испортившеюся провизиею, которая была приготовлена в Оренбурге задолго до экспедиции, хранилась, вероятно, в сыром месте и потом провезена во время сильной жары более тысячи верст. Черные сухари обратились в зеленые от плесени, в солонине завелись черви, а масло было так солоно, что с ним невозможно было есть каши. Только горох (конечно, без всякой приправы) не изменял нам, но его давали всего два раза в неделю, по средам и по пятницам...

Макшеев вспоминает, что он во все «негороховые» дни питался исключительно чаем с сухарями. А Бутаков иногда вывешивал на палубе большой кусок солонины, и, когда били «рынду» (колокол, отмечающий полдень), брал в руки большой нож, и, предварительно счистив им толстый белый слой червей, отрезал кусок мяса, посыпал его густо перцем и ел.

«Мне кажется, — шутливо замечает Макшеев, — он это делал не ради гастрономической причуды, или даже голода, а единственно для ободрения команды...»

Праздником бывало, когда на берегу удавалось подстрелить бекаса или сайгака (дикую среднеазиатскую козу), а не то выловить в море, где-нибудь около шхуны, несколько мелких рыбешек, — случалось, впрочем, это редко, так что только раздражало аппетиты...

Одной из задач экспедиции являлись поиски в районе Аральского моря залежей полезных ископаемых, в особенности каменного угля. Поиски эти возложены были на Вернера, как бывшего студента Варшавского политехнического института, геолога по специальности и по призванию, именно с этой целью и прикомандированного к экспедиции. В «Дневных

записках» Бутакова встречаем часто наблюдения такого рода:

«Почва состоит из рыхлой глины, перемешанной с солью, — все это усыпано кусками слюды, мелкими кусочками кварца и аспида, и тут попадаетея довольно много окаменелых раковин, не принадлежащих к нынешним породам Аральского моря...»

«Пласты здешнего сланца тверже, слюда попадаетея в несравненно больших кусках и окаменелостей больше...»

Начав съемку западного берега с расположенного в северной части Аральского моря острова Кугарал, Бутаков на пути оставил группу под начальством Макшеева и Акишева для обследования острова Барса-Кельмес (что по-казахски означает «пойдешь — не воротишься»), а сам со шхуной направился к полуострову Куланды (между заливами Чернышева и Тще-Бас) для новых попыток отыскать, уголь.

Вернер обнаружил на полуострове несколько нетолстых пластов угля. «Судя приблизительно, — записал в этот день Бутаков, — тут можно добыть угля по меньшей мере около пяти или шести тысяч пудов... Уголь этот мы жгли. Он загорается скоро, дает большой жар и оставляет после себя мало мусора».

Пока велись эти розыски, поднялся сильный западный ветер, на следующий день к вечеру превратившийся в шторм. Хотя шхуна стояла в небольшой бухточке, под защитой высокого мыса Изынды-Арал (юго-восточной оконечности полуострова Куланды), пришлось отдать второй якорь и непрерывно травить якорные канаты.

Ночь была очень трудная. Буря не унималась, и можно было ежеминутно ждать, что шхуну сорвет с якорей и швырнет волнами на береговые скалы. Положение становилось настолько критическим, что Бутаков уже соображал, как придется строить плот, если судно разобьется о камни. Ему при этом явственно рисовалась трагическая участь группы, оставленной на острове Барса-Кельмес и терпеливо ожидавшей возвращения шхуны...

— Я нарочно сошел вниз, — рассказывает Бутаков, — чтоб не обнаружить перед командою беспокойства и не лишить ее бодрости, но о сне нечего было и думать!

Только 11 августа утром ветер немного смягчился, хотя волнение продолжалось еще очень сильное. Наконец к вечеру, пользуясь некоторым уменьшением зыби, Бутаков вывел шхуну в море и к одиннадцати часам ночи подошел к Барса-Кельмесу. Приближаясь к острову, зажгли фальшфейер, чтобы дать знать о себе Макшееву и его группе. В ответ на берегу засветились костры...

— Слава богу! Вы спасены! — воскликнул Бутаков, когда увидел Макшеева. — Если бы шхуну разбило, я бы собрал из обломков лодку и достиг бы Сыр-Дарьи. Но вы? Вы бы умерли с голоду.

Вторую половину августа шхуна «Константин», на которой плывал Шевченко, производила описание западного побережья Аральского моря; восточный берег снимала и описывала команда второй шхуны, «Николай», которой в это лето командовал Богомоллов.

Западный берег Аральского моря — от полуострова Куланды и вплоть до дельты Аму-Дарьи — ограничен так называемым «чинком», то есть крутым обрывом Усть-Урта — высокого плато, лежащего между Каспийским и Аральским морями.

Обрывающийся совершенно отвесно в море «чинк» — высотой до восьмидесяти саженей — представляет огромную угрозу для судов: при внезапно поднявшейся зыби шхуна может быть за несколько минут превращена в грудку обломков.

Поэтому, чтобы не подвергать судно опасности, съемку западного берега экспедиция производила со шлюпки, держа шхуну в отдалении от каменной гряды скал, возле которой даже в сравнительно тихую погоду всегда ходили грозные, пенящиеся, словно ключ кипящие буруны.

Пейзажи Аральского моря занимают заметное место в стихотворениях Тараса Шевченко этого периода.

Вот, например, типичная картина аральской природы:

За солнцем облачко плывет,
Краснеет, полы расстиляет,
И солнце спать оно зовет
В морскую синь — и прикрывает
Розовую пеленою.
Как ребенка к ночи
Любо глазу Хоть часочек,
Хоть один часочек
Сердце словно отдыхает.
А туман, как враг лукавый,
Закрывает море
И облачко розовое.

Бутакову высшим петербургским начальством было категорически запрещено производить съемку южного побережья Аральского моря, у

устья Аму-Дарьи, где хозяйничали хивинские ханы.

Однако в интересах науки Бутаков решился нарушить этот запрет.

Группа под начальством Пospelова высадилась на берег в урочище Аджибай, в юго-западной части Аральского моря. К ним вскоре подошло несколько человек казахов и узбеков — без всякого оружия и с явным выражением дружелюбия.

С группой был приказчик Захряпин, прекрасно владевший татарским языком и легко объяснявшийся с местным населением. Начался дружеский разговор. Один из старшин — аксакалов (то есть «белобородых») — рассказал, что дней десять тому назад здесь прошли хивинцы, возвращавшиеся после неудачного похода: они были разбиты во время нападения на русские крепости и караваны и теперь шли назад, к своим ханам, без лошадей и верблюдов, в самом жалком состоянии, по двое и по трое.

Аксакал сообщил, кроме того, что кочующие в Зааралье казахи отправили посланцев в Хиву объявить хану, что из-под его грабительской и жестокой власти они хотят перейти к русским.

— Русские, — добавил аксакал, приветливо улыбаясь морякам, — как мы слышали, нигде не грабят и не обижают казахов и узбеков.

23 сентября «Константин» положил якорь в устье Сыр-Дарьи.

Так кончилось описное плавание 1848 года.

Мы долго в море пропадали.
Пришли в Дарью, на якорь стали.
С ватаги письма принесли,
И все тихонько их читали,
А мы с коллегою легли,
Беседовали, вслух мечтали.
Я думал: где б ту благодать —
Письмо иль мать добыть на свете?
— А ты один? — Жена и дети,
И хата, и сестра, и мать!
А писем нет...

Эта грусть о том, что нет писем, что на Украине, быть может, забыли люди своего Кобзаря, не заслоняла в воображении поэта другой, социальной грусти — грусти о народе, изнывающем под игом помещичьего гнета. В другом стихотворении того же периода Шевченко говорит:

И снова мне не привезла
Ни слова почта с Украины...
А сердце плачет, вижу снова
Дни невеселого былого
В той невеселой стороне,
В своей Украине, — надо мною
Они когда-то пронеслись...

Зиму участники экспедиции проводили в Раиме и на Кос-Арале. Бутаков обрабатывал астрономические наблюдения. Шевченко заканчивал уже второй ящик красок. Когда реку и озера затянуло крепким льдом, офицеры стали кататься на коньках. Из Раима на Кос-Арал и обратно ездили на тройках «в гости» друг к другу.

В Раимском укреплении да и на Кос-Арале было немало книг, журналов, газет, хотя и устаревших, завозившихся на Аральское море из Оренбурга раз в несколько месяцев, но тем усерднее и внимательнее читаемых обитателями дальних фортов.

Бутаков в одном письме в Оренбург писал: «Жизнь здесь идет хотя однообразно, но не скажу, чтобы очень скучно. Книг вдоволь, есть шахматы...»

Жили все очень дружно, часто собирались вместе — за оживленной беседой или чтением. Душой общества был Шевченко, всех развлекавший и увлекавший.

Он то в лицах изображал, как командир 2-й роты поручик Богомоллов на следующий день после чьих-то именин никак не мог сладить с пером, чтобы написать записку на склад — «отпустить три топора», — все рвал бумагу, начинал писать сызнова и при этом ругался:

— Вот поди ж ты, чертово письмо, какое хитрое! Да я уж тебя перехитрю!

И все умирали со смеху, в том числе и присутствовавший при рассказе Богомоллов, который и хохотал, может быть, больше всех потому, что искренне мог оценить все правдоподобие разыгранной сценки.

То Шевченко во всю доску большого некрашеного липового стола рисовал пером и карандашом веселую карикатуру: на ней красовалась «джеломейка» провиантского чиновника Цыбисова; у входа в нее сидит хорошенькая девятнадцатилетняя брюнетка — дочь хозяина; мать схватила девушку в объятия, отец стоит в угрожающей позе сзади, с поднятой лопатой в руках; а к «джеломейке» тянется длинная вереница безнадежных

поклонников юной покорительницы сердец, и здесь каждый узнавал себя: и прапорщик Нудатов, и поручик Эйсмонт, и ближайший приятель Шевченко — доктор Килькевич, и второй врач — Лавров, и весь остальной состав гарнизона.

И так метко, всего несколькими черточками — лица, фигуры — было схвачено самое характерное в каждом человеке, что сходство было удивительное.

Даже над трудностями гарнизонного существования всегда готовы были пошутить, посмеяться. Однажды кто-то из офицеров пригласил общество к себе на «чай с сахаром». На приглашение, конечно, откликнулись все: ведь в укреплении уже около месяца не было ни кусочка сахара, а нового неоткуда было взять вплоть до очередного транспорта из Оренбурга.

Оказалось, что шутник-хозяин, отыскавший где-то случайно завалившийся один-единственный кусок рафинада, повесил его на шнурочке посредине стола и пригласил гостей пить чай с сахаром «вприглядку»...

Собиравшееся общество нередко просило Шевченко почитать стихи, и он читал — и свои и русских поэтов, которых любил и знал наизусть, — Пушкина, Рылеева, Кольцова, Лермонтова.

Живший вместе с Шевченко на Арале и подружившийся с ним Эраст Васильевич Нудатов, девятнадцатилетний выпускник оренбургского Неплюевского корпуса, вспоминает, какие глубокие чувства умел возбудить в своих слушателях поэт.

— Я как теперь помню его мягкий, певучий, ласкающий голос, — говорит Нудатов. — Помню, как однажды ранней весной мы вышли с ним на солнечный припек и расположились на глинобитных скамейках у южной стены солдатских казарм. Мы были одни и сидели молча. Долго смотрел Тарас Григорьевич на ярко блестящие желтовато-белые пески голой степи и начал читать мне на память какие-то отрывки на своем родном языке... Я помню и заглавие поэмы — «Наймичка»...

Когда Бутаков со своей экспедицией воротился из плавания по Аралу, гарнизон укрепления был взволнован появившимся поблизости кровожадным тигром. Зверь часто навещался в становище казахов, состоявшее из пяти или шести десятков кибиток, и таскал из стада барашков, верблюдов, крупный рогатый скот и лошадей.

Уже были случаи, когда в лапы тигру попадались и люди. Попытка кочевников устроить облаву не удалась: человек сто, вооруженных луками, пиками, саблями и кинжалами, лишь раздразили хищника; он зарезал

двоих взрослых мужчин и многих искалечил. А ночью снова явился в поселок за живностью.

«Надобно было истребить такого соседа во что бы то ни стало, — пишет Бутаков, — и я, тотчас же выступил против него с половиною моего гарнизона»

Как раз в это время на очередной охоте казаки убили крупнейшего кабана; его еле-еле вытащили из камышей и еще как следует не остывшего оставили на берегу. Наутро оказалось, что тигр полакомился кабаном, сожрав чуть ли не половину двадцатипудовой туши.

— Тарас Григорьевич предложил, — рассказывает Нудатов, — оставить тушу на месте, но прямо к ней насторожить несколько ружей, к последним от туши провести бечевки и приспособить их так, чтобы тигр, зацепивший свой ужин, непременно спустил все курки. Тарас Григорьевич тут же устроил модель приспособления, на особых рожках, и охотники установили свою засаду. На следующее утро, к великому удовольствию Тараса Григорьевича, тигра нашли убитым в полуверсте от засады.

В теле тигра оказались шесть пуль из всех шести ружей.

«То был настоящий королевский тигр, — пишет Бутаков, — с ярко-оранжевой шкурой, с черными полосами, необыкновенно жирный и длиною в 6 футов 4 дюйма от морды до начала хвоста».

Среди многочисленных рисунков Шевченко аральского периода есть и рисунок тигра, надолго оставшегося в памяти тогдашних жителей Раима...

Офицеры и солдаты форта жили в дружбе с местным населением. Дети казахов бывали частыми и желанными гостями раимских и кос-аральских казарм.

Солдаты делились с казахами своими жалкими харчами и тряпьем, помогали им в работах; врач Килькевич и фельдшер Истомин охотно лечили казахов и их детвору.

Сохранились рисунки Шевченко, изображающие быт казахов. Ссылный поэт часто бывал у них в гостях, слушал их песни и рассказы...

Вторую навигацию, следующим летом, Шевченко совершил тоже на шхуне «Константин», снова вместе с Бутаковым и неразлучным другом Фомой Вернером. Только Ксенофонт Поспелов в это лето уже не плывал с ними: ему было поручено командование шхуной «Николай», продолжавшей опись восточного побережья Аральского моря.

На этот раз экспедиция вышла в плавание на целых три месяца раньше, чем в прошлом году. Обе шхуны снялись с якоря 8 мая.

За эту навигацию было завершено полное описание берегов Аральского моря; причем были открыты и нанесены на карту многие

неизвестные острова, названные именами Ермолова, Лазарева, Беллинсгаузена, Меншикова и Толмачева, подробно обследована северная часть моря — заливы Чернышева, Тще-Бас, Перовского, Паскевича и Сары-Чаганак.

30 июня «Константин» возвратился к Кос-Аралу за провиантом. Сюда в это время прибыл с инспекторским смотром начальник бригады генерал-майор Федяев, знакомый с поэтом еще по Оренбургу. Он, между прочим, привез Шевченко новый запас красок.

19 июля шхуна была уже снова в море, продолжая описные работы, съемку и наблюдения. Особенно досаждали морякам господствующие на Арале ветры северной половины горизонта. «В море эти ветры, — писал Бутаков в своем отчете об экспедиции в «Вестнике Русского географического общества», — делают плавание весьма трудным: часто подвергали они нас крайней опасности, задувая с силою шторма и вынуждая к рискам, нередко выходившим из пределов благоразумия. Ветры здесь крепчают вдруг, разводят огромные волнения и потом, стихнув так же скоро, оставляют после себя самую несносную зыбь. Вообще говоря, Аральское море принадлежит к числу самых бурливых и беспокойных...»

Второе плавание было закончено 22 сентября: «Утром пришел на место зимовки, а вечером спустил брейд-вымпел и флаги и кончил кампанию», — записал в этот день Бутаков.

Опись Аральского моря, вошедшая в летопись славных подвигов отечественных первооткрывателей, была завершена. Отныне во, всех словарях и учебниках появилась строка: «Первую карту и описание Аральского моря составила экспедиция А. И. Бутакова и А. И. Макшеева».

В этот подвиг внес свой вклад и Шевченко.

XIV. ЗИМА В ОРЕНБУРГЕ

Еще весной 1849 года, перед вторым плаванием по Аралу, Бутаков обратился к начальнику 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту Толмачеву с официальным рапортом, в котором «всепокорнейше просил» сделать «заблаговременное распоряжение» об оставлении Тараса Шевченко при начальнике экспедиции после завершения описных работ «для окончательной отделки живописных видов, чего в море сделать невозможно, и для перенесения гидрографических видов на карту после того, как она будет составлена в Оренбурге».

Тарасу Григорьевичу предстояло переехать в Оренбург и продолжать выполнять обязанности художника описной экспедиции, отделявая «живописные виды» Арала по официальному распоряжению начальства.

Из Раимского укрепления в Оренбург Шевченко вместе с Бутаковым, Поспеловым, Вернером и другими участниками Аральской экспедиции выехал 10 октября. Со смешанным чувством покидал поэт Арал:

Готово! Парус распустили;
Баркас с байдаркой заскользили
Меж камышами в Сыр-Дарью,
Плывут по голубой дороге
Прощай же, Кос-Арал уболий!
Два года злую грусть мою
Ты все же развлекал умело.
Спасибо! Сам себя хвали,
Что люди и тебя нашли
И знали, что с тобою сделать.
Прощай, мой друг! Твоей земли
Не славлю я, не проклинаяю
Быть может, вновь тоску узнаю,
Изведенную в этом крае,
Но от него уже вдали.

Во всяком случае, Шевченко расставался с Аралом как с другом, сохраняя к нему благодарное чувство.

Он многое здесь повидал, многое понял, многому научился.

Обратный переход из Раима в Оренбург был проделан налегке гораздо быстрее: всего за три недели. 2 ноября Шевченко и его спутники уже прибыли в Оренбург.

Встретивший поэта с распростертыми объятиями Федор Лазаревский показал ему полученное еще осенью 1848 года письмо от Варвары Репниной, в котором княжна писала: «Милостивый государь Федор Матвеевич! Более года, как я совершенно без известий о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Именем всего вам дорогого прошу вас уведомить меня, где находится Шевченко и что с ним? Вы меня очень обяжете».

Шевченко отвечал Репниной большим, теплым письмом:

«Добрый и единый друг мой! Обо мне никто не знал, где я прожил эти полтора года, я ни с кем не переписывался, потому что не было возможности: почта ежели и ходит через степь, то два раза в год, а мне всегда в это время не случалось бывать в укреплении, вот причина!..

Не много прошло времени, а как много изменилось, по крайней мере со мною! Вы бы уже во мне не узнали прежнего глупо восторженного поэта, нет, я теперь стал слишком благоразумен... Я сам удивляюсь моему превращению: у меня теперь почти нет ни грусти, ни радости, зато есть мир душевный, моральное спокойствие...»

Так в настроении какого-то особенного прозрения и внутреннего равновесия приехал Шевченко с Арала.

Он 8 ноября писал об этом и Лизогубу: «Возвратился я из киргизской степи, с Аральского моря — в Оренбург... Я жив, здоров и, если не слишком счастлив, то по крайней мере весел».

Между тем как Шевченко уже на протяжении полутора лет свободно, «с дозволения начальства», занимался рисованием, официальная переписка об этом дозволении все еще велась.

Княжна Репнина, находившаяся в отдаленном родстве с начальником Третьего отделения графом Орловым, еще 18 февраля 1848 года обратилась к грозному шефу жандармов с частным письмом, в котором «со сложенными на груди руками» умоляла его, как «человека, облеченного большою властью», добиться для Шевченко разрешения рисовать.

Орлов даже не ответил ничего на это ходатайство.

Теперь, в ноябре 1849 года, корпусный командир Обручев обратился сам к начальнику Третьего отделения, прося сообщить ему, «можно ли дозволить рядовому Шевченко заниматься рисованием под наблюдением ближайшего начальства».

А в это же самое время Шевченко, с прямого разрешения того же

Обручева, не только официально состоял художником при Бутакове, но и рисовал портреты жителей Оренбурга, в том числе жены корпусного командира — Матильды Петровны Обручевой, в доме которой постоянно бывал совершенно запросто.

9 декабря Орлов, наконец, отважился представить царю доклад «О рядовом Шевченко». Изложив пространно всю историю ссылки поэта, Орлов сообщал о запросе генерала-от-инфантерии Обручева: «Можно ли позволить Шевченко заниматься рисованием под наблюдением ближайшего начальства?»

На первом листе этого доклада в тот же день появилась леденящая надпись, тотчас же заботливо покрытая прозрачным лаком:

«Высочайшего соизволения не воспоследовало».

А затем пошла соответствующая бумага и в Оренбург, Обручеву: «Вследствие отношения Вашего высокопревосходительства... О дозволении рядовому Оренбургского линейного батальона Шевченко заниматься рисованием... Высочайшего соизволения не последовало...»

Значит, Николай хорошо помнил Шевченко!..

Проблески бледных лучей свободы заволакивались тучами.

Шевченко был в отчаянии. 1 января 1850 года он писал княжне Репниной:

«Мне отказано в представлении на высочайшее помилование! И подтверждено запрещение писать и рисовать! Вот как я встречаю Новый Год! Неправда ли, весело? Я сегодня же пишу Василию Андреевичу Жуковскому (я с ним лично знаком) и прошу его о исходатайствовании позволения мне только рисовать...»

В феврале того же года в Третье отделение поступила просьба о разрешении Тарасу Шевченко рисовать — члена Государственного совета, бывшего оренбургского военного губернатора Перовского. Василий Алексеевич Перовский, брат министра внутренних дел Льва Перовского, родной дядя поэта Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых, по настойчивой просьбе племянников написал Дубельту письмо об облегчении участи Шевченко.

Различными путями ходатайствовали в то же время за Шевченко и Андрей и Илья Лизогубы и очень влиятельный московский сановник граф Гудович (на сестре которого был женат Илья Лизогуб).

Но все эти хлопоты доброжелателей разбивались о стену тупой самодержавной ненависти к поэту-революционеру. Здесь уже и от Третьего отделения мало зависело. «При всем искреннем желании сделать в настоящем угодное Вашему высокопревосходительству», — так извинялся

Дубельт перед Перовским, сообщая ему, что рассчитывать на царское снисхождение к Шевченко не придется.

При жизни Николая поэту нечего было и думать об облегчении своей участи!

Но, поняв это, Шевченко не смирился.

В Оренбурге после своего возвращения из Раима поэт поселился на частной квартире: сначала вместе с Бутаковым, а когда тот вскоре выехал в Петербург, то у Карла Ивановича Герна.

Насколько симпатичен был этот человек Тарасу Григорьевичу, можно судить хотя бы по тому, что поэт, более всего на свете ненавидевший свою службу, писал Залескому: «Поцелуй Карла за меня и скажи ему, что ежели он решился побывать на Сыре, то я пойду за ним на Куван, и на Амур, в Тибет И всюду, куда только он пойдет...»

Не о многих своих начальниках Шевченко мог бы сказать то же самое!..

А каким искренним чувством согреты воспоминания Герна о поэте, написанные им уже в девяностых годах!

Занимая флигель в доме Герна, на Косушечной улице, напротив здания Неплюевского кадетского корпуса, Шевченко устроил здесь целую мастерскую. Ходил он по городу не в военной форме (что по тем временам для рядового было абсолютно непреложным законом), а в штатском платье.

Разумеется, и сам Шевченко и его друзья, среди которых было немало офицеров штаба Оренбургского корпуса, прекрасно понимали опасность, которой и он и его покровители подвергались, так открыто нарушая «высочайшую» волю, вдобавок вновь настойчиво подтвержденную.

И, однако же, поэт ни за что не хотел уступить эту часть оставшейся у него свободы, не хотел отказаться от возможности рисовать, писать стихи, читать книги, встречаться с людьми, с которыми его связывали искреннее взаимное сочувствие и симпатия.

О том, как жил в Оренбурге Шевченко, мы знаем главным образом по воспоминаниям Федора Лазаревского, который рассказывает: «Вообще говоря, в короткий период своего житья-бытья в Оренбурге Тарас Григорьевич был обставлен превосходно. Образ жизни его ничем не отличался от жизни всякого свободного человека. Он только числился солдатом, не неся никаких обязанностей службы. Его, что называется, носили на руках. У него была масса знакомых, дороживших его обществом, не только в средних классах, но и в высших сферах оренбургского населения: он бывал в доме генерал-губернатора, рисовал портрет его жены и других высокопоставленных лиц... Держал он себя с достоинством и

даже с некоторой важностью. Он никому не навязывался, не вмешивался ни в какой разговор: все обращались к нему, и он всякому отвечал — сдержанно, с едва заметным оттенком иронии и с чувством собственного достоинства».

Федор Лазаревский, служивший в то время чиновником особых поручений при председателе Оренбургской пограничной комиссии генерале Ладыженском, с искренним сочувствием относился к ссыльному поэту и всячески стремился облегчить его положение. И Шевченко много времени проводил в доме Лазаревского, который жил вместе с Пospelовым и Сергеем Левицким.

Однако же Лазаревский был очень далек от всего круга идейных интересов Шевченко. Оттого он не мог понять, что не приемами «в высших сферах» Оренбурга и не возможностью посещать гостиную «корпусного ефрейтора» Обручева дорожил больше всего поэт.

Да и военная служба немало досаждала ему.

«Вот какова моя гадкая судьба! — восклицает он, например, в письме к Андрею Лизогубу. — Я, поднявшись пораньше, принялся писать к вам настоящее письмо, только что принялся, а тут дьявол несет ефрейтора (которому обыкновенно поручается меня извещать, потому что я живу сейчас не в казармах): «Пожалуйста к фельдфебелю!» Пришлось письмо оставить, а сегодня почта уходит! Так кое-как умолив фельдфебеля, возвратился я домой и принимаюсь снова, а время бежит, уже около часа, так простите, если не все расскажу, что хотелось бы рассказать...»

Когда представишь себе, что каждую минуту мог явиться ефрейтор и потребовать «рядового Шевченко» — и не к корпусному командиру, а просто к фельдфебелю, когда знаешь, что этого фельдфебеля поэт вынужден был «умолять», чтобы отлучиться к себе домой на самое короткое время — написать на родину письмо, — тогда становится понятно, что не эта воображаемая «свобода» поддерживала силы поэта.

В эту оренбургскую зиму самым важным и дорогим для Шевченко было его сближение с кружком ссыльных революционеров. Среди них были замечательные личности: Зигмунт Сераковский, Бронислав Залеский, Алексей Николаевич Плещеев, Ян Станевич, Александр Ханьков.

Зигмунт (Сигизмунд) Сераковский, которого позднее так любил Герцен, а Чернышевский сделал героем своего «Пролога» (под именем Соколовского), — Одно из самых обаятельных лиц в революционном движении шестидесятых годов

Сераковский был на двенадцать лет моложе Шевченко. Они не могли встретиться в Петербурге, куда Сераковский приехал из Житомира в 1845

году, когда Шевченко в Петербурге уже не было, но общие знакомые у них могли быть среди студентов Петербургского университета (Сераковский поступил на математический факультет университета), среди тайных польских революционных кружков молодежи.

При первой вести о революции в Европе двадцатидвухлетний Зигмунт ринулся в гущу долгожданных битв, но был задержан при попытке перейти нелегально западную границу России близ Почаева, на Волыни.

Затем — Петербург, Третье отделение и (совсем как у Шевченко) без всякого суда, просто по «высочайшей конфирмации», отдача в солдаты; «хотя, — глубокомысленно присовокупляло при этом Третье отделение, — улики к прямому обвинению нет, а сам он ни в чем не сознался, но тем не менее обстоятельства дела навлекают на него некоторое подозрение в намерении скрыться за границу...»

«Некоторое подозрение в намерении» — этого вполне достаточно для «милостивого» царского решения.

Так встретились в Оренбургском крае Тарас Шевченко и Сераковский.

Имени другого близкого Шевченко человека, Бронислава Залеского, не найти ни в многотомных старых и новых русских энциклопедиях, ни в общедоступной мемуарной литературе.

Воспитанник Дерптского университета, еще восемнадцатилетним юношей принадлежавший к тайной студенческой революционной организации, он рано познакомился с терминами «административная высылка», «надзор полиции» и т. п. В последний раз Залеский был арестован в начале 1846 года, и после двухгодичного «предварительного» заключения в Виленской тюрьме военный суд приговорил его к отдаче рядовым в Оренбургский отдельный корпус, где он был зачислен во 2-й батальон, стоявший в Оренбурге.

Когда Шевченко приехал с Арала в Оренбург для продолжения работы над материалами Аральской экспедиции, Залеского прикомандировали ему «в помощь для отделки гидрографических видов берегов Аральского моря» как «умеющего рисовать».

Позднейшие письма поэта к Залескому свидетельствуют о душевной искренности их братской взаимной симпатии. «Добрый мой друже! — писал Шевченко Залескому в 1853 году. — Получил я с твоим последним письмом сердцу милые портреты. Бесконечно благодарю тебя; я теперь как бы еще между вами — и слушаю тихие, задумчивые ваши речи. Если бы мне еще портрет Карла (Герна. — Л. Х.), тогда бы я имел все, что для меня дорого в Оренбурге...»

Круг людей, с которыми Шевченко в ссылке делил свои симпатии и

антипатии, мечты и разочарования, очень важен для понимания его интересов и стремлений в эти годы. Шевченко всегда, даже в самых суровых условиях ссылки, даже под угрозой самой страшной кары — духовного одиночества, — неизменно оставался человеком удивительной внутренней прямооты, а потому и высокой требовательности к людям.



Казахские дети-байуши Рисунок Т. Г Шевченко.



Государственный кулак. Рисунок Т. Г. Шевченко.

И если он говорил когда-нибудь о человеке с симпатией, то это всегда означало, что человек этот в чем-то самом главном был созвучен поэту, его строгому и взыскательному взгляду на жизненные пути и общественные обязанности.

Мы знаем, что Шевченко встречался в ссылке с Алексеем Николаевичем Плещеевым. Но вполне возможно, что они были знакомы еще по Петербургу: поступив в 1843 году в Петербургский университет, восемнадцатилетний Плещеев сразу же стал печататься в тогдашних журналах, посещал литературные вечера у Плетнева, Краевского, где бывал и Шевченко.

В 1846 году вышел первый сборник стихотворений Плещеева, в то время уже деятельного участника кружка Петрашевского. Помещенное в

этом сборнике стихотворение «Вперед! Без страха и сомненья — на подвиг доблестный, друзья!» стало революционным гимном молодежи, своеобразной марсельезой петрашевцев и близких к ним кругов.

Арестованный в 1849 году вместе с другими товарищами-петрашевцами, в январе 1850 года Плещеев «за злоумышленное намерение произвести переворот в общественном быте России» был отдан в солдаты, служил в разных батальонах Оренбургского корпуса (в Оренбурге, Уральске, Перовске).

Весной 1855 года Шевченко писал Плещееву (в ответ на неизвестное нам письмо): «Каждую строчку, каждое слово Вашего письма я принимал как слово брата, как слово искреннего друга... За то Вам сердечно благодарен. Поздравляя меня с Новым Годом, Вы желаете мне, как брат, всего лучшего, и особенно — чтобы вырваться из этой пустыни. Благодарю Вас!.. Из меня, теперь пятидесятилетнего старика, тянут жилы по осьми часов в сутки! Вот мои радости! Вот мои новости!.. Мне хотелось хоть малой радостью порадовать Вашу сострадательную душу; а рассказывать Вам о своих страданиях — значит заставлять Вас самих страдать. А у Вас и своего горя не мало...

Прощайте, мой добрый, мой незабвенный друже! С следующей почтой буду Вам писать больше...»

Одно это письмо, опубликованное самим Плещеевым в мае 1862 года на страницах украинского журнала «Основа», говорит о том, какой горячей была дружба двух ссыльных поэтов. Впоследствии Плещеев перевел на русский язык самые революционные стихотворения Шевченко. Некоторые из них были напечатаны в переводах Плещеева даже раньше, чем в украинских оригиналах, — он переводил их прямо с рукописи.

Сохранился любопытный рисунок друга Шевченко, художника Алексея Чернышева. На нем изображена в непринужденной беседе группа оренбургских политических ссыльных, среди них Тарас Шевченко, не в форменной шинели, как все остальные, а в темном штатском пальто с большим воротником: так он ходил тогда в Оренбурге. Рядом с Шевченко — Балтазар Колесинский. Поэт познакомился с ним еще в Орской крепости, и в Оренбурге они встретились как старые знакомые.

Там же изображен Людвиг Турно — племянник известного революционного деятеля 1830–1831 годов генерала Дембинского; отец Турно, полковник Зигмунт Турно, тоже принимал участие в ноябрьском восстании в Польше. Людвиг Турно был сослан в Оренбург рядовым в 1846 году.

В Оренбурге поэт снова получил возможность систематически читать

журналы, книги. Он доставал их с помощью друзей, мог пользоваться библиотекой штаба дивизии и незадолго перед тем организованной, быстро пополнявшейся городской публичной библиотекой.

Когда позже библиотекарем Оренбургской публичной библиотеки сделался Бронислав Залеский, Шевченко радостно поздравлял друга:

«Сераковский даже пишет мне, что ты оставляешь военное сословие и делаешься библиотекарем Оренбургской публичной библиотеки. Дал бы бог!»

И в другом письме, по этому же поводу:

«Лучше для тебя занятия я не мог бы придумать!»

Шевченко знакомится с последними статьями умершего в мае 1848 года Белинского, с «Записками охотника» Тургенева, с повестями Герцена («Доктор Крупов», «Сорока-воровка»), — все эти произведения печатались в журнале «Современник», который с этого времени особенно интересует Шевченко.

Сейчас поэт с новой глубиной осознает свое отношение к литературе критического реализма, к ее основоположнику — Гоголю. В письме к Репниной в марте 1850 года он восторженно отзывается о Гоголе как авторе «Мертвых душ».

«Вспомните! — пишет Шевченко. — Случайно как-то зашла речь у меня с Вами о «Мертвых душах», и Вы отозвались чрезвычайно сухо. Меня это поразило неприятно, потому что я всегда читал Гоголя с наслаждением... Меня восхищает Ваше теперешнее мнение и о Гоголе и о его бессмертном создании! Я в восторге, что Вы поняли истинно христианскую цель его! Да!.. Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалось познакомиться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком неоцененно, в личном знакомстве случайно иногда открываются такие прелести сердца, что не в силах никакое перо изобразить!..»

Беседы и чтение, составлявшие основное содержание собраний оренбургского кружка друзей-единомышленников, несомненно, включали не только легальную литературу. И если Шевченко на этих собраниях читал свои неопубликованные революционные стихи, в том числе и те, за которые подвергся ссылке, то и другие участники встреч, конечно, вносили свою лепту.

Вполне вероятно, что петрашевцы привезли с собой некоторые материалы из тех, что распространялись в Петербурге, — например, знаменитое письмо Белинского к Гоголю. Отзвуки этого письма можно увидеть в произведениях Шевченко.

В письме Белинского к Гоголю, которое Ленин считал одним из

лучших произведений бесцензурной демократической печати, Шевченко мог прочитать:

«Нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедуют ложь и безнравственность, как истину и добродетель... Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания... Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что Вы делаете? Взгляните себе под ноги — ведь вы стоите над бездною!.. В Вашей книге Вы утверждаете, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили...»

Что было для Шевченко ближе, понятнее, дороже этих горячих, гневных слов! Ведь и украинский поэт смело и последовательно выступал против кнута самодержавия, против лжи и безнравственности крепостного права. Ведь в своих обличениях он употреблял даже этот самый иносказательный образ — «византийство», то есть деспотизм и мракобесие:

Всё будут храмы воздвигать,
Да всё царя, пьянчугу злого,
Да византийство прославлять,
И не дождемся мы другого...

По-видимому, в кругу этих идей, этих социальных вопросов и протекали беседы оренбургских друзей.

Между прочим, Бронислав Залеский вспоминает, что Тарас Шевченко «говорил прекрасно по-польски, Мицкевича, Богдана Залеского, а отчасти и Красинского многие произведения знал на память... Я к нему писал всегда по-польски».

Свое отношение к польскому народу поэт выразил в известных строчках:

Вот так, поляк, и друг, и брат мой!
Несытые ксендзы, магнаты
Нас разлучили, развели, —
Мы до сих пор бы рядом шли.

Дай казаку ты руку снова
И сердце чистое отдай!..

Именно в ссылке еще больше укрепилось стремление Шевченко к единению поработанных народов во главе с русским народом.

Собрания оренбургского кружка Шевченко изобразил в стихотворении, обращенном к друзьям:

Запели мы и разошлись
Без горьких слез, без слова.
Сойдемся ли мы снова,
Чтоб снова песни полились?
Сойдемся, может... Но какими?
И где? И запоем о чем?
Не здесь и, верно, не такими!
И не такую запоем!
И здесь невесело певали, —
И здесь печально время шло,
Но как-то все-таки жилось —
Здесь мы хоть вместе тосковали...

Следует полагать, что не все стихи Шевченко этой зимы 1849/50 года сохранились: поэт имел привычку писать на разных клочках бумаги, на конвертах получаемых писем, даже прямо на стенах комнаты.

Затем от времени до времени он переписывал начисто более законченные стихи в свою тетрадь. Такой тетрадью перед ссылкой поэта был альбом, озаглавленный «Три года». В ссылке, на протяжении первых четырех лет (1847, 1848, 1849, 1850 годы), Шевченко набело переписывал свои стихи в маленькие «захаливные» книжечки.

Но в последнюю из этих миниатюрных тетрадочек поэт уж не успел переписать все сочиненные им в Оренбурге стихи: эта зима кончилась, как мы увидим, новым неожиданным арестом.

В Оренбурге Шевченко сочинил небольшую поэму «Петрусь», возможно, навеянную рассказами уголовных ссыльных, с которыми поэту приходилось встречаться в последние годы. Судьба юноши, самоотверженно принявшего на себя вину за преступление беззаветно любившей его женщины, служит для Шевченко аргументом к утверждению

высокого и светлого чувства:

Молите господу, дивчата,
Чтоб не могли вас так просватать
Чтоб замуж мать не отдала
За генерала, за палаты.
Насильно вас не продала
Влюбляйтесь, милые, весною!
На свете есть кого любить
И без корысти
Молодою
Пренепорочною, святою
И в тесной хате будет жить
Любовь простая ваша, будет
И средь могильной темноты
Стеречь покой ваш.

В эту оренбургскую зиму поэтом написано его известное стихотворение «Когда б вы знали, господу...».

Здесь он опять рисует печальную картину жизни народа:

Такие, боже наш, дела
У нас в раю, страшней не знаю
На праведной земле твоей!
Ад сотворили мы на ней
И чаем неземного рая!
В ладу мы с братьями живем,
Руками братьев нивы жнем,
Слезами нивы поливаем.

Шевченко снова выступает против поповских побасенок о «небесном утешении»; гневно обличает обманувшего народ «византийского бога»:

Быть может, сам на небеси
Смеешься, отче наш, над нами,
Совет держа тайком с панами,
Как править миром?.

...Нет, боже, не хвала, не радость,
А кровь, да слезы, да хула,—
Хула всему, всему! Не знают
Святого люди ничего! —
Уже — ты слышишь? — проклинаяют
Тебя, владыка, самого!

XV. ОПЯТЬ ТЮРЬМА

Новый удар произошел по случайному поводу. Шевченко, защищая честь Герна, повздорил с молодым прапорщиком, недавно присланным из столицы в Оренбург. Прапорщик не остановился перед самой подлой мезьтью: он донес на Шевченко, что тот, вопреки «высочайшей воле», ходит в партикулярной одежде, занимается рисованием и сочинением стихов.

Донос был направлен начальнику края, командиру корпуса, военному губернатору Обручеву.

Обручев, как известно, и раньше осведомлен был обо всем изложенном в доносе (может быть, за исключением сочинения стихов). Тем не менее, а скорее именно вследствие такой осведомленности он очень испугался: испугался прежде всего, что кляузник прапорщик мог написать такой же донос и в Петербург, испугался ответственности за назначение ссыльного на должность официального художника в Аральской экспедиции (это при высочайшем-то запрещении рисовать!), испугался и, как водится, первым делом стал искать, на кого бы свалить ответственность.

Донос был подан в «страстную субботу», накануне пасхи. В тот же день об этом узнал Герт, потому что на него первого набросился в гневе Обручев, знавший, что Шевченко живет у Герна на квартире. Герт поехал домой, чтобы предупредить Шевченко об опасности. (Они жили в Старой слободке, в нескольких километрах от Оренбурга по Сакмарской дороге.) Но дома Шевченко не было.

Герт стал искать его по всему городу и нашел у Федора Лазаревского. Все тотчас поехали на квартиру, чтобы пересмотреть и сжечь опасные бумаги. Тут Шевченко передал Гертну на сохранение свои маленькие «захалавные» книжечки со стихами.

Думал ли в это время Тарас Григорьевич, что снова получит их в руки только спустя восемь лет!..

Наспех пересмотрели рукописи, начатые рисунки и портреты, Федор Лазаревский и Шевченко бросали в огонь драгоценные работы, письма.

— Жги! — раздавалось в напряженной тишине.

Но вот жечь было уже нечего. Отправились назад, в город.

Когда Шевченко с Лазаревским въезжал в Оренбург, в Сакмарских воротах их встретили полицмейстер, плац-адъютант и другие должностные лица, ехавшие на квартиру к Гертну для обыска у Шевченко.

Обыск, естественно, дал не много: несколько уцелевших писем от разных знакомых да две тетради с фольклорными записями и рисунками, уже раз побывавшие в полицейских руках (еще в 1847 году) и возвращенные Шевченко.

В тот же вечер все отобранные у Шевченко бумаги были доставлены к Обручеву, который сразу обратил внимание на недавно полученное поэтом письмо из Петербурга, от Сергея Левицкого:

«Вот уже третий месяц, — писал Левицкий 6 марта 1850 года, — как мы не виделись с вами, мой дорогой земляк! Словно третий год с тех пор пошел... Я еще до сих пор не виделся ни с Остроградским, ни с Чернышевым, у которых у каждого был раз по пять и ни разу не заставал дома. Доехав до Москвы, письмо Ваше к Репниной я отправил и пошел к Бодянскому, насилу достучался, да зато, как сказал, что я от Вас и еще имею письмецо, так с ним случилось что-то такое, будто он слышит о брате... Долго говорили об Оренбурге... Виделся на этих днях с Бутаковым; сказал он мне, что начал дело...»

Затем, сообщив о своем знакомстве с магистром математики из Харькова, Николаем Алексеевичем Головко, Левицкий добавлял:

«Как сойдемся, так первое слово его о Вас. Он сотрудник некоторых журналов; человек очень умный, жаль только, чтобы своею прямою да не сделал бы того, что упрячут и его куда-нибудь, потому что уже и сейчас он под надзором полиции...»

И далее восторженно восклицал:

«Много здесь есть таких, что вспоминают Вас, а Головко говорит, что Вас не стало, а вместо того стало больше людей, даже до тысячи, готовых стоять за все, что Вы говорили и что говорят люди, для которых правда — это такая громкая и великая истина, что хоть бы провозглашать ее и при самом Карле Ивановиче, так не испугались бы...»

Карлом Ивановичем в это время в передовых кругах называли никого иного, как царя Николая I. Это выражение встречается и в переписке петрашевцев и у самого Шевченко.

Поэт не был знаком с харьковским математиком Головко, о котором писал ему Левицкий; но слово Шевченко, его революционные призывы действительно продолжали и после ссылки поэта распространяться повсюду — и не только на Украине, но и в Петербурге и в Москве...

В ночь с 22 на 23 апреля, по обычаю, разговлялись после заутрени в доме военного губернатора почти все офицеры штаба, чиновники управления краем и прочие. Обручев был заметно не в своей тарелке. К другу Шевченко — Александрейскому он подошел с самым свирепым

видом:

— Аа-а, так человечеству хочется лучшего, а им отвечают пушками двадцатичетырехфунтового калибра?!

Смущенный Александрийский даже не сразу понял, что разгневанный губернатор приводит ему слова из его личного письма к Шевченко с сообщением о европейской революции 1848 года. Но начальнику края нечего было стесняться собственной гнусной роли читателя чужой корреспонденции — таковы были не только его права, но и обязанности.

Не менее грубо держал себя в этот вечер грозный корпусный начальник и по отношению ко всеми уважаемому Карлу Ивановичу Герну. Зато присутствующих поразило, что военный губернатор прямо заискивал перед каким-то безусым прапорщиком: то возьмет его под руку и с улыбкой о чем-то спрашивает, то подведет к столу и любезно угощает.

А потом, словно оправдываясь, говорил Герну, уже обо всем осведомленному:

— Конечно, он мерзавец, но... что же будешь делать? Боюсь, что этот негодяй и на меня послал донос прямо шефу жандармов. А в Петербурге у меня нет никого за плечами: я, как и Шевченко, человек-то маленький...

На следующий день, 23 апреля 1850 года, Шевченко был посажен на главную гауптвахту.

Четыре дня праздников делом поэта никто не занимался: только 27 апреля Обручев отдал распоряжение о возвращении Шевченко в Орскую крепость, в батальон № 5. Но с отправкой его приказал повременить до «особого распоряжения». Он явно выжидал: не обнаружатся ли еще какие-нибудь доносы подлого прапорщика?

Но все было тихо. Из Петербурга никаких сигналов не поступало. Шевченко просидел три недели в гарнизонной тюрьме. 12 мая корпусный командир распорядился освободить арестованного и по этапу отправить его в Орскую крепость.

Путь в Орск из Оренбурга, около трехсот верст, Шевченко проделал пешком, в составе этапной команды.

А по прибытии в крепость началась для Шевченко обычная солдатская жизнь в уже знакомом ему батальоне, которым, как и в 1847 году, командовал тот же майор Мешков.

Но вслед за Шевченко прибыло предписание Обручева об усилении за ссыльным поэтом надзора: «Поручить, сверх батальонного и ротного командиров, иметь надзор благонадежному унтер-офицеру и ефрейтору, которые должны строжайше наблюдать за всеми его действиями, и если что-либо заметят предосудительное или неповиновение, — то доводили бы

о том в тот же час до сведения батальонного командира, который обязан немедленно мне донести, надписывая на конвертах: «секретно» и «в собственные руки».

Кроме того, Обручев еще более усложнил переписку поэта, приказав, «чтобы к рядовому Шевченко отнюдь не могли прямо доходить письма и от него другим лицам пересылаться, ибо все таковые письма должны поступать на предварительное мое рассмотрение».

Наконец спустя месяц после доноса прапорщика, обыска и ареста Шевченко 23 мая Обручев отправил в Петербург рапорт военному министру обо всем происшедшем. Уже в этом рапорте корпусный командир основательно кривил душой, когда писал:

«Ныне мне сделалось известным, что будто бы означенный рядовой Шевченко ходит иногда в партикулярной гражданской одежде, занимается рисованием и составлением стихов».

К рапорту были приложены и отобранные у Шевченко письма.

Рапорт был получен в Петербурге 7 июня. Военный министр князь Чернышев тотчас же доложил об этом деле царю. Николай, никому не доверявший, кроме жандармерии, в тот же день распорядился передать все материалы в Третье отделение.

Граф Орлов отнесся к новому «делу» с необыкновенным рвением. Еще даже не получив из военного министерства обещанных материалов, Орлов 8 июня нетерпеливо писал царю: «Ваше величество изволили мне вчерась говорить о деле Шевченко в Оренбурге, которое я получу от военного министра, но я его еще не получил... Я, как рассмотрю бумаги от военного министра, составлю о сем деле доклад Вашему величеству, и, к сожалению, нахожу, что, вероятно, придется несколько лиц подвергнуть допросу, а может статья, и аресту...»

Предусмотрительность, как видим, исключительная: начальник Третьего отделения еще не получил дела, бумаг никаких не видел, но заранее «находит», что ряд лиц придется, «к сожалению», арестовать.

Нужно вспомнить, что всего несколько месяцев минуло с того дня, как была разгромлена тайная организация Петрашевского. «Вот и у нас заговор! — писал тогда в своем интимном дневнике Дубельт. — Слава богу, что вовремя открыли...»

При первом же знакомстве с бумагами жандармы обратили внимание на письмо Левицкого, намекавшее как будто бы тоже на существование большой организации, а то и заговора.

Впрочем, сам Обручев в своем рапорте постарался выделить и особо подчеркнуть важность этого письма: ведь в этом случае на второй план

отодвигалось не только партикулярное платье, а и Аральская экспедиция, и портрет Матильды Петровны, жены начальника края, рисованный «конфирмованным» рядовым Шевченко в официальной резиденции военного губернатора.

По докладу князя Чернышева Николай приказал «рядового Шевченко подвергнуть немедленно строжайшему аресту и содержать под оным...» 8 июня этот приказ был отправлен в Оренбург. Получив его 24 июня (две недели — это был нормальный срок хождения даже правительственной почты из Петербурга в Оренбург!), Обручев отдал приказ батальонному командиру Мешкову:

«Состоящего во вверенном Вам батальоне рядового Тараса Шевченко немедленно подвергнуть строжайшему аресту в гауптвахте крепости Орской, впредь до особого от меня предписания».

Так в конце июня 1850 года Шевченко был снова взят под стражу.

Одновременно следствие по делу Шевченко было начато и в самом Оренбурге. Для этого назначили полковника Чигиря, командовавшего 2-м батальоном.

1 июля Чигирь прибыл в Орскую крепость и предложил свои «вопросные пункты» Шевченко и его батальонному командиру. А 30 июня, когда Чигирь еще находился в пути, дежурный генерал Главного штаба уже сообщал Обручеву не только результаты быстрого, «расследования», проведенного Третьим отделением, но и царское решение о самом Шевченко, состоявшееся еще 24 июня!

Впрочем, в Петербурге за эти две-три недели произошли совершенно неожиданные события.

В поисках нового «тайного общества» Орлов и Дубельт обратились с докладом к царю, приводя «угрожающие» цитаты из письма Левицкого («много есть т>т наших», «много есть здесь таких», «есть до тысячи человек, готовых стоять за все») и требуя немедленного ареста коллежского секретаря Левицкого и упоминаемого в его письме магистра Головки.

На подлинном появилась «собственною его величества рукою» карандашная резолюция: «Исполнить».

Доклад был составлен 13 июня. Резолюция получена 14 июня. Распоряжение Дубельта об аресте Левицкого и Головки отдано 15 июня. 16 июня, в одиннадцать часов дня, Сергей Левицкий уже был доставлен в каземат Третьего отделения и помещен в камере № 6.

А с Николаем Головкой произошло следующее. Когда жандармы в восемь часов утра вошли в его квартиру во втором этаже флигеля дома купца Форстрема (по Мало-Конюшенной улице), им отворил сам Головка:

прислуги у него не было. Жандармский полковник сразу же объявил:

— По высочайшему повелению, вы арестованы.

В поведении Головки не было, однако, ни малейшей растерянности. Он спокойно сказал:

— Сейчас я оденусь.

И вышел в соседнюю комнату. Жандарм прошел за ним. Это была узкая, полутемная спальня с одной простой кроватью и маленьким столиком у стены.

Опытным глазом полковник окинул комнатку и убедился, что «бумаг» здесь нет никаких. А жандармы были уже за последние годы приучены к тому, что самый страшный враг, жестоко преследуемый императором, — это всевозможные бумаги, писанные и печатные, за которые людей одевают в арестантские халаты, заковывают в кандалы, вешают, расстреливают, ссылают на каторгу и отдают в солдаты.

Полковник возвратился в первую комнату и принялся по-хозяйски рыться в письменном столе. Среди конспектов лекций по физике, математике, философии и другим наукам жандарм обратил внимание на литографированную тетрадь с текстом философского содержания и с надписью в нескольких местах: «Н. Момбелли... Н. Момбелли... Н. Момбелли...»

Фамилия эта была хорошо памятна жандармскому полковнику, состоявшему, как он сам о себе с гордостью писал, «по особым поручениям при господине шефе жандармов», ведь Момбелли был одним из крайних радикалов в тайном обществе Буташевича-Петрашевского.

Вместе с Петрашевский, Достоевским, Спешневым Момбелли был одет в смертный саван и с завязанными глазами выслушал на Семеновском плацу все слова команды к расстрелу, кроме последнего «пли!». Затем им была объявлена замена смертной казни рудниками, солдатчиной...

Ныне Момбелли находился на каторге в Александровском заводе. Это он сочинял возмутительные, проникнутые безбожием и революционными воззрениями статьи, переписывал во многих экземплярах и распространял «Письмо к Гоголю» покойного литератора Белинского, в своем дневнике писал:

«Деспотизм враждебен всякому умственному образованию и всякому истинному праву».

Так, значит, этот Головка с ним знаком!

В воображении жандарма уже рисовались радужные картины: он открывает новое тайное общество, связанное и с сосланными петрашевцами и с злоумышленным малороссийским поэтом, загнанным в

Оренбургские степи...

Как вдруг из спальни выскочил квартальный, за ним Головки с пистолетами в руках. Головки выстрелил, но промахнулся. Жандармы выбежали в прихожую, а Головки захлопнул за ними дверь.

После этого за запертой дверью прозвучал еще один выстрел. А когда дверь взломали, Головки лежал мертвый на полу между потертым диваном и дешевым мещанским трюмо, возле него валялись пистолеты, и кровь густой черной лужей стояла под запрокинутой головой.

Со смертью Головки все дело внезапно приобретало новый оборот. «Смерть Головки положила преграду к совершенному раскрытию дела», — признавался начальник Третьего отделения. Царь нерасторопностью своих жандармов был до крайности раздражен.

Неожиданно потеряв нить для дальнейших разысканий, Орлов растерялся. Еще целую неделю он, сам проводя допросы, пытался «выдавить» какие-нибудь сведения из Сергея Левицкого.

По несколько раз обыскивались квартиры, допрашивались «прикосновенные» лица.

Все напрасно!..

Теперь Орлову уже невыгодно было настаивать на существовании тайного общества. И он докладывал царю: «Настоящее дело не открывает никакого преступления, и решительно могу сказать, что ничего не вижу в нем политического».

Самоубийство Головки, «более всего придававшее важность настоящему делу», Орлов теперь объясняет раздражительным характером и болезненным состоянием магистра, который «был весьма беден, тяготился жизнью и углублялся в мысли о смерти», в результате чего «ум его оказался в расстройстве, и знакомые считали его не иначе, как сумасшедшим».

О Левицком шеф жандармов отзывался как о человеке, который «не обнаруживает в себе больших способностей и ничего, что бы заставляло предположить в нем опасного человека». И делал общий вывод из всего «дела», что «нет никакого основания полагать, чтобы Головки принадлежал к какому-либо обществу или приготавлился к каким-либо преступным действиям».

Надо сказать, что вывод этот был сделан прямо вопреки показаниям Левицкого о горячем сочувствии Головки европейской революции 1848 года и его симпатиях к Французской республике; вопреки показаниям студента Григория Данилевского о бывавших у Головки собраниях, на которых читались вслух и обсуждались какие-то книги и рукописи; вопреки показаниям сестры Левицкого, Настеньки, что княгиня Голицына отказала

Головко, дававшему ей уроки математики, потому что он высказывал революционные суждения; вопреки, наконец, бумагам самого Головко, свидетелевавшим, по отзыву жандармов, что тот «вникал в настоящее направление идей в Европе...»

Среди бумаг Головко, между прочим, обнаружены были отрывки перевода какой-то стихотворной драмы. В одном из этих отрывков жандармы прочитали:

Тьер. Свобода! Как странно звучит это слово!
Мне дико, мне чуждо, мне странно оно!
Мне вечно при нем трепетать суждено...
Жан Журне. Смелей! На свет! Ты не умрешь
В народной и великой жизни...
Свобода! Если б мне с тобой соединиться
На зло дряхлеющему злу!..

Но теперь уже Орлов не хотел видеть в этих материалах «ничего политического»: так диктовали ему его карьеристские соображения, а с иными он попросту не был знаком.

Потому-то в своем заключительном докладе, составленном 23 июня, он убеждал царя, что «по тщательном, самом внимательном разборе наималейших обстоятельств убедился в том, что все это дело, не заключая в себе ничего политического, есть только сплетение различных, весьма обыкновенных событий, не ведущих к опасению насчет общей безопасности».

И обвинения, предъявленные Тарасу Шевченко, Орлову пришлось по возможности смягчить. В том же докладе царю шеф жандармов подчеркивал: «Письма, найденные у Шевченко, от княжны Репниной, Лазаревских, Чернышева и других лиц доказывают, что все они принимали участие в Шевченко, действительно, потому только, что он малороссиянин; весь предмет переписки их заключался в одном том, что они желали ходатайствовать об облегчении его участи; из них княжна Репнина еще прежде несколько раз писала об этом и ко мне, а художник Чернышев намерен был явиться с такою же просьбою к генерал-лейтенанту Дубельту; следовательно, все они действовали в этом случае законным путем, и то сомнение, не существует ли между ними тайное общество, совершенно рассеивается...»

О бумагах, в том числе стихах и рисунках, отобранных у Шевченко,

Орлов отозвался в докладе, что они «не заключают в себе ничего преступного», присовокупив: «Вообще бумаги эти не обнаруживают, чтобы Шевченко продолжал прежний образ мыслей или бы писал и рисовал на кого-либо пасквили».

Доклад был 24 июня прочитан Николаем, который на полях, против слов о том, что Шевченко «ходил иногда в партикулярном платье», написал карандашом: «В этом более виновно его начальство, что допускало до сего; о чем сообщить князю Чернышеву, для должного взыскания с виновных».

Так теперь «невинно» оборачивалось все дело, тогда как для нас очевидно, что Головки в самом деле был связан с петрашевцами и, очевидно, вместе с ними использовал произведения и судьбу Шевченко в своей агитации против правительства.

Еще не успел подполковник Чигирь добраться от Оренбурга до Орской крепости, а вслед ему в Оренбург летела бумага из военного министерства, за № 580, от 30 июня 1850 года, в которой предлагалось, если «более ничего не будет обнаружено, то достаточно рядовому Шевченко вменить в наказание содержание под арестом...»

Что же «обнаружило» производившееся Чигирем расследование в Орской крепости?

Прежде всего Шевченко предъявили обвинение в том, что он вел переписку (независимо от содержания этой переписки). Так, несмотря на устное разрешение Дубельта «писать обыкновенные письма», поэту приходилось расплачиваться за неясность царского приговора с его изуверским запрещением «писать и рисовать».

За то, что Шевченко рисовал, ответственности более всего боялся сам корпусный командир Обручев, он и свалил всю вину на... командира 5-го батальона майора Мешкова.

Генерал-от-инфантерии Обручев не постеснялся в своем распоряжении от 5 сентября 1850 года записать: «Командующему батальоном № 5 майору Мешкову за несообщение им в батальон № 4 последовавшей над рядовым Шевченко высочайшей конфирмации, что было причиною продолжения получения рядовым Шевченко писем и отправления на них ответов в бытность его в Раимском укреплении и Оренбурге и составления на Аральском море нескольких гидрографических видов, — сделать строгий выговор».

С майора Мешкова приказано было даже взыскать издержки по командированию подполковника Чигиря в Орскую крепость для производства следствия в сумме двадцати трех рублей шестидесяти семи копеек!

«Отыскал» Обручев и виновника ношения Тарасом Шевченко неформенной одежды; он 6 ноября докладывал в Петербург, в военное министерство: «Относительно допущения рядового Шевченко ходить иногда в партикулярном платье... то вся вина должна быть отнесена на капитан-лейтенанта Бутакова, который находится ныне в 9-м флотском экипаже».

Морским министром Меншиковым 9 декабря был Бутакову «за упущение по наблюдению за рядовым Шевченко сделан строжайший выговор».

По указанию военного министра было отдано 5 сентября распоряжение «рядового Тараса Шевченко, по освобождению из-под ареста, перевести на службу, под строжайший надзор ротного командира, в одну из рот Оренбургского № 1 батальона, расположенных в Новопетровском укреплении».

Впрочем, все усердие Обручева не спасло его: в том же году он был снят со своей должности, и начальником края снова был назначен В. А. Перовский.

Штаб батальона № 1 и две роты, 1-я и 2-я, находились в Уральске; 3-я и 4-я роты, куда перевели Шевченко, были размещены на полуострове Мангышлак, в Новопетровском укреплении.

Путь Шевченко лежал из Орской крепости через Оренбург, Илецкую Защиту — в Уральск. Это около шестисот верст.

Бронислав Залеский писал 13 октября 1850 года из Оренбурга Аркадию Венгжиновскому: «Десять дней тому назад художник (Шевченко) посетил меня — весь окровавленный, потому что его разбили лошади в Губерлинских горах и чуть не убили. Провел он здесь, в Оренбурге, несколько часов и уехал в Новопетровское укрепление, ворота которого ему теперь откроют разве что сами ангелы...»

В Уральск Шевченко прибыл только в начале октября.

Уже наступала глубокая осень. Оставались считанные дни навигации по Каспийскому морю, а единственный путь к Мангышлаку — лодкой из Гурьева-городка (или из Астрахани). Корпусный командир недаром еще в начале сентября требовал, чтобы Шевченко был отправлен в Новопетровское укрепление «немедленно, дабы не упустить навигации сего года».

Между тем от Уральска до Гурьева-городка на Каспийском море — еще почти пятьсот верст; Шевченко был отправлен дальше в сопровождении унтер-офицера Булатова.

Они ехали из Уральска на юг, к Каспию...

О чем думал в это время Шевченко?

Может быть, в его уме звучали еще строки, сложившиеся на гауптвахте в Оренбурге (или в Орской крепости):

Уже давно томлюсь в неволе
Я, как преступник, под замком.
На торный путь смотрю, на поле
Да на могильный крест. На нем
Сидит ворона. Из острога
Не вижу дальше...
...Такая, знать, судьба моя!
Сижу один и все гляжу я
На крест высокий из тюрьмы
То погляжу, то повторю я
Слова молитвы, и тоска,
Как убаюканный ребенок,
Слегка притихнет. И тюрьма
Как будто шире, запеваet
И плачет сердце...

Последние неприятности произвели на поэта ошеломляющее впечатление. Снова тюрьма, снова «вопросные пункты» следователей, окрики и угрозы...

Теперь Шевченко еще и еще вспоминал всю свою жизнь, своих друзей и врагов, свои радости и горе...

Но не в чем было упрекнуть себя, и он хорошо понимал: если бы пришлось начинать все сызнова, он опять поступал бы точно так же.

«Неисправимый... Неисправимый...» — с горькой иронией, но и со светлым чувством думал Шевченко.

Великого поэта-борца не могла одолеть казарменная лапа «неудобозабываемого медведя».

Российский царизм рассчитывал, что Шевченко в ссылке будет сломлен, смирится.

Этого, однако, не случилось.

Десятилетняя ссылка была для Шевченко тяжелой карой и каторжной мукой, но она закалила революционный гнев поэта, обогатила его жизненный и творческий опыт, расширила круг его социальных и художественных воззрений.

Пребывание Шевченко «по-за Уралом» явилось для него новой жизненной школой.

В ссылке обострилось восприятие поэтом многообразных явлений действительности. Ни на один день не прекращался в самых тяжелых условиях тюрьмы и солдатчины процесс духовного роста гениального поэта и мыслителя.

Клеветники из враждебного Шевченко буржуазно-националистического лагеря пытались изобразить дело так, будто «уже только огарок шевченковского таланта возвратился из Азии», — как писал впоследствии Пантелеймон Кулиш.

Другой буржуазный исследователь, Александр Конисский, автор объемистой биографии Шевченко (1898 г.), заявлял в этой своей работе: «В Новопетровск унтер-офицер Булатов привез на лодке талант еще свежий, живой; из Новопетровска через семь лет на лодке же вывезен талант, уже почти совсем потухший...»

Ярким и убедительным опровержением этой буржуазно-националистической клеветы служат все поэтические и прозаические произведения Шевченко, созданные им в годы изгнания и по возвращении из ссылки, а также его замечательный «Дневник», начатый еще в Новопетровском укреплении; многочисленные его рисунки и портреты; наконец, переписка этих лет, сохранившаяся, к сожалению, далеко не полностью.

Всюду мы видим пламень непрерывно развивающегося творческого гения, не меркнущего, а крепнущего под ударами жестокой действительности; всюду горит и стремится в битву могучая революционная энергия непримиримого борца, светится вдохновенная и пронзительная мысль.

...В Гурьев Шевченко с Булатовым прибыли через четыре дня после выезда из Уральска — 12 октября. И на следующий день, в холодную, штормовую осеннюю погоду, на почтовой лодке отплыли на Мангышлак.

Небо хмурилось, дул пронзительный ветер. Начиналась новая, самая тяжкая пора в тяжком изгнании поэта.

Но ничто не могло сломить его веру в лучшее завтра.

Проходя по единственной улице Гурьева-городка, Шевченко поднял с земли сломанную кем-то, но еще совсем свежую ивовую ветку.

Он вез ее с собой на почтовой лодке в новое место изгнания: живую ветвь дерева — в пустыню забытого богом полуострова на каменистом, суровом берегу Каспия...

XVI. ФОРТ НАД КАСПИЕМ

Почтовая лодка, на которой Шевченко 17 октября 1850 года приехал в Новопетровское укрепление, уже не смогла возвратиться в Гурьев-городок: в этом году очень рано прекратилась навигация, унтер-офицеру Булатову пришлось зазимовать на Мангышлаке; в Уральск он возвратился только следующей весной.

Шла четвертая осень в ссылке. Позади и Оренбург, и Орск, и Раим, и Кос-Арал, степь и море, тесный кружок друзей и тюремная камера, наполненная ворами и бродягами.

Поднятую в Гурьеве ивовую ветку Шевченко по приезде в Новопетровское укрепление воткнул в землю на гарнизонном огороде как первую вежу долгих лет на новом месте.

В Новопетровском укреплении Шевченко писал:

Считаю в ссылке дни и ночи —
И счет им теряю.
О господи, как печально
Они уплывают!
А года плывут меж ними,
И тихо с собою
Доброе они уносят
И уносят злое!..
В болотах тусклыми струями,
Меж камышами, за годами
Три года грустно протекли;
Всего немало унесли
Из горницы моей унылой
И морю тайно обрекли;
И море тайно поглотило
Мое не золото-серебро, —
Мои года, мое добро...
Пускай унылыми струями
Текут себе меж камышами
Года невольничьи... А я!
Таков обычай у меня!

И посижу, и погуляю,
На степь, на море погляжу,
Былое вспомню, напевая,
И в книжечке вовсю пишу
Как можно мельче. Начинаю.

Чрезвычайно тяжела была для Шевченко первая зима, 1850/51 года, в Новопетровском укреплении.

Угнетенный последним «процессом» и новой ссылкой, сопровождаемый грозными предписаниями о новом усилении надзора, Шевченко провел эту зиму в крайне безотрадном состоянии.

Командир 2-го полубатальона (то есть 3-й и 4-й рот), расположенного в Новопетровске, штабс-капитан Потапов был человеком черствым и грубым. 6 нем его сослуживец по Новопетровскому укреплению Егор Косарев рассказывает:

— Не любили его даже офицеры, а уже про роту и про Шевченко и говорить нечего: они просто его ненавидели! Донимал Потапов Шевченко не тем, что не делал для него исключений или послаблений, а всякими мелочами да просто-таки и ненужными придирками, — он будто бы насмеялся над человеком... То, бывало, ни с того ни с другого начнет у него выворачивать карманы, чтобы посмотреть, нет ли у него там карандаша либо чего писаного или рисованного. То станет издеваться над ним за не совсем громкий и солдатский ответ на вопрос или за опущенные при этом вниз глаза и т. п. Но больше всего он изводил Тараса требованием тонкой выправки, маршировки и ружейных приемов, которые составляли тогда идеал солдатского образования...

Вот в такие минуты Шевченко и восклицал:

— Лучше было бы мне или совсем на свет не родиться, или умереть поскорей!..

Сам Шевченко вспоминает: «С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в бронь и являлся пред хмельно-багровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах ружейных приемов и в заключение выслушать глупейшее и длинейшее наставление о том, как должен вести себя brave солдат и за что он обязан любить бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора... Гнусно! Отвратительно! Дождусь ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю, потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие».

К Шевченко, тотчас по прибытии в Новопетровское укрепление, был приставлен особый «дядька» из нижних чинов, на которого и возложили обязанность неотступно следить за «поведением» политического преступника.

Ежедневно Шевченко был свидетелем грубого унижения человеческого достоинства. А ведь его окружали не «государственные преступники», а вчерашние землепашцы, отбывавшие обыкновенную рекрутскую повинность. В николаевской армии солдаты не считались людьми.

Помощником командира роты, а затем и командиром одной из рот, расположенных в Новопетровском укрепении, был поручик Обрядин. Исполняя обязанности казначея, этот Обрядин систематически воровал деньги, присылаемые солдатам из дому. Несмотря на то, что негодяя в этом не только постоянно подозревали, а иногда и уличали, он все как-то выходил сухим из воды.

В одной роте с Шевченко служил рядовой Скобелев, из беглых крестьян Херсонской губернии, человек характера смелого и непокорного. За этот характер Шевченко и полюбил Скобелева, который к тому же пел удивительно просто и выразительно народные песни.

«Тече річка невеличка з вишневого саду», — выводил, бывало, прекрасным, мягким тенором молодой солдат, и эта песня переносила поэта на берега Днепра, на волю, на его милую родину.

«Я никогда не забуду, — пишет Шевченко, — этого смуглого полунагого бедняка, штопавшего свою рубаху и уносившего меня своим безыскусственным пением так далеко из душевной казармы...»

Этого-то Скобелева взял к себе в денщики поручик Обрядин, когда был назначен командовать ротой, отправлявшейся из Новопетровска в Уральск. В Уральске Скобелев как-то узнал, что поручик получил для него пакет с десятью рублями и присвоил деньги себе; Скобелеву попал в руки только пустой конверт с пятью сургучными печатями.

И солдат не стерпел. Он явился к «отцу-командиру» с конвертом в руках и потребовал вернуть ему похищенные деньги. Обрядин, недолго думая, ударил Скобелева по лицу. Но солдат тоже ответил поручику увесистой пощечиной.

Уличенный офицер, может быть, сам и замял бы дело, да при этом случились свидетели. Скобелев был посажен под арест и предан военному суду «за оскорбление действием офицера».

Хотя суд и подтвердил, что поручик Обрядин действительно обокрал Скобелева и офицеру было приказано «подать в отставку», тем не менее

рядовой, осмелившийся вступить за свою честь, подлежал несравненно более строгому наказанию: Скобелева прогнали сквозь строи двух тысяч шпицрутенов и сослали на семь лет в арестантские роты в Омский батальон.

Шевченко очень больно пережил трагическую историю Скобелева. А подобных историй случалось кругом немало...

Дружба с солдатами согревала душу поэта.

С первых же месяцев пребывания в Новопетровске Шевченко подружился со старым солдатом-земляком из-под Звенигородки, Андреем Обеременко. С виду суровый и неприветливый человек, он на самом деле обладал нежной и ласковой душой, очень любил детей, а «это, — замечает Шевченко, — верный знак сердца кроткого, незлобивого. Я часто, как живописец, любовался его темно-бронзовой, усатой физиономией, когда она нежно льнула к розовой щечке младенца. Это была одна-единственная радость в его суровой, одинокой жизни».

Обеременко с большой симпатией относился и к Шевченко. Они вместе гуляли в окрестностях укрепления, в прилегающих балках и скалах, которые Тарас полюбил за их живописность. Когда Обеременко был переведен из госпитальных служителей в огородники и поселился на гарнизонном огороде, здесь, в шалаше, ссыльный поэт часто проводил с ним время.

Но эту возможность получил Шевченко лишь спустя несколько лет. А в первое время он должен был жить в общих казармах.

Длинные бессонные ночи поэт напролет просиживал на крыльце, глядя на усыпанное звездами и редко закрываемое облаками небо.

Новопетровское укрепление было основано на полуострове Мангышлак в 1846 году — на возвышающейся в нескольких километрах от моря известняковой скале ¹².

Егор Михайлович Косарев, сам уроженец Оренбурга, впоследствии командир роты Шевченко, служил в Новопетровском укреплении от самого его основания. Он в 80-х годах рассказывал известному революционному деятелю Николаю Новицкому (другу Шевченко, Чернышевского, Сераковского), как текла в первые годы жизнь в Новопетровске:

— Мало-помалу попривыкли и мы к нашему, как верно называли его солдатики, «сибирному» Новопетровску. Пообстроились, пообзавелись, поприладились кое-как... Понаезжали туда кое-какие и купчики и пооткрыли лавочки с разными товарами и даже погребок с иностранными винами... Стали мы получать, хоть и не очень-то исправно, «Русский

инвалид», «Пчелку» (то есть «Северную пчелу». — Л. Х.) и даже тогдашние журналы «Отечественные записки» и «Современник» в складчину, разумеется. А кто стал привозить с собою и разные другие кое-какие книжки...

Укрепление, огороженное стеной, имело около километра в длину и с полкилометра в ширину. Здесь были расположены казармы, несколько офицерских флигелей, комендантский дом со львами, высеченными (еще в 1846 году) неизвестным скульптором, провиантский склад, госпиталь и другие сооружения; наконец — небольшая церковь.

Под скалой, на которой высилось укрепление, раскинулись мазаные и глинобитные постройки поселка, кибитки кочевых казахов, лавки, баня. В стороне, примерно в полумиле от укрепления, прямо напротив его главных ворот, лежал тот самый гарнизонный огород, на котором затем был сооружен комендантский летний дом, а позднее разросся сад, носящий и поныне имя Шевченко.

На этом огороде поэт поздней осенью 1850 года воткнул ивовую палку; а весной следующего года огородник пришел в укрепление и сказал ему, что палка пустила ростки.

«Я ну ее поливать, — писал Шевченко художнику Осипову через пять лет, — а она — расти, и в настоящее время она будет вершков шесть толщины в диаметре и по крайней мере сажени три вышины, — молодая и роскошная. Правда, я на нее и воды немало вылил, зато теперь в свободное время и с позволения фельдфебеля жуирую себе в ее густой тени. Нынешнее лето думаю нарисовать ее, разумеется, втихомолку. Она уже так толста и высока, что под карандашом Калама мог бы выйти из нее прекраснейший этюд».

Шевченко говорил, что посаженная им ива постоянно напоминала ему известное народное предание. Один разбойник пришел к отшельнику и просил отпущения грехов. Выслушав исповедь, отшельник ужаснулся его злодеяниям; он взял совершенно сухую клюку, воткнул ее в землю и сказал, что только тогда разбойнику отпустятся его грехи, когда эта палка превратится в цветущее дерево, а затем принесет плоды. Прошло много лет, и однажды отшельник во время прогулки был изумлен, увидев перед собой великолепное грушевое дерево, покрытое зрелыми, благоухающими плодами, а под деревом — дряхлого старца, в котором узнал знакомого разбойника.

И отшельник смиренно подошел под благословение к бывшему разбойнику, который теперь был больше праведником, чем он сам.

«Верба моя также выросла и укрывает меня в знойный день своею

густою тенью, — пишет Шевченко, — а отпущения грехов моих нет как нет! Но тот был разбойник, а я, увы, сочинитель».

Как известно, в басне Крылова «Сочинитель и разбойник» первый, сеявший своим пером безверие и мятежи, был наказан в аду гораздо строже второго, который всего лишь грабил да убивал на больших дорогах.

Вокруг этой шевченковской ивы еще во время пребывания поэта в Новопетровске разрослись другие деревья, в том числе и плодовые (персики, шелковица, абрикосы), а также розы, виноград. На следующий год после отъезда Шевченко комендант форта Ираклий Усков писал поэту: «Сад нам нынешний год уродил много абрикосов и персиков, но винограду мало, неизвестно почему».

В саду этом в десятую годовщину со дня смерти поэта, в 1871 году, был сооружен из белого камня памятник Тарасу Шевченко — первый в России. А в сотую годовщину со дня прибытия Шевченко на Мангышлак, в 1950 году, на торжественном заседании, посвященном памяти великого сына украинского народа и происходившем на горе, в том самом доме со львами, в котором жил когда-то комендант Новопетровского укрепления, выступил садовод-мичуринец Сатангул Тажиев (он с 1911 года работает в Шевченковском саду) и сказал:

— Тарас Шевченко сто лет назад привез ивовую палку из Гурьева сюда, на мангышлакский берег Каспийского моря, и посадил ее в землю на полуострове. И это первое дерево, пустившее ростки в нашей пустыне, политое слезами великого батыря Тараса, теперь разрослось пышным, могучим садом на восемь с половиною гектаров!

Ко всем ударам, свалившимся на Шевченко в первые же месяцы его ссылки в Новопетровск, прибавилось еще и полнейшее отсутствие писем от друзей.

Хотя по-прежнему поэту прямо не было запрещено писание и получение «обыкновенных писем» (было только обусловлено цензурирование всей корреспонденции начальством, однако практически Шевченко был лишен и этого права.

В начале января 1851 года он попытался известить о своем новом местопребывании Репнину и Лизогуба. Последнему он даже отправил свои (неподписанные, конечно) рисунки с просьбой продать их, так как чрезвычайно нуждался.

Но ни от Репниной, ни от Лизогуба ответа не было. «Что бы это значило?» — изумлялся Шевченко в следующем письме к Репниной. Наконец 16 июля 1852 года он в совершенном отчаянии пишет Лизогубу:

«Ни от Вас, ни от Варвары Николаевны до сих пор не имею

совершенно никаких известий. Право, не знаю, что и думать!.. Я с Вами только и Варварой Николаевной иногда переписывался. Прошу Вас, умоляю: когда получите письмо мое, то хоть чистой бумаги в конверт запечатайте да пришлите, по крайней мере я буду знать, что Вы здравствуете!»

Шевченко не подозревал, конечно, что все люди, состоявшие с ним в переписке, получили за это от царских жандармов строжайшее «внушение». Федор Лазаревский был отставлен от предстоявшего ему повышения в должности. Бутаков, кроме выговора, имел и другие неприятности по службе. Андрея Лизогуба вызвал к себе во время проезда через Чернигов летом 1850 года граф Орлов и прямо запретил продолжать переписку с Шевченко.

Даже княжне Репниной было направлено из Третьего отделения следующее письмо: «Секретно. Милостивая государыня, княжна Варвара Николаевна! У рядового Оренбургского линейного № 5 батальона Тараса Шевченко оказались письма Вашего сиятельства; а служащий в Оренбургской пограничной комиссии коллежский секретарь Левицкий, в проезд свой через Москву, доставил к Вам письмо от самого Шевченко, тогда как рядовому сему высочайше воспрещено писать; переписка же Ваша с Шевченко, равно и то, что Ваше сиятельство еще прежде обращались и ко мне с ходатайствами об облегчении участи упомянутому рядовому, доказывает, что Вы принимаете в нем участие... По высочайшему государя императора разрешению, имею честь предупредить Ваше сиятельство как о неуместности такого участия Вашего к рядовому Шевченко, так и о том, что вообще было бы для Вас полезно менее вмешиваться в дела Малороссии, и что в противном случае Вы сами будете причиною, может быть, неприятных для Вас последствий... Граф Орлов».

Естественно, княжна испугалась не за себя: она боялась своими письмами ухудшить положение Шевченко, поэтому и подчинилась запрещению Третьего отделения.

Первой возможностью несколько отвлечься от своего тяжелого состояния явилось для Шевченко участие в геолого-разведывательной экспедиции летом 1851 года.

Полуостров Мангышлак богат полезными ископаемыми. Залежи каменного угля здесь очень велики, причем уголь выходит прямо на поверхность. Угольные месторождения на Мангышлаке впервые открыл в 40-х годах XIX века Иванин. Позже здесь были найдены месторождения нефти, марганца, меди, железной руды и фосфоритов.

В начале мая 1851 года молодой горный инженер, штабс-капитан

Антипов, старший брат известного геолога, исследователя Южного Урала, прибыл на Мангышлак для геолого-разведывательных работ, главным образом для изучения каменноугольных залежей.

Вместе с Антиповым приехали опытный старик штейгер Козлов и целая группа вспомогательных рабочих, техников, солдат, предназначенная для похода в горы Кара-Тау на поиски полезных ископаемых.

В составе группы оказались и Бронислав Залеский и Людвиг Турно — чудесные давние друзья Шевченко по оренбургскому кружку.

Нечего и говорить, что эта встреча принесла ссыльному поэту огромную радость. Залеский и Турно привезли Шевченко письма, — от кого, мы никогда не узнаем: наученный горьким опытом, поэт их уничтожил тотчас же по прочтении, как он теперь уничтожал все из своей переписки и сочинений, что могло впоследствии навлечь на него новые беды...

Благодаря хлопотам друзей Шевченко еще в Оренбурге был включен в списки направлявшихся в экспедицию. И снова он получил возможность (правда, на этот раз совсем тайную) рисовать: Залеский и Турно привезли ему и рисовальные принадлежности!

Поход в горы не был легким. В мае в этих местах уже стоит настоящий летний зной. Экспедиция двинулась из Новопетровска на юго-восток по так называемой Хивинской дороге.

Первый привал сделали в урочище Ханга-баба, в тридцати верстах от укрепления. Шевченко выполнил здесь несколько рисунков. Кроме общего вида Новопетровского укрепления, издали, с Хивинской дороги, он нарисовал уголок оазиса в Ханга-баба, а также старинное туркменское кладбище.

Залеский, Турно и Шевченко спали в одной палатке. Сколько здесь можно было, не боясь соглядатаев и доносчиков, высказать, как можно было отвести душу после всего пережитого за последний тяжкий год!

Недаром даже спустя три года Шевченко писал Залескому: «С того времени, как мы расстались с тобою, я два раза был на Ханга-бабе, пересмотрел и перещупал все деревья и веточки, которыми мы с тобою любовались, и признаю тебе, друже мой, заплакал...»

А сам Залеский рассказывал:

— В одной палатке, то есть в так называемой киргизской кибитке, прожили мы целое лето. Шевченко рисовал и чувствовал себя свободным...

И снова в сентябре 1855 года напоминает поэт Залескому их совместную экспедицию: «Вчера был я на Ханга-бабе, обошел все овраги,

поклонился, как старым друзьям, деревьям, с которых мы когда-то рисовали, и в самом дальнем овраге — помнишь, где огромное дерево у самого колодца обнажило свои огромные старые корни? — под этим деревом я долго сидел. Шел дождик, перестал; опять пошел. Я все не трогался с места; мне так сладко, так приятно было под ветвями этого старого великана, что я просидел бы до самой ночи... О, какие прекрасные, светлые, отрадные воспоминания в это время пролетели над моей головою! Я вспоминал наш кара-тауский поход со всеми его подробностями, тебя, Турно... Когда же воспоминания мои перенеслись на Ханга-бабу, я так живо представил себе это время, что мне показалось, будто бы ты сидишь здесь за деревом и рисуешь; я тогда только опомнился, когда позвал тебя, и ты не отозвался... Поход в Кара-Тау надолго у меня останется в памяти, навсегда».

От Ханга-баба дальше в горы, через урочище Апазырь, экспедиция прошла между основными хребтами, тянущимися вдоль полуострова Мангышлак. — Кара-Тау и Южным Актау.

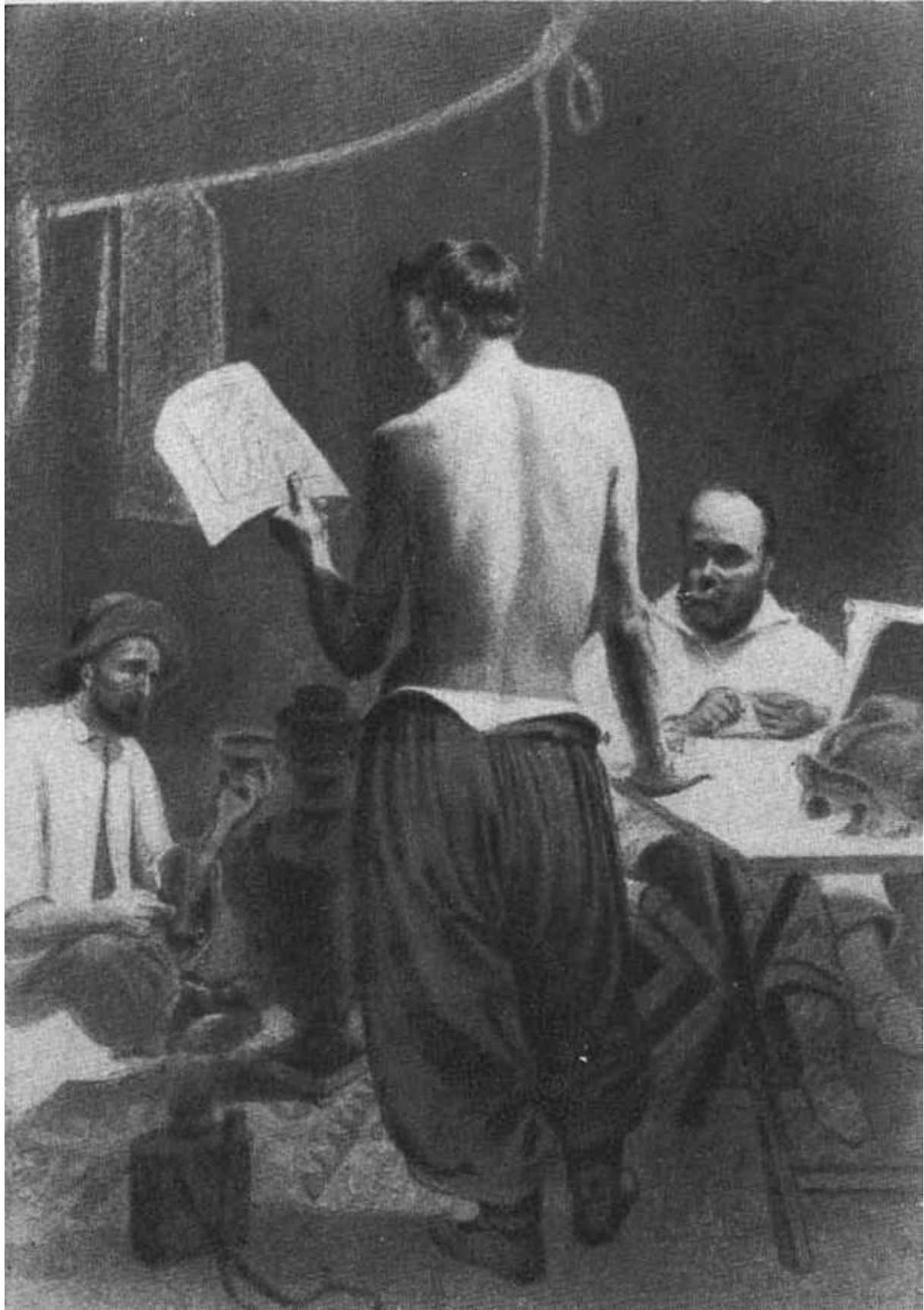
За пять месяцев похода Шевченко сделал здесь свыше ста рисунков; на них изображены местности, пройденные экспедицией: Ханга-баба, Апазырь, Агаспепяр, Сюн-Куг, Далисмен-Мола-Аулье, долины Турш и Кугус, гора Кулат.

В двухстах верстах от Новонетровска экспедиция обнаружила мощные каменноугольные пласты.

Поход в Кара-Тау на некоторое время развлек Шевченко, дал ему возможность сделать много зарисовок и — что было для него важнее всего — на протяжении почти пяти месяцев жить вместе с задушевными друзьями.

Экспедиция возвратилась в Новопетровск 1 сентября 1851 года, проделав за лето путь в несколько сот километров. 19 сентября Залеский и Турно расстались с Шевченко: они уехали в Гурьев, чтобы возвратиться в Оренбург, а поэт еще на долгие годы остался в Новопетровске, в своей, как он говорил, «незапертой тюрьме»...

Однако и в Новопетровске ссыльный поэт находил все больше людей, которые относились к нему с уважением, сочувствием, сердечным расположением.



«Трио» — Шевченко, Залеский и Турно. Рисунок Т. Г. Шевченко.



Л. Е. Ускова. Портрет работы Т. Г. Шевченко.

Старик Антон Петрович Маевский, подполковник, комендант Новопетровского укрепления, на свое имя получал почту для Шевченко и сам отсылал его письма.

Заведующий библиотекой форта врач Сергей Родионович Никольский делился с поэтом всем, что было у него для чтения. По свидетельству поручика Фролова, доктор Никольский учился у Шевченко украинскому языку.

Штабс-капитан Косарев, сменивший в 1852 году ненавистного Потапова в должности командира роты, рассказывает в своих воспоминаниях, что «как человек образованный и хороший рассказчик, Шевченко был всегда желанным гостем, и его приглашали как семейные, так и холостые». Офицерское общество форта «так, наконец, полюбило его, что без него не устраивало, бывало, уже ничего, — был ли то обед, или по какому-либо случаю любительский спектакль, поездка на охоту, простое какое-либо сборище холостяков или певческий хор. Хор этот устраивали офицеры, и Шевченко, обладавший хорошим и чистым тенором и знавший много чудесных украинских песен, был постоянным участником этого хора, который, право же, очень и очень недурно певал и русские и украинские песни...»

«Нельзя было не полюбить Шевченко, — продолжает Косарев. — Он и держать себя умел хорошо, и был не только умный, но во всем хороший человек, душевный человек, с которым, и не в Новопетровске, и не нашему брату — простому офицеру не только приятно, но и полезно было беседовать».

В конце 1852 года в укреплении составилась кружок любителей, решивших устроить настоящий спектакль — в костюмах и гриме. Нужна была пьеса. Выбор остановился на новой комедии «Свои люди — сочтемся» никому еще в то время не известного молодого драматурга Александра Николаевича Островского.

Вполне возможно, что инициатива в выборе именно этой пьесы принадлежала Шевченко: он, вероятно, успел прочитать комедию Островского еще в Оренбурге, тотчас по ее появлении в журнале «Москвитянин» (в марте 1850 года; в том же году вышло отдельное издание пьесы); сохранился в «Дневнике» Шевченко его позднейший восторженный отзыв об этой пьесе, которую он считал образцом «сатиры умной, благородной» наряду с «Ревизором» Гоголя.

Интересно, что в Москве и Петербурге комедия «Свои люди — сочтемся», по личному указанию царя, была тогда категорически запрещена для постановки, а над ее автором был учрежден секретный

надзор полиции; впервые на профессиональной сцене эта пьеса Островского появилась только в 1861 году, одновременно в Петербурге и в Москве (где роль купца Самсона Силыча Большова исполнял Щепкин, стряпчего Рисположенского — Живокини, а приказчика Подхалюзина — Пров Садовский).

Между тем в далеком Новопетровском укреплении, на пустынных берегах Каспия, на девять лет раньше состоялась — может быть, первая в России! — постановка комедии «Свои люди — сочтемся».

И главным декоратором, постановщиком и блестящим исполнителем роли Рисположенского был великий украинский поэт, позже хорошо знакомый и лично с Островским.

В Новопетровске все роли, в том числе и женские, исполнялись офицерами. Косарев играл Подхалюзина («Смех, ей-богу, «вспомнить!» — говорит он), а в антрактах, не снимая костюма и грима, выходил в оркестр, чтобы и дирижировать и самому Играть на скрипке. Поручик Зубильский исполнял роль Большова, прапорщик Бажанов — его жены, Аграфены Кондратьевны, молоденький безусый блондин прапорщик Угла играл Липочку и т. д.

Были изготовлены костюмы, парики, накладные бороды. Декорации строил и расписывал Шевченко по собственным эскизам, с помощью солдат — плотников и маляров.

Премьеру назначили на 26 декабря, второй день рождества. Фурор был полный; вызовам и аплодисментам не было конца; и особенно сильное на всех впечатление, по рассказу того же простодушного Косарева, произвел Шевченко:

«Когда, на первом представлении, он появился на сцене закостюмированный, да начал уже играть, так не только публика, но даже мы, актеры, пришли в изумление и восторг!.. Ну, — поверите ли? — точно он преобразился! Ну, ничего в нем не осталось тарасовского: ярыга, чистая ярыга того времени — и по виду, и по голосу, и по ухваткам!..»

Публика прямо выходила из себя от восторга, когда в последнем действии, уже после того, как Самсон Силыч отправился в долговую тюрьму, Рисположенский является к Аграфене Кондратьевне и как ни в чем не бывало спрашивает:

— Вы, матушка Аграфена Кондратьевна, огурчиков еще не изводили солить?

— Нет, батюшка! — отвечает купчиха. — Какие теперь огурчики! До того ли уж мне!..

Но Рисположенский не унимается:

— Это водочка? Я рюмочку выпью.

Зрители были в восхищении от естественной и тонкой игры Шевченко. После спектакля комендант Маевский устроил у себя ужин и, поднимая стакан за здоровье Шевченко, сказал:

— Богато тебя, Тарас Григорьевич, оделил бог: и поэт-то ты, и живописец, и скульптор, да еще, как оказывается, и актер... Жаль, голубчик мой, одного— что не оделил он тебя счастьем!.. Ну, да бог не без милости, а казак не без доли!..

Спектакль повторили еще несколько раз, два раза— специально для нижних чинов. Присутствовали на представлениях (конечно, бесплатных) и многие окрестные жители.

Эти спектакли настолько увлекли обитателей Новопетровского укрепления, что тотчас же с разрешения коменданта организовался и второй любительский актерский кружок — из нижних чинов.

К масленице уже было подготовлено несколько водевилей: «Дядюшка, каких мало, или Племянник в хлопотах» П. Татаринова, «Ворона в павлиньих перьях, или Слуга-граф и граф-слуга», перевод с французского. В пользу солдат собиралась плата: от рубля до десяти копеек за место.

Об этих спектаклях долго помнили в Новопетровске. Спустя пятьдесят лет старый отставной солдат Алексей Груновский рассказывал:

— Я служил в укреплении писарем, когда к нам приехал Тарас Григорьевич. Хороший был человек, добрый. Бывало, ни одного солдата не пропустит, чтобы не пошутить с ним да не побалагурить. В театре играл... Ну и почет ему большой был. Он все академии превзошел. Бывало, смотрим, а Тарас Григорьевич идет куда-нибудь с книжкой под мышкой. Носил он большей частью белый китель да фуражку засаленную, солдатскую...

В Новопетровске Шевченко сдружился с артиллерийским офицером Мостовским, знакомым ему еще по Орску.

«Мостовский, — записывает в «Дневнике» Шевченко, — единственный человек во всем гарнизоне, которого я люблю и уважаю. Человек — не сплетня, не верхогляд, человек аккуратный, положительный и в высокой степени благородный. Говорит плохо по-русски, но русский язык знает лучше воспитанников Неплюевского корпуса. Во время восстания поляков в 1830 году служил он в артиллерии бывшей польской армии и из военнопленных зачислен был рядовым в русскую службу. Я много от него слышал чрезвычайно интересных подробностей о революции 1830 года... Рассказывает о собственных подвигах и неудачах без малейших украшений; редкая черта в военном человеке... Одним словом,

Мостовский человек, с которым можно жить, несмотря на сухость и прозаичность его характера».

С Мостовским Шевченко совершал прогулки, удаляясь на несколько верст от укрепления к морю или в горы.

Бывал поэт и в рыбацкой станице Николаевской ¹³, на берегу Каспийского моря, в трех верстах от укрепления. Здесь он рисовал портреты, бытовые сценки, лепил из глины.

Нарочно, чтобы повидаться с ссыльным поэтом и передать ему письма от друзей, приехал на день-два из Уральска в Новопетровск молодой казачий офицер Никита Савичев.

Утром, после завтрака, Савичев зашел к Шевченко в общую казарму — длинное здание с низкими нарами вдоль обеих стен, с небольшими окнами под самой крышей. Глинобитный пол был слегка смочен для прохлады. Солдат в казарме почти не было: кто отправился на работы, кто находился в командировке.

В самом конце казармы, в углу, лежал на нарах человек, углубившийся в книгу. Это и был Шевченко. Когда Савичев в сопровождении прапорщика Михайлова приблизился, Шевченко поднялся и вопросительно взглянул на гостей.

Михайлов отрекомендовал прибывшего. Шевченко пригласил гостей садиться. Савичев передал приветы от уральских общих знакомых — Ханькова, Плещеева, передал письма, которые Шевченко сунул в карманы своих широких шаровар.

Постель его состояла из тонкого тюфяка, покрытого рядном, и подушки с грубой наволокой — видно было, что жить приходилось без Малейших удобств. У Шевченко не было в казарме даже стола и стула.

Савичев сказал, что ему нужно передать Тарасу Григорьевичу кое-что от друзей, и просил зайти к нему в комендантский дом, где он остановился вместе с командиром батальона. Но Шевченко пригласил гостя к себе, чтобы после обеда, часов в пять, когда немного спадет жара, отправиться погулять в поле, в окрестностях форта.

Явившись в казарму в назначенный час, Савичев застал Шевченко в той же позе, ставшей, видимо, привычной: лежащим с книгой в руках. Тут он встал, набросил короткое парусиновое пальто, взял с полки над изголовьем один том (это были исторические драмы Шекспира), и они вышли.

За воротами крепости спустились в ложбину, подошли к крутому обрыву, покрытому обломками ракушечника, и, взобравшись наверх,

уселись на мохе между камней. Вдали расстился синюющий Каспий.

Потекла нескоролая, тихая беседа. Савичев рассказывал об однообразном и скучном житье-бытье общих знакомых. Потом обмолвился, что с 1849 по 1851 год стоял со овым казачьим полком на Украине, бывал в Звенигородке, Кириловке.

Шевченко оживился.

— А попа Кирилла ты не видал? — спросил он.

— Видал, как же!

— А брата моего Никиту видал?

— Нет, не знаю его.

— Так сколько же ты пробыл в Кириловке?

— Трое суток.

— А еще кого видал?

— Был в гостях у дьякона...

— Ну, так там же и брат Никита живет!

— Может быть, — продолжал Савичев, — нас там было гостей много, как же мне знать, что среди них и брат ваш Никита...

— Да послушай, брось ты, пожалуйста, это «вы»... А еще казак!.. Так ведь Кириловка — моя родина... Ну, рассказывай, что ты там делал.

Савичев рассказал, как в домах, где он бывал на Звенигородщине, помнят Шевченко, часто о нем говорят.

«Тарас Григорьевич должен быть где-то там, в ваших краях, возле Аральского моря, — твердили шевченковские земляки Савичеву, добавляя: — Вы с ним можете там повидаться...»

Шевченко внимательно слушал Савичева, до слез смеялся, когда тот нарисовал ему картину празднования именин попа Кирилла: под звуки импровизированного оркестра (скрипка, бандура и бубен) гости плясали до упаду, и с ними плясали молодые поповны.

Поэта интересовала каждая мельчайшая подробность, он словно переносился мечтой в свою далекую Кириловку. Просил описать ему усадьбу, в которой жил Савичев, и когда тот припомнил, что посреди огорода стояла одна-единственная огромная груша, Шевченко радостно воскликнул.

— Знаю, знаю! — и тотчас же назвал фамилию хозяина усадьбы. — Мы ребятами тоже охотились за этими грушами...

Потом задумался, грустно опустив голову, помолчал и, вздохнув, сказал:

— А все-таки неладно, что ты не знал моего брата Никиту!..

Возвращаясь уже в сумерках назад в крепость, проходили мимо

квартиры ротного командира, в которой ярко светился огонь и шумно разговаривали несколько офицеров. Хозяин увидел поэта и пригласил к себе, попробовать только что доставленного из Астрахани «чихиря» (простое столовое вино из кавказского винограда). Здесь Савичев обратил внимание на то, как любезно и даже почтительно обращались офицеры с поэтом-изгнанником.

Тарас Григорьевич был неразговорчив, однако в обществе его присутствие было заметно; хотя он и казался нелюдимым и как-то сосредоточенным в себе, ему все симпатизировали, его уважали.

Савичев заметил, что особенно любили Шевченко солдаты. С некоторыми, проявлявшими к этому охоту, Шевченко тайком занимался грамотой, читал им книга.

На последней прогулке поэт был очень задумчив. Они сидели молча на громадных камнях под высокой скалой, со стороны моря. Доносился издали шелест волн, набегавших на песчаную отмель. С темного неба спокойно смотрел двурогий месяц.

После долгого молчания Шевченко стал тихо, будто про себя, читать стихи на украинском языке, — очевидно собственные, замечает в своих воспоминаниях Савичев. Содержания стихов он не запомнил, но в них говорилось что-то о море, о волнах, о тучах...

Мы теперь не знаем, были ли это прежние стихи, написанные им еще на Арале, или новые, сочиненные уже в крепости над Каспием; но мы знаем — без стихов Шевченко не мог жить ни одного дня!

Обращаясь впоследствии к своей музе, поэт вспоминал:

Мой друг, волшебница моя!
Ты мне повсюду помогала,
Заботой нежной окружала.
В степи безлюдной и немой,
В далекой неволе
Ты сияла, красовалась,
Как цветок средь поля!

В конце апреля, с открытием навигации, на смену умершему в начале 1853 года Маевскому прибыл новый комендант, майор Усков Иракий Александрович, бывший адъютант командира корпуса; в Оренбурге он жил в одном доме с Федором Лазаревским и, может быть, еще там встречался с Шевченко.

Тотчас по приезде в Новопетровск Усков принялся облегчать существование Шевченко: его освободили от нарядов (в 1852 году, по данным «караульной книги», поэт отбыл 63 караула, наравне со всеми нижними чинами укрепления), разрешили отлучки из укрепления; и Шевченко теперь часто ночевал не в казарме.

Ираклий Усков, его жена Агата Емельяновна очень скрашивали последнее пятилетие жизни Шевченко в Новопетровске.

Поэт скоро стал у них в доме своим человеком, привязавшись особенно к детям, которых всегда любил и очень располагал к себе. «Я так люблю детей!» — восклицает поэт в одном письме к Залескому.

Вскоре после приезда Усковых в Новопетровск они потеряли сына, и вот как горячо писал об этом Шевченко Казачковскому:

«Недавно прибывший к нам комендант привез с собою жену и одно дитя, по третьему году, милое, прекрасное дитя (а все, что прекрасно в природе, как выюнок вьется около нашего сердца). Я полюбил это прекрасное дитя, а оно, бедное, так привязалось ко мне, что, бывало, и во сне звало к себе «лысого дядю» (я теперь совершенно лысый и сивый). И что же? Оно, бедное, захворало, долго томилося и умерло. Мне жаль моего маленького друга, я тоскую, а иногда приношу цветы на его очень раннюю могилу и плачу, я, чужой ему. А что делает отец его и особенно — мать? Бедная! Горестная мать, утратившая своего первенца!»

Может быть, именно эта печальная утрата и сблизила так быстро Шевченко с Усковыми. Через несколько месяцев у Усковых родилась дочь Наталья. Поэт постоянно развлекал ребенка, пел песни, то грустные, заставлявшие сжиматься сердце, то веселые. И несказанно полюбила Наташенька своего дядю — Горича, как она его называла.

— Истый Тарас Горич, мое серденько, моя ясочка! — приговаривал Шевченко, целуя ее.

Тарас Григорьевич привязался и к матери. Он склонен был даже идеализировать Агату Ускову. Он часто писал о ней Залескому:

«Эта прекраснейшая женщина для меня есть истинная благодать божия. Это одно-единственное существо, с которым я увлекаюсь иногда даже до поэзии. Следовательно, я более или менее счастлив; можно сказать, что я совершенно счастлив; да и может ли быть иначе в присутствии высоконравственной и физически прекрасной Женщины?»

«Какое чудное, дивное создание непорочная женщина! Это самый блестящий перл в венце созданий. Если бы не это одно-единственное, родственное моему сердцу, я не знал бы, что с собою делать. Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благодарной моей душою. Не

допускай, друже мой, и тени чего-либо порочного в непорочной любви моей».

Ускова в воспоминаниях о Шевченко так передает свое впечатление от знакомства с поэтом: «Лицо открытое, добродушное; движения медленные, голос приятный; говорил прекрасно, плавно, особенно хорошо читал вслух. Бывало, в длинные зимние вечера он принесет журнал и выберет, что ему по вкусу, и начинает читать; если же вещь ему особенно нравится, то он откладывает книгу, встанет, ходит, рассуждает; затем опять возьмется за книгу. Стихи же, которые ему очень нравились, он выучивал и дня по три декламировал».

Дальше Агата Ускова рассказывает: «Шевченко часто гулял со мною; я была рада такому собеседнику; так как Шевченко был очень развитой человек, с прекрасной памятью, то темы для разговоров во время прогулок были очень разнообразны: они вызывались каждым предметом или явлением, на который почему-либо обращалось внимание во время прогулки. Благодаря этому разговоры с ним всегда были далеки от местных сплетен и доставляли большое удовольствие».

Шевченко сохранил добрые отношения с Усковыми до конца своего пребывания в Новопетровске, и переписка с ними уже после его отъезда из укрепления свидетельствует о глубоком взаимном уважении и симпатии.

Несмотря на удаленность Новопетровского укрепления от всего цивилизованного мира, сюда несколько раз за время пребывания Шевченко приезжали люди, с которыми поэт мог отвести душу.

Понятно, что каждый живой вестник живого мира, попадавший в Новопетровск, вызывал у ссыльного поэта волну впечатлений.

Так, осенью 1852 года побывал на Мангышлаке молодой естественник Адриан Головачев.

«Нынешнюю осень, — сообщал Шевченко Бодянскому, — посетил наше укрепление некто г. Головачев, кандидат Московского университета, товарищ известного Карелина и член общества Московского естествоиспытателей. Я с ним провел один только вечер, то есть несколько часов, самых прекрасных часов, каких я уже давно не знаю. Мы с ним говорили, говорили, и, боже мой, о чем мы с ним не переговорили! Он сообщил мне все, что есть нового и хорошего в литературе, на сцене и вообще в искусстве...»

Возвратившийся в Москву Адриан Головачев пересылал Шевченко книги (в частности, по поручению Бодянского).

Несколько раз в 1852–1856 годах побывал в Новопетровске с научно-исследовательской экспедицией знаменитый русский натуралист академик

Карл Максимович Бэр, основатель современной эмбриологии. Его сопровождал Николай Данилевский; Шевченко сообщает Залескому в ноябре 1854 года:

«Писал тебе о Данилевском, что он прогостил у нас около двух месяцев; в продолжение этого времени я с ним сблизился до самой искренней дружбы. Он недавно уехал в Астрахань, и я, проводивши его, чуть не одурел. В первый раз в жизни моей я испытую такое страшное чувство. Никогда одиночество не казалось мне таким мрачным, как теперь!.. Ты говоришь, что ты сроднился в своем углу с безотрадным одиночеством; я сам то же думал, пока не показался в моей тюрьме широкой — человек! Человек умный и благородный, в широком смысле этого слова; и показался для того только, чтобы встревожить мою дремавшую бедную душу; все же я ему благодарен, и благодарен глубоко».

Бэр, возвратившись в Петербург, хлопотал об освобождении Шевченко. А через его камердинера — Петра, с которым Шевченко подружился, поэт передавал почту друзьям в Петербург.

Познакомился Шевченко осенью 1854 года с приезжавшим на Мангышлак выдающимся путешественником Семеновым-Тян-Шанским, передал через него письма друзьям. Впоследствии в выходившем под его редакцией знаменитом многотомном труде «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» Семенов-Тян-Шанский упоминал о Шевченко.

Вместе с очередной экспедицией Бэра в Новопетровск в 1856 году приезжал Алексей Феофилактович Писемский, в то время уже известный писатель. С Шевченко они провели несколько вечеров, и Писемский затем писал поэту:

«Душевно рад, что мое свидание с Вами доставило Вам хоть маленькое развлечение... Не знаю, говорил ли я Вам, по крайней мере, окажу теперь».

Я видел на одном вечере человек двадцать Ваших земляков, которые, читая Ваши стихотворения, плакали от восторга и произносили Ваше имя с благоговением. Я сам писатель и больше этой заочной чести не желал бы другой славы и известности, и да послужит все это утешением в Вашей безотрадной жизни! Все Ваши поручения — из Москве к Бодянскому, и в Петербурге к Костомарову — исполню в точности. С прошлой почтой писал к графине Толстой, виделся с Бэром. Добрый старик говорит, что по этой почте будет непременно писать к графу (Перовскому? — Л. Х.), а теперь самое удобное время: в августе должна быть коронация».

Семилетний период ссылки поэта — новопетровский период —

остается одним из наименее изученных.

Материалы здесь приходится собирать буквально по крохам. Большинство писем пропало, воспоминания не сохранились или не были в свое время написаны...

XVII. НЕГАСНУЩИЙ ПЛАМЕНЬ

Много сомнений вызывал у шевченковедов вопрос: имел ли поэт возможность читать в этот период новые книги, журналы?

Шевченко сам нередко писал из Новопетровска о своей тоске по печатному слову.

«Шестой год, — заявляет поэт 15 ноября 1852 года в письме к Бодянскому, — как не пишу никому ни слова... Со времени моего изгнания я ни одной буквы не прочитал о нашей бедной Малороссии. Во всем укреплении только один лекарь выписывает кой-что литературное, а прочие как будто и грамоты не знают; так у «его, у лекаря, когда выпросишь что-нибудь, так только и прочитаешь, а то хоть сядь та й плачь».

«Шесть лет уже прошло, — подтверждает Шевченко в письме к Гулак-Артемовскому 15 июня 1853 года, — как я мучуся без карандаша и красок».

И уже к концу своей ссылки, в 1857 году, словно подводя итоги, Шевченко снова несколько раз пишет знакомым в Петербург, в Москву:

«Десятый год не пишу, не рисую и не читаю навіть нічого...»

Все эти категорические утверждения были продиктованы тем, что письма Шевченко почти всегда подвергались просмотру начальства, и, наученный горьким опытом оренбургского ареста, поэт остерегался сообщать хоть что-нибудь о своих литературных занятиях.

А вот, например, в письме к Брониславу Залескому, переданном в Оренбург с «верной оказией», Шевченко 9 октября 1854 года откровенно рассказывает:

«Милого Богдана З[алеского] я получил с сердечною благодарностию и теперь с ним не разлучаюсь; многие пьесы наизусть уже читаю... Переводы [Антонина] Софы так прекрасны, как и его оригинальная поэзия... Плещеева перевод, хотя и передает идею верно, но хотелось бы изящнее стиха, хотелось бы, чтобы стих легче и глубже ложился в сердце, как это делается у Софы... Ты мне обещал еще том Б[огдана] З[алеского]...

Я здесь, по милости Никольского], читаю постоянно новины русской литературы и прочитал биографию Гоголя, которую ты мне рекомендуешь [сочинения Кулиша]. Она заинтересовала меня, как и тебя, письмами и документами, но как биография она не полна...

Сигизмунд [Сераковский] прислал мне шесть карандашей Фабера № 2... Не забудь, что карандаши мои в кармане пальто, там же в кармане есть

еще две гравировальные иглы и два куска черного лаку для натирания медной доски; их тоже пришли».

Это письмо рисует совершенно иную картину: Шевченко полон деятельности, много читает, рисует, занимается гравированием.

Даже в далеком Новопетровске Шевченко следил за литературой и искусством, за общественными и политическими событиями.

Постоянно читал официальную газету военного ведомства «Русский инвалид»; в ней наряду с правительственными сообщениями помещалась информация о политической и культурной жизни, и даже «фельетон», то есть поэтические и прозаические произведения (обычно перепечатки из других газет и журналов).

Булгаринская «Северная пчела» тоже систематически получалась в Новопетровске (газета имела правительственную «рекомендацию» и выписывалась почти всеми официальными учреждениями). Этот орган в те времена имел монополию на сообщения из международной жизни.

Мы знаем, что комендант Усков выписывал в 1856 году журнал «Библиотека для чтения», и Шевченко читал здесь переводы Василия Курочкина из Беранже. Здесь же в 1856 году (ноябрьская книжка) был помещен первый русский перевод стихотворения Шевченко («Для чего мне черны брови»), сделанный Гербелем и опубликованный под заглавием «Дума (с малороссийского)», без указания имени Шевченко.

Поэт обратил внимание на этот перевод и писал весной 1857 года Андрею Маркевичу, сыну историка: «Не встретишься ли ты случайно с Гербелем?.. Поблагодари его за перевод малороссийской «Думы», напечатанный в «Библиотеке для чтения».

В декабрьской книжке того же журнала и за тот же год Шевченко читал рассказ Льва Толстого «Встреча в отряде с московским знакомым» («Разжалованный»), Он давно интересовался произведениями Толстого. Еще в мае 1856 года писал в Петербург художнику Осипову:

«С повестями и рассказами Толстого я совершенно не знаком. Ежели будет возможность, познакомьте меня с ними, во имя благородного искусства».

Вполне возможно, что именно Осипов, выполняя просьбу Шевченко, прислал поэту мартовскую книжку журнала «Современник» за 1856 год, где был напечатан рассказ Толстого «Метель».

Во всяком случае, Шевченко читал этот номер «Современника» летом или осенью того же года.

Здесь была впервые помещена древнерусская стихотворная повесть «Горе-Злочастье», случайно отысканная в погодинских архивах Пыпиным

и подготовленная к печати Костомаровым. Это замечательное произведение неизвестного автора очень увлекло Шевченко, и он задумал изготовить серию рисунков «а тему повести о Горе-Злочастии, назвав эту серию «Притчей о блудном сыне» и перенеся все действие из древней Руси в настоящее время.

Из всей серии о блудном сыне Шевченко успел выполнить только восемь рисунков: «Проигрался», «В кабаке», «В хлеву», «На кладбище», «Среди разбойников», «Наказание колодкой», «Наказание шпицрутенами» и «В каземате». В письмах своих Шевченко горько сетовал на то, что из-за отсутствия разнообразной бытовой природы он не может выполнить увлекший его замысел.

Для «Блудного сына» ему в Новопетровске обыкновенно позировал молодой есаул уральского казачьего войска Л. С. Алексеев. Шевченко очень любил слушать, когда он читал стихи, особенно лермонтовского «Умиряющего гладиатора».

— А ну почитай, мой голубчик! — обращался поэт по временам к Алексееву.

И тот принимался декламировать:

Ликует буйный Рим... Торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена;
А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...

Кто знает, какие ассоциации возникали у Шевченко, когда он вновь и «новь слушал так хорошо знакомые строки любимого поэта:

И родина цветет... свободной жизни край!

В той же мартовской книжке журнала за 1856 год было напечатано шестнадцать статей и рецензий Чернышевского («Стихотворения графини Ростопчиной», «Очерки сибиряка», «Силуэты, сцены в стихах В. Попова»). Следовательно, Чернышевского Шевченко читал еще в ссылке.

Особенно примечательна здесь большая статья великого критика о стихотворениях графини Ростопчиной, направленная против салонной поэзии и «искусства для искусства».

«Высок подвиг поэта, — писал Чернышевский, — решающегося

избрать пафосом своих стихотворений изобличение ничтожества и порока на благое предостережение людям; высок его талант, если он достойным образом совершит свой благородный, но тяжелый подвиг!»

Эта мысль была чрезвычайно созвучна Шевченко. Украинский поэт в своем «Дневнике» тоже говорит о необходимости обличать общественные пороки посредством «умной, благородной сатиры».

Анализ одной из повестей Шевченко, написанной в Новопетровске в 1856 году, помогает так же документально установить чтение им № 10 «Современника» за 1855 год; в этом номере была напечатана статья Чернышевского о журнале «Морской сборник», и именно из этой статьи почерпнул Шевченко замысел своей повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» (в первом варианте называлась «Матрос»).

Характерно, что вдали от всех очагов культурной жизни Шевченко сохранял высокую требовательность к печатному слову.

Вот, например, письмо к Брониславу Залескому, который вздумал порадовать Шевченко, прислав ему сборник на украинском языке Грицька и Стецька Карпенко «Ландыши Киевской Украйны».

«Скажи ты мне ради всех святых, — отвечает Шевченко на посылку, — откуда ты взял эти вялые, лишенные всякого аромата «Киевские ландыши»? Бедные земляки мои думают, что на своем чудном наречии они имеют полное право не только что писать всякую чепуху, но даже и печатать! Бедные! И больше ничего. Мне даже совестно и благодарить тебя за эту, во всех отношениях тощую, книжонку».

В последнее время своего пребывания в Новопетровске, в 1857 году, Шевченко начал вести дневник.

На первых же страницах «Дневника» поэт говорит о своем не поколебленном годами ссылки мироощущении:

«Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе... Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего всемогущего создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ».

Так, вспоминая и оценивая все происшедшее, Шевченко твердо заявлял о своей верности прежним идеалам. Из всех тяжких испытаний он выходил, как сталь из горнила, — еще тверже, еще светлее, еще острее.

Он ничего не утратил, но многое приобрел, он ничего не забыл, но многому научился; он и знал и понимал теперь вещи глубже, яснее, чем когда бы то ни было.

По глубине мысли, яркости картин и широте жизненных наблюдений шевченковский «Дневник» относится к числу выдающихся творений всемирной культуры. Справедливо сказала известная советская писательница Мариэтта Шагинян:

«Дневник» Шевченко — одна из наиболее величавых, монументальных книг мировой литературы по своей глубокой, правдивой и чистой человечности. А для нас она, кроме того, обжигающе близка своим революционно-мировоззрительным складом».

В «Дневнике» отразился широкий круг интересов и познаний поэта — одного из образованнейших людей своего времени. На страницах «Дневника», между прочим, встречаем более двухсот упоминаний различных произведений русской и мировой литературы, имен писателей, художников и скульпторов ¹⁴.

5 июля 1857 года, уже зная о скором своем освобождении, Шевченко записал:

«Голенький ох, а за голеньким бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и которую уже давно упаковал в ящик, не нашлось книги, достойной сопровождать мне в моем радостном одиноком путешествии по Волге... Что же делать без книги в таком медленно спокойном путешествии, как плавание по Волге, от Астрахани до Нижнего? Это меня беспокоило. И в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги?..

В девятом часу пошел в укрепление... Прихожу в ротную канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги в серой подержанной обертке. Читаю заглавие. И что же я прочитал? «Estetyka, czyli Umnictwo piękne, przez Karola Libelta» ¹⁵. В казармах! Эстетика!

— Чьи это книги? — спрашиваю я писаря.

— Каптенармуса, унтер-офицера Кулиха.

Отыскал я вышеречекогого унтер-офицера Кулиха.

И на вопрос мой, не продаст ли он мне «Umnictwo piękne», он отвечал, что оно принадлежит мне, что Пшевлотский, уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они были переданы мне. И что он, Кулих, принес их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про их существование, и что вчера они попались ему на глаза, и что он очень рад,

что теперь может их препроводить по принадлежности...

Итак, я имею в дороге чтение, на которое вовсе не рассчитывал».

Полемике с буржуазно-либеральной идеалистической концепцией Либельта посвящает Шевченко несколько чрезвычайно глубоких высказываний в своем «Дневнике».

Поэт утверждает, что «свободный художник настолько же ограничен окружающей его природою, насколько природа ограничена своими вечными, Неизменными заходами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы природы, он делается богоотступником, нравственным уродом...»

Здесь же он, однако, оговаривается, что речь идет не о простом копировании действительности:

«Я не говорю о дагерротипном подражании природе: тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных художников».

Реалистическое искусство Гоголя и Щедрина тем и привлекало всегда Шевченко, что в нем он видел обобщенную, типизированную, но предельно правдивую картину действительности.

Этим же близка Шевченко и народная поэзия. Он глубоко воспринимает и родной ему с детства украинский фольклор и задушевные русские песни; в «Дневнике» с большим сочувствием упоминаются бурлацкие песни и песни о Степане Разине:

«Как начался приятно, так и кончился этот второй для меня день приятно. Вечер был тихий, прекрасный. Для моциона я обошел два раза укрепление. Начал было и третий обход, только у второй батареи остановил меня уральский казак своею старинной песней про Игнашу Степанова, сына Булавина:

Возмутился наш батюшка
Славный тихий Дон
От верховьяца
Вплоть до устьяца...

С удовольствием слушал я незримого певца, пока он замолчал...»

В «Дневнике» мы находим картины жизни укрепления; привлекательные образы солдат; сатирические портреты тупых и жестоких «отцов-командиров»; пейзажи и лирические отступления; воспоминания о прежних годах жизни. Все это, по сути, законченные новеллы и миниатюры, а подчас небольшие критические и публицистические этюды.

Здесь же, в Новопетровском укреплении, Шевченко начал писать прозу.

По свидетельству самого поэта, им за пять-шесть лет было написано «десятков около двух» повестей на русском языке; до нас же дошло только девять.

В прозаических произведениях Шевченко, как и в его лирике, немало автобиографических черт; его личные знакомые нарисованы здесь без всякого вымысла. Брюллов и его ученики в повести «Художник», Глинка со своими друзьями в повести «Музыкант», Жуковский и Венецианов, Сошенко и Штернберг, Демский и Фицтум — «Художник», первые учителя маленького Тараса — «Княгиня»; точно описаны обстоятельства его выкупа из крепостной зависимости, первые годы учения в Академии художеств — «Художник», поездка на Украину — «Капитанша» и вынужденное путешествие из Петербурга в Оренбург, а затем в Орскую крепость и к Аральскому морю — «Близнецы».

Можно не сомневаться в том, что в повестях Шевченко точно воспроизведены даже многие диалоги.

Но и в то же время его повести — это не просто дневниковые записи. В них широко обобщена тогдашняя социальная действительность.

Типична тяжелая судьба талантов из народа, изображаемая в повестях «Художник» и «Музыкант»; так же типичны и образы девушек, ставших жертвой помещичьего произвола, и целая галерея помещиков-крепостников.

«Эти растлители, беззаконники законом ограждены от кнута, то их следует и должно казнить и позорить как гнусное нравственное безобразие!» — восклицает Шевченко, вскрывая причины нищеты народа. «Грустно видеть грязь и нищету на земле скудной, бесплодной, где человек борется с неблагоприятною почвой и падает, наконец, изнеможенный под тяжестью труда и нищеты. Грустно! Невыразимо грустно! Каково же видеть ту же самую безобразную нищету в стране, текущей млеком и медом?..»

Проза Шевченко, как и все его творчество, проникнута ясной идеей крестьянской революции.

Героиня ранней поэмы Шевченко, Катерина, обещанная и брошенная ланом-офицером, не мечтала ни о чем, кроме того, чтобы вернуться к своему возлюбленному и вернуть ему сына. При встрече с офицером Катерина умоляла его о снисхождении, унижалась перед ним:

— Мой любимый, Ваня!

Мое сердце, мое счастье!
Словно в воду канул!—
Ухватилась за стремя,
А он и не глянул,
На ходу коня пришпорил...
— ...Я твоя, твоя Катруся,
Сокол ты мой ясный!
Мой любимый, мой желанный,
Ты хоть не чурайся!
Я тебе батрачкой стану...
С другою встречайся,
С целым светом!.. Я забуду,
Что тебя ласкала,
Народила тебе сына!
Позор принимала...

Здесь все внимание читателя сосредоточено на страданиях несчастной «покрытки», обездоленной, беспомощной и покорной.

Совершенно иначе ведет себя героиня повести «Наймичка», Лукия, так же бессовестно соблазненная и обманутая корнетом-уланом, так же вынужденная оставить родной дом и скрываться со своим сыном Марком у чужих людей. Но здесь офицер сам ищет встречи с опозоренной им крепостной матерью, и не она, а он подвергается унижениям, когда умоляет брошенную им же раньше Лукию вернуться к нему:

«— Чего ты плачешь, моя прекрасная? Или тебе стало жаль прошлого? Что ж, от тебя зависит, начнем снова.

Она плюнула ему в глаза.

— Не сердися, моя крошечка, я тебе всего, всего себя, всю жизнь свою тебе отдам.

Лукия с омерзением отворотилась от него...

— Да пойми ты меня! Ведь ты будешь офицерша!

— Не хочу я быть офицершей. Я мать офицерского сына, с меня довольно!»

Таких речей не могла произносить не только Катерина, но и Ганна, героиня поэмы «Наймичка» (1847 год), сюжет которой положен в основу позднейшей повести с тем же заглавием.

Лукия исполнена гордого чувства собственного достоинства.

Угнетенный и поработенный народ бесстрашно борется за свою волю

и счастье. Герои этой борьбы появляются и «а страницах повестей Шевченко.

Один из персонажей повести «Варнак», беглый крепостной крестьянин, нападает на господ, чтобы «брать у богатых и отдавать бедным»; он говорит товарищу:

— Слезами, земляче, ничего не возьмешь. Мы тоже, как видишь, были люди бедные, обиженные, загнанные, ограбленные! А теперь, слава милосердому богу, пануем! Да еще как пануем! Только глянь да посмотри! Ударь горем о землю! Пойдем с нами, вольными казаками, право слово, не будешь каяться! Мы живем вольно, весело! Палаты наши — зеленая дуброва! Майданы наши — степь широкая, привольная!

Нам неизвестны стихотворные произведения Шевченко новопетровского периода.

Между тем мы уверены, что Шевченко, заявлявший неоднократно — «меня пускай хотя б распнут, а я стихам не изменяю», — на протяжении всей ссылки писал стихи.

Когда поэту в Нижнем Новгороде, в 1858 году, были возвращены друзьями его «захалавные» книжечки со стихами 1847–1850 годов и Шевченко начал переписывать и обрабатывать свою, как он ее называл, «невольничью поэзию», он в новой большой тетради из желтой сафьяновой кожи заполнил страницы 1—178 (около половины всего ее объема) стихотворениями 1847–1850 годов, а затем оставил десяток страниц чистыми и только на странице 189-й начал записывать стихи 1857 и последующих годов.

Совершенно ясно, что к этим чистым страницам Шевченко собирался еще вернуться, чтобы заполнить их стихами, созданными в 1851–1856 годы; поэт либо надеялся восстановить их по памяти, либо рассчитывал получить откуда-то. Во всяком случае, даже если стихов за эти шесть лет было и не очень много (для них оставлено в альбоме всего десять страниц), то они все же были и затем оказались утраченными.

Нужно при этом иметь в виду, что в сафьяновую тетрадь поэт переписывал не все сочиненное им за годы ссылки, а только лучшее: например, из двенадцати стихотворений 1850 года, имеющих в «захалавной» книжечке, была переписана только половина, и то в значительно переработанном виде. Следовательно, и из стихов 1851–1856 годов не все предназначались в этот позднейший альбом. Этим, возможно, и объясняется то, что чистыми оставлено не так уж много страниц.

Нет никакого сомнения и в том, что некоторые стихотворения Шевченко, записанные им в сафьяновую тетрадь в начале 1858 года,

сочинены именно в Новопетровском укреплении.

Например, стихотворение «Считаю в ссылке дни и ночи...» существует в двух редакциях и обычно датируется двумя датами: «Оренбург, 1850 — Н. Новгород, 1858». Вторая редакция, записанная в 1858 году в Нижнем Новгороде на страницах 167–168 сафьяновой тетради, настолько отличается от первой, что представляет, по существу, совершенно новое произведение.

В этой, второй, редакции есть строчки о море, которое здесь упоминается трижды; причем один раз в совершенно категорической фразе, рисующей нынешнее времяпрепровождение поэта:

Посижу трошки, погуляю,
На степ, на море подивлюсь...

В первой редакции, написанной в Оренбурге и сохранившейся на страницах 369–373 «захалавной» книжечки, никакого моря нет, да это и понятно: от Оренбурга до любого моря — сотни километров! Но ведь в Нижнем Новгороде тоже нет моря, следовательно, скорее всего стихотворение это (во второй редакции) сочинено в Новопетровском укреплении и только записано по памяти в Нижнем.

Есть и другие мотивы, заставляющие относить некоторые произведения к новопетровскому периоду: большие поэмы, законченные после ссылки («Неофиты», «Мария») или оставшиеся незаконченными, видимо, создавались на протяжении многих лет.

Так, во всех изданиях Шевченко поэма «Неофиты» датируется «8 декабря 1857, Нижний Новгород», и считается (на основании «Дневника»), что поэт написал ее за четыре дня — с 5 по 8 декабря.

Но в «Неофитах» более пятисот строк, сложнейшая композиция, множество философских, публицистических и лирических отступлений, — такие вещи не пишутся экспромтом, и не в манере Шевченко было писать большие поэмы так быстро. Несомненно, поэт работал над ней еще в Новопетровске, а пролог (цитированный выше) написан во время тюремного заключения еще в Оренбурге или в Орской крепости (в 1850 году).

Поэма «Мария» (свыше семисот строк) тоже была создана не сразу; еще в начале 1850 года из Оренбурга поэт писал Варваре Репниной о замысле, сходном с этой поэмой. Возможно, что основная работа над ней протекала в Новопетровске.

Шевченко имел привычку писать начерно на клочках бумаги, которые затем большей частью уничтожал. Сотни строк своих стихов он держал в памяти. Эта привычка особенно укрепилась, конечно, в результате «высочайшего» запрещения писать и преследований, которым подвергался поэт за свои стихи.

Во всяком случае, хотя рукописи новопетровского периода до нас не дошли, нельзя сомневаться в том, что творческий процесс и в эти семь лет не прекращался у Шевченко ни на один день.

Многие художественные работы новопетровского периода оказались навсегда утраченными. До нас дошли лишь отдельные рисунки. Например, сепия «Казахские дети-байгуши (нищие)» 1853 года. На первом плане — полуголые ребятишки с протянутыми за подаянием руками и простодушными личиками, а за ними — в дверях, в солдатском мундире — сам Шевченко выжидательно и с укоризной глядит через головы детей внутрь дома, на невидимых хозяев, к которым обращена просьба байгушей.

Или другой, еще более выразительный рисунок — «Государственный кулак». Те же дети-байгуши под раскрытым окном дома, из которого вместо ожидаемой милостыни высунулся огромный, грозный малышам кулак; «а этот красноречивый кулак даже лежащая рядом собачонка взирает с любопытством и опаской...

Сохранились рисунки серии «Притча о блудном сыне»; акварели «Казахский мальчик играет с кошкой», «Казахская девушка Катя», сепия «Казарма». Дошли до нас некоторые портреты, в том числе Ираклия и Агаты Усковых. Не дошли опыты Шевченко в скульптуре: слишком хрупкими были материалы (глина, алебастр), из которых изготовлял он свои фигурки.

Одна из этих групп, рассказывает Косарев, изображала следующую сцену. «Стоит в летнее время раскрытая киргизская кибитка, в которой у задней стены лежит киргиз с открытым ртом и довольной физиономией, играя на домре (род русской балалайки), сам полунагой, и на голове надет кошмяной колпак. Снаружи против «его у дверей стоит жена с улыбающейся к нему физиономией, толчет в деревянной ступе просо; она, как видно, одета в рубашку, и на голове чаблук. Около нее сидят на земле двое играющих нагих маленьких детей — мальчиков; с правой стороны кибитки привязан теленок, а с левой три козы».

...Последнее десятилетие до своих ста лет доживает Тобакаяк Мамбетов, старый чабан с Мангышлака. Но глаза у него зоркие, и память у него светлая: он помнит все песни, сказки, легенды, что слышал за свою долгую жизнь.

И помнит он, как отец рассказывал: много-много лет тому назад, когда совсем маленьким был Тобакаяк, загнали царские собаки на Мангышлак чудесного акына, ученого человека, искусного живописца.

— Болеет он за долю бедных людей, ходит к ним в жилища, дает им деньги, — рассказывали казахи. — Для «его все люди — это люди, и бедные, и богатые, казахи и русские — все для него равны. А зовут его Таразиакын, потому что он справедлив, как весы («терезы»),

И еще говорили об акыне так:

— Начальники стерегут его, чтобы не доходили к людям его правдивые песни; песен Тарази боится сам русский царь. Запрещают ему также рисовать, потому что, когда рисует Тарази людей, они становятся живыми, и царь боится и его рисунков тоже...

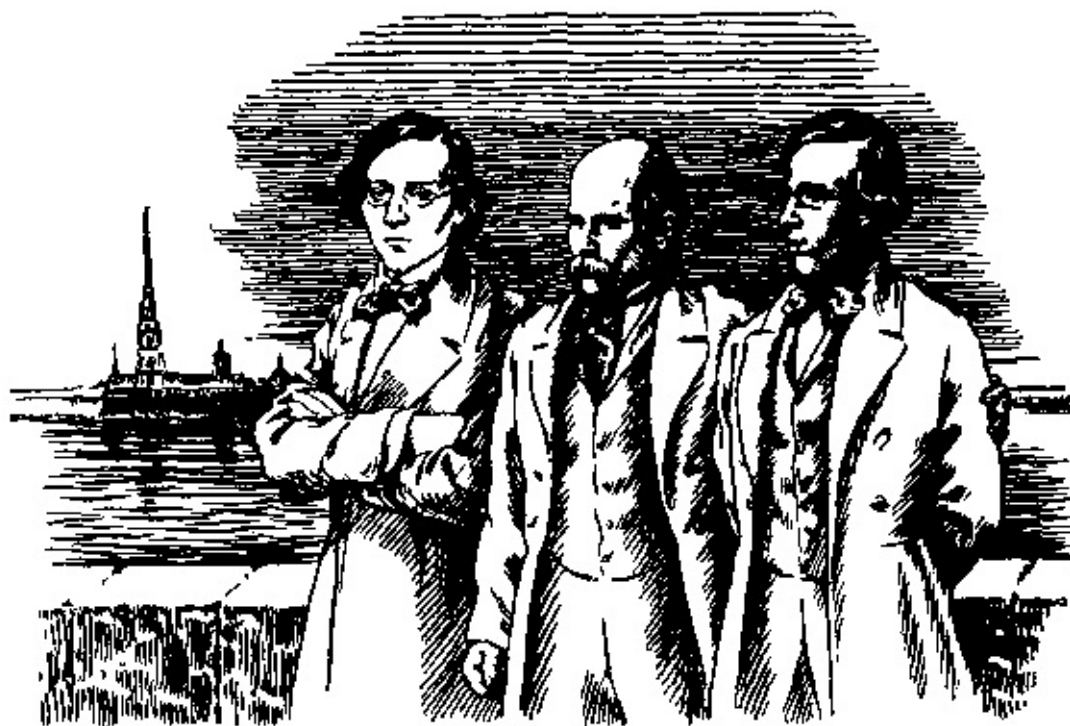
Тобакаяк Мамбетов вспоминает, что однажды пришли в гости к акыну Тарази девятнадцать казахов из самых глухих аулов. Они гостили у мудрого и отважного акына несколько дней, и тот делился с ними всем, что у него было, и приглашал их еще приезжать к нему в гости вместе с женами, с детьми, А на прощание Тарази сказал казахам:

— Верьте, что когда-нибудь и для бедных настанет счастливая пора, все люди, кто только трудится, казах ли он или русский, — все будут жить свободно и весело.

Долго, очень долго помнили бедняки-казахи эти слова. Потом они узнали, что жил с ними на Мангышлаке великий украинский акын Тарас Шевченко, мудрый, смелый и справедливый друг всех трудящихся, всех народов.

И на пустынном Мангышлаке из посаженной акыном Тарасом свежей зеленой ветви разросся густой и благодатный сад, который называют садом Шевченко...

Часть третья
ШТУРМАНЫ БУРИ



ШТУРМАНЫ БУРИ

XVIII. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это было накануне больших событий. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Народ русский собственной грудью защищал родную землю. При одной только обороне города русской славы Севастополя было потеряно убитыми и ранеными более ста тысяч человек. И все же в Крымской войне, как писал Энгельс, «царизм потерпел жалкое крушение... он скомпрометировал Россию перед всем миром и вместе с тем самого себя — перед Россией. Наступило небывалое отрезвление».

Крепостное крестьянство, неорганизованное и неграмотное, стихийно поднималось на борьбу против феодалов-помещиков, против царской чиновничье-полицейской системы угнетения. Число крестьянских восстаний к середине пятидесятых годов резко возросло по всей России.

Под влиянием растущего недовольства широких народных масс в России выдвинулась когорта славных глашатаев революционно-демократической идеологии.

Со страниц «Современника» зазвучала могучая революционная проповедь Чернышевского и Добролюбова. Из основанной еще в 1852 году в Лондоне Герценом первой в истории России «Вольной русской типографии» летом 1855 года начали выходить ежегодные сборники «Полярной звезды», а 1 июля (19 июня) 1857 года вышел № 1 «Колокола» — первой бесцензурной русской газеты. Рабье молчание, говорит Ленин, было нарушено.

«Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению разночинцев...». По всей России распространялись нелегальные издания Герцена и Огарева; усиливались студенческие волнения; начали появляться первые революционные прокламации; все это, в обстановке непрерывно растущего крестьянского движения, говорило о том, что в России к концу 50-х годов сложилась революционная ситуация, то есть, как указывал Ленин, «при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной».

В феврале 1855 года, в разгар Крымской войны, неожиданно умер «коронованный жандарм» Николай I. Упорно толковали о самоубийстве совершенно растерявшегося царя. Передавали также, что предсмертным

его напутствием наследнику были слова:

— Сдаю тебе команду не в добром порядке...

Новый царь, Александр II, такой же крепостник и реакционер, как и его отец, тем не менее вынужден был дать политическую амнистию и из страха перед революцией пойти на отдельные робкие уступки.

Главным вопросом был вопрос крестьянский, вопрос о крепостном праве и о материальном положении крестьянства. В марте 1856 года Александр II (выступил перед московским дворянством и заявил, что он не имеет намерения отменить крепостное право немедленно, но что «лучше освободить крестьян сверху, нежели дожидаться, когда они сами себя освободят снизу»).

На каторге, в тюрьмах, в далекой ссылке в это время томились сотни людей, сосланных еще в кровавое царствование Николая I. Но амнистия ссыльным давалась новым царем туго, с длительными проволочками и многочисленными ограничениями.

Даже остававшиеся еще в живых декабристы, проведенные в ссылке уже тридцать лет, получили по амнистии в августе 1856 года (в связи с коронацией Александра II) «высочайшее дозволение» возвратиться «с семействами из мест ссылки и жить, где пожелают», но только «за исключением обеих столиц»!

А положение Шевченко было особенно тяжело: над ним тяготело изуверское «запрещение писать и рисовать». Хотя формально ему дано было пресловутое «право выслуги» (то есть право получения унтер-офицерского чина), однако же на деле производство всякий раз упиралось в какую-то невидимую преграду, и это доводило его до исступления.

Еще летом 1854 года Новопетровское укрепление инспектировал начальник артиллерийских гарнизонов Оренбургского округа генерал-майор Фрейман. Любитель живописи, он сочувственно относился к Шевченко; поэт через генерала даже передавал свои и рисунки и скульптурные работы друзьям в Оренбург. Фрейман представил командиру корпуса Перовскому доклад о своевременности производства Шевченко в унтер-офицеры.

О докладе Фреймана Шевченко знал и, как он сам писал в апреле 1855 года Плещееву, «существовал этой бедной надеждою до конца марта текущего года». О том же сообщал поэт Брониславу Залескому: «Уведоми меня, принял ли В. А. Перовский представление Фреймана обо мне и пошло ли оно дальше? Если ты знаком с Фрейманом, то попроси его, пускай он тебе покажет мою «Ночь» акварелью...»

Однако батальонный командир Шевченко, майор Львов, на запрос

корпусного начальства по поводу представления генерала Фреймана отвечал, что хотя Шевченко «в поведении и оказывает себя хорошим, но по фронтовому образованию слаб», а потому и не заслуживает производства в унтер-офицеры.

И вот вместо производства в конце марта 1855 года «почта, — рассказывает сам Шевченко, — привезла приказ майора Львова, чтобы взять меня в руки и к его приезду непременно сделать меня образцовым фронтовиком, а не то — я никогда не должен надеяться на облегчение моей участи...» (письмо к Плещееву).

«Настоящее горе так страшно потрясло меня, что я едва владел собою. Я до сих пор еще не могу прийти в себя...», — признавался поэт в письме к Залескому.

Долгое время оставались безуспешными и хлопоты друзей в Петербурге. Тотчас после смерти Николая I они снова усиленно стали добиваться освобождения поэта.

12 апреля 1855 года Шевченко написал письмо вице-президенту Академии художеств Ф. П. Толстому, хорошо его помнившему по прежним годам. Федор Толстой, увековеченный Пушкиным в «Евгении Онегине» («...Толстого кистью чудотворной...»), скульптор, рисовальщик и гравёр, почетный член Флорентийской академии, был когда-то близок с декабристами. В следственных материалах о восстании 1825 года ему посвящены следующие строки: «По показанию Пестеля и других, Толстой был членом и председателем Коренной Думы и находился на совещании оной в 1820 году, где держал сторону республиканского правления».

Жена Толстого, Анастасия Ивановна, дочь бедного армейского офицера, дружески поддерживавшая поэта Никитина, и к судьбе Шевченко отнеслась с большим участием, стала ему писать в Новопетровск ободряющие письма.

Переговоры с Толстыми о помощи Шевченко вели многие: художники Алексей Чернышев и Николай Осипов, княжна Варвара Репнина и домашний учитель Толстых Старов, Писемский и Карл Бэр.

Михаил Лазаревский 7 августа 1856 года писал поэту из Петербурга: «Письмо твое к графу Федору Петровичу получено; но и кроме его добрые люди просили о тебе и получили обещание, которое, может быть, скоро и сбудется...»

А Бронислав Залеский 3 июля того же года сообщал Шевченко из Оренбурга: «На днях же, когда я был в Кочевке у Василия Алексеевича [Перовского], фрейлина Марии Николаевны ¹⁶ графиня Толстая ¹⁷

расспрашивала меня с участием про тебя и сказала, что имеет из Петербурга поручение просить за тебя Василия Алексеевича, и прибавила, что он ей обещал... Она вчера уехала обратно в Петербург и, верно, там не забудет горестного твоего положения».

Известно, что Зигмунт Сераковский, часто бывавший в доме у Толстых и хлопотавший об освобождении из ссылки Шевченко, был уже в это время тесно связан с кружком «Современника» и лично с Чернышевским; через Сераковского Чернышевский и его друзья также принимали участие в этих хлопотах.

Александр II между тем собственноручно вычеркнул имя поэта из представленного ему списка амнистированных и лицемерно воскликнул:

— Этого я не могу простить, потому что он оскорбил мою мать! — Имелась в виду поэма «Сон», сатирически изображавшая царя и царицу. Таким образом, новый царь уже хорошо знал и о судьбе Шевченко и о его стихах — знал, ненавидел и боялся!..

Шли дни за днями, месяцы за месяцами; друзья обнадеживали изгнанника, сообщали ему, что освобождение приближается...

А Шевченко 18 июня 1857 года записывал с горечью в своем «Дневнике»:

«Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать, так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же такая разница? В 1847 году в этом месяце меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. А теперь дай бог на седьмой месяц получить от какого-нибудь батальонного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма, но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы!»

Потребовалось действительно немало времени, пока тупая царская ненависть была, наконец, сломлена. Но и само долгожданное «помилование» оставляло для Шевченко очень мало свободы.

1 мая 1857 года было «высочайше повелено»: «Во внимание к ходатайству президента Академии художеств» рядового Шевченко «уволить от службы, с учреждением за ним там, где он будет жить, надзора, впредь до совершенного удостоверения в его благонадежности, с воспрещением ему въезда в обе столицы и жительства в них».

Напряженно ждал Шевченко приказа об увольнении.

«Я уложил свои пожитки, книги и прочее, купил полог от волжских комаров, сшил из шести листов бумаги тетрадь для путевого журнала и сел над морем ждать погоды, — писал он Михаилу Лазаревскому 1 июля, — да

и поныне жду, мой друг единственный! И бог святой знает, когда я дождусь этой хорошей погоды! Полог уже у меня украли; тетрадь, заготовленную для дороги, всю до листика исписал «местными впечатлениями», а из Оренбурга ни слуха, ни духа...»

Когда же, наконец, в воскресенье, 21 июля, в 9 часов утра, почтовая лодка привезла долгожданное предписание — не только самому Шевченко, но я его ближайшему новопетровскому начальству остался неизвестен подлинный зловещий текст генерал-губернаторского приказа от 28 мая за № 543 (оставшийся в батальонном штабе в Уральске) о том, что «рядовой, бывший художник Тарас Шевченко уволен от службы, с воспрещением въезда в обе столицы и жительства в них, с тем, чтобы он имел жительство впредь до окончательного увольнения его на родину в г. Оренбурге».

Итак, Шевченко еще предстояло дожидаться окончательного увольнения, и, может быть, долгие годы. Так было позднее, мы знаем, с Чернышевским, которого сослали в Сибирь «на семь лет», а пробыл он в ссылке и почти в одиночном заключении двадцать пять лет...

Прав был поэтому Шевченко, когда, узнав о лицемерном царском «повелении», с гневом записал в своем «Дневнике»:

«Хороша свобода! Собака на привязи! Это, значит, не стоит благодарности, Ваше Величество...»

Но 21 июля поэт еще ничего этого не знал.

Трудно сказать, из каких соображений подполковник Михальский, батальонный командир Шевченко, местопребывание которого было в Уральске, в своем распоряжении командиру роты от 26 июня за № 1651 не сообщил ничего об условиях, сопровождавших отставку «бывшего художника», а ограничился предписанием явиться ему в Уральск, «с выключкою из списочного состояния».

Эта недомолвка дала повод майору Ускаву, коменданту Новопетровского укрепления, нарушить прямой смысл приказа батальонного начальства; он решился на собственный страх и риск выдать уволенному рядовому «билет» для проезда «без излишних издержек и потери — времени, — как объяснял впоследствии Усков, — ближайшею дорогою, через Астрахань, принимая во внимание, что отправление Шевченко к батальонному штабу в г. Уральск сделает ему разницу более тысячи верст лишних».

Итак, 1 августа 1857 года Шевченко был выдан отпускной «билет № 1403» следующего содержания:

«Предъявитель сего, служивший в Новопетровском укреплении линейного Оренбургского батальона № 1, рядовой из бывших художников

Санкт-Петербургской академии художеств, Тарас Григорьев Шевченко, согласно предписания командира означенного батальона от 26 июня, за № 1651, последовавшего к заведывающему здесь двумя ротами того же батальона, а мне сообщенного в его рапорте от 29 июля, за № 535, по высочайшему повелению уволен от службы и ныне, по желанию его, отправлен на местожительство свое в г. Санкт-Петербург...»

Заручившись этим драгоценным документом, Шевченко не стал дожидаться прихода почтовой лодки; отказавшись и от «кормовых» и от «прогонных» денег, уговорился со своими друзьями-рыбаками Николаевской станицы, нанял у них простую рыбацкую шлюпку и в девять часов вечера 2 августа, задушевно распроставшись с новопетровцами, подарив одному из «конфирмованных», Феликсу Фиалковскому, том сочинений Гоголя, отправился по Каспийскому морю в Астрахань...

Широкий морской простор, раскрывшийся перед поэтом и сверкавший под ослепительными лучами южного летнего солнца, не говорил ли ему, что впереди снова огромное поле деятельности, творчества, борьбы?..

Казалось, что впереди еще целая жизнь...

Солнце уже садилось, когда Шевченко в пять часов вечера 5 августа, к исходу третьего дня плавания на уютной рыбацкой ладье, приплыл в Астрахань.

«Все это так нечаянно и так быстро совершилось, что я едва верю совершившемуся», — записал он в этот день в «Дневнике».

Еще подходя к Бирючьей косе (главная застава на одном из многочисленных устьев Волжской дельты), он увидел сотни кораблей, и ему показалось, что проток Волги, на котором расположена Астрахань, по ширине и глубине не уступает Босфору... Воображению поэта уже рисовался прекрасный древний город, нечто вроде Венеции эпохи дождей.

Однако вскоре его взору представился довольно грязный, хотя и бойкий, торговый город, застроенный громадным количеством самых жалких лачуг с их до невероятия бедным населением; а над всем этим неприглядным ансамблем высился своими белыми зубчатыми стенами знаменитый Астраханский кремль, стройный, великолепный пятиглавый собор XVII столетия.

Внимание Шевченко привлек старинный Успенский собор, построенный крепостным зодчим Дорофеем Мякишевым. Осматривая сооружение с помощью соборного ключаря Гавриила Пальмова, Шевченко спросил:

— Кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора?

— Простой русский мужичок! — отвечал ключарь.

«Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка!» — подумал про себя поэт.

Зная о существовании книги казанского профессора Рыбушкина «Записки об Астрахани», изданной еще в 1841 году, Шевченко решил справиться о ней в городской публичной библиотеке.

Увы, в библиотеке, состоявшей из одной-единственной комнаты, кроме старого усатого библиотекаря, напоминавшего своим видом скорее всего полицейского чиновника, не было ничего интересного: ни читателей, ни книг. На полках валялись никем не читанные старые-престарые журналы, сочинения графа Хвостова и Карамзина да переводные романы Александра Дюма и Эжена Сю...

«Записки об Астрахани» оказались на руках у какого-то бухгалтера, к которому Тараса Григорьевича прямо и отослал библиотекарь. Впрочем, на следующий день библиотека оказалась вообще запертой — «вероятно, по случаю дождя и грязи», как догадался Шевченко.

А книжных магазинов (так же как и колбасных лавок) в Астрахани вообще не было.

«На человека, прозябавшего, как я, семь лет в нагой пустыне, всякий городишка должен бы был произвести приятное впечатление, — размышлял Шевченко. — Со мной случилось не так. Стало быть, я не совсем еще одичал. Это хорошо».

В Астрахани в то время не было даже гостиницы; Шевченко пришлось бы ночевать на улице, если бы он случайно не встретил прибывшего по служебным делам плац-адъютанта Новопетровского укрепления — прапорщика Льва Александровича Бурцева, своего хорошего друга, который тут же и пригласил поэта к себе на квартиру.

Вскоре выяснилось, что отплыть из Астрахани вверх по Волге не так-то просто: как раз в это время, в период Нижегородской (так называемой «Макарьевской») ярмарки, все пароходы находились в Нижнем Новгороде, и раньше чем через десять дней ни один не должен был прийти в Астрахань. Опять предстояло томительное ожидание. По счастью, рядом жил врач — некто Моравский. Он узнал фамилию Шевченко и рассказал затем товарищам-врачам, что в одном с ним доме поселился известный украинский поэт.

Астраханские врачи, ссыльные поляки Степан Незабытовский и Томаш Зброжек, оказались воспитанниками Киевского университета; с Киевщины был и их товарищ — доктор Чельцов; все они знали Шевченко; а преподаватель истории и географии в астраханской гимназии Иван Петрович Клопотовский, тоже окончивший Киевский университет, считал

даже Шевченко своим «учителем», так как в 40-х годах слышал несколько лекций по теории живописи, прочитанных Тарасом Григорьевичем.

И вот в «Дневнику» Шевченко под 16 августа 1857 года появилась такая запись рукой Клопотовского: «...Встретил я в Астрахани старого моего бывшего профессора Киевского университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта, и встретил я его с величайшею радостью... как отца, как брата, как величайшего друга... Воспитанник Киевского университета Иван Клопотовский».

Клопотовский и Зброжек сообщили о приезде Шевченко молодому рыбопромышленнику-миллионеру Сапожникову, знакомому Шевченко по Петербургу: будучи в то время, как вспоминает поэт, «шалуном-школьником в детской курточке», Сапожников брал у Шевченко (учившегося тогда в Академии художеств) уроки живописи.

Сапожникову, разумеется, льстило возобновление старого знакомства с поэтом, пользовавшимся теперь громкой славой. Астраханский богач пригласил Шевченко плыть вместе с ним в Нижний на отдельном пароходе.

На пароходе «Князь Пожарский», принадлежавшем пароходной компании «Меркурий», не было других пассажиров, кроме самого Сапожникова с женой и родственниками. Капитаном парохода оказался тоже старый знакомый Шевченко, большой любитель литературы и человек передовых взглядов — Владимир Васильевич Кишкин.

Это соблазнило поэта, тем более что пассажирских пароходов в ближайшее время не предвиделось. Заранее купленный в пароходстве проездной билет Шевченко отдал в пользу неимущих пассажиров и согласился ехать на «Князе Пожарском».

Плавание по Волге продолжалось целый месяц и доставило поэту много удовольствия.

На пароходе была приличная библиотека, в частности «все книги всех русских журналов за текущий год» (это Шевченко специально записывает в «Дневнике»!).

А у Кишкина, кроме того, имелась «заветная портфель», в которой он хранил всевозможные запрещенные произведения, начиная от декабристской «Полярной звезды» за 1824 и 1825 годы с отрывками из поэм Рылеева «Войнаровский» и «Наливайко» и кончая самыми последними творениями «подпольной музыки», вроде стихотворения Петра Лаврова «Русскому народу», популярной в то время «Кающейся России» Хомякова, политических стихов Бенедиктова и даже новинок лондонской типографии Герцена и Огарева.

В этой «заветной портфели» нашлось, например, стихотворение

Хомякова, звучавшее тогда очень злободневно:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна..

«Глубоко грустное это стихотворение» поэт даже переписал в свой дневник.

Шевченко искренне любил Кишкина — «поклонника родной обновленной поэзии» и всего «упруго-свежего, живого» в политической мысли.

Во время стоянки «Князя Пожарского» вблизи Симбирска на пароход пришел в гости капитан оказавшегося рядом парохода «Иван Сусанин», некий, как выяснилось, тверской помещик Возницын; он, между прочим, заговорил о том, что вскоре предстоит освобождение крестьян от крепостной зависимости.

«Он хотя и либерал, — записал Шевченко в «Дневнике», — но, как сам помещик, проговорил эту великолепную новость весьма не с удовольствием. Заметя сие филантропическое чувство в помещике Тверской губернии, я нашел лишним завести разговор с помещиком о столь щекотливом для него предмете. И, не разделив восторга, пробужденного этой великой новостью, я закутался в свой чапан и заснул сном праведника...»

Зато с каким сочувствием рассказывает поэт на тех же страницах своих записок о встречах и задушевных беседах со служащими на пароходе людьми из народа!

Как восхищают его рассказы «несловоохотливого лоцмана» о Степане Разине, пугавшем и московского царя и персидского шаха, которых Шевченко тут же именуется «открытыми большими грабителями». Проплывая мимо легендарного утеса Степана Разина, поэт записывает в «Дневнике» беседу с матросом и лоцманом:

«По словам того же рассказчика, Разин не был разбойником, а он только брандвахту держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям. Коммунист, выходит». Слово «коммунизм», как видим, хорошо знакомо поэту.

Шевченко подолгу беседует с матросами, записывает от вахтенных

бурлацкие поговорки, рассказы о местных событиях. Например, подъезжая уже к Нижнему, он занес в журнал:

«С рассветом «Князь Пожарский» поднял якорь, свистнул, фыркнул и весело захолопал своими огромными колесами. Хорошо! Берега быстро меняют свои контуры. Пролетаем мы мимо красивого по местоположению села Зименки, помещика Дадьянова, и замечательного по следующему происшествию. Прошедшего лета, когда поспело жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов, при благополучном ветре. Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие!»

Буфетчиком на «Князе Пожарском» был вольноотпущенный крестьянин Алексей Панфилович Панов. Этот «крепостной Паганини», как называет его Шевченко, обладал выдающимися музыкальными дарованиями.

Слушая чудесную игру на скрипке «своего возлюбленного виртуоза», поэт думал о том, сколько таланта, сколько творческих сил таится в народе и ждет только возможности, чтобы проявиться, чтобы завоевать себе заслуженное право на существование!

В «Дневнике» сохранилась записанная рукой народного музыканта скрипичная мелодия; скромный буфетчик самоучкой неплохо владел музыкальной грамотой.

С Алексеем Пановым связана и следующая запись:

«Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную, бледную красавицу-ночь и сонный, обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев. Восхитительная, сладко успокоительная декорация!

И вся эта прелесть, вся эта зримая, немая гармония оглашается тихими, задушевными звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец возносит мою душу к творцу вечности — пленительными звуками своей лубочной Скрипицы: Он говорит, что на пароходе нельзя держать хороший инструмент, но и из этого, нехорошего, он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я никогда не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно глубоко унылых песен.

Благодарю тебя, крепостной Паганини! Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный [друг]! Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ! Скоро ли долетят эти

пронзительные вопли до твоего свинцового уха, нащ праведный, неумолимый, неублажимый боже?..»

Даже музыка, которую поэт всегда так любил, не может отвлечь его от постоянной, настойчивой мысли о судьбах народа, о его страданиях.

«Под влиянием скорбных, вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника, — продолжает он свои размышления, — пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревушим чудовищем, с раскрытой огромной пастью, готовую проглотить помещиков-инквизиторов.

Великий Фультон! И великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя.

Мое пророчество несомненно. Молю только многотерпеливого господу умалить малую часть своего бездушного терпения. Молю его коснуться своим свинцовым ухом хоть одной полноты этого, душу раздирающего, вопля, вопля своих искренних, простосердечных молителеей!»

Все эти вопросы так занимают Шевченко, что он даже за карандаш берется редко.

«Берега Волги от Царицына до Дубовки с часу на час делаются выше, живописнее, очаровательнее, — записывает он 28 августа. — И я не сделал еще ни одного очерка. Недосуг».

Но вот в руки Шевченко попал номер 163-й «старого знакомца» — газеты «Русский инвалид» со статьей «Новейшие сведения о действиях китайских инсургентов» — о знаменитом всенародном Тайпинском восстании в Китае:

«21 марта исполнилось четыре года от вступления последователей Гонг-Сиутсиуна ¹⁸ в [Нанкин]... Люди эти, несмотря на всевозможное противодействие, прошли войною через самые населенные страны, полосу более чем во сто немецких миль, справа и слева захватывая и удерживая за собою города... Богдыханцы напрягли величайшие усилия, чтобы удержать инсургентов, «о все было напрасно: Гонг и соправители его были непобедимы».

И дальше в той же статье: «Бог идет с нами, — говорил Гонг, — что же смогут против нас демоны? Мандарины эти — жирный убойный скот, годный только в жертву нашему небесному отцу...»

Выписав последнюю фразу, Шевченко восклицает с нетерпеливой

надеждой:

«Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про русских бояр то же самое?»»

В этом чаянии близкого революционного восстания и краха царско-помещичьей России жили в это время все революционеры-демократы. Передавая впоследствии тогдашние настроения этого круга деятелей, Чернышевский в своем автобиографическом романе «Пролог» писал:

«В 1830 году буря прошумела только по Западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в последующий раз захватит Петербург и Москву...»

31 августа «Князь Пожарский» остановился у саратовской пристани. Шевченко воспользовался тем, что пароход простоял здесь почти целые сутки, и с полудня до часу ночи провел у жившей в Саратове матери Костомарова — старушки Татьяны Петровны.

Когда Шевченко вошел к ней и произнес первые слова приветствия, Татьяна Петровна тотчас узнала его по голосу:

— Тарас Григорьевич...

Но, взглянув на гостя, старушка заколебалась: нет, она ошиблась, неужели этот лысый бородатый старик с печальными глазами — Шевченко?.. Они виделись всего десять лет тому назад, и тогда это был молодой человек с густыми каштановыми кудрями, горячим, живым взглядом выразительных, смеющихся глаз.

Шевченко убедил Татьяну Петровну, что это все-таки именно он, — и Костомарова обняла его и долго плакала, целуя Тараса Григорьевича в голову. «И боже мой, чего мы с «ей не вспомнили, о чем мы с ней не переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы и лепестки фиалок, присланные ей сыном из Стокгольма от 30 мая. Это число напомнило нам роковое 30 мая 1847 года, и мы как дети зарыдали»

И не почувствовал ли в этот момент Шевченко, состарившийся в тяжелой солдатчине, как далеко разошлись дороги его и Костомарова, спокойно совершавшего сейчас научно-развлекательное турне по Швеции, Германии, Франции, Швейцарии, Италии?..

На следующий день после отплытия из Саратова в капитанской каюте рано утром собралось небольшое общество «Князя Пожарского».

Шевченко, как всегда, стремился свести обычные обывательские пересуды на литературные темы. Он предложил Сапожникову прочитать вслух перевод Бенедиктова из Барбье — «Собачий пир». Сапожников с пафосом читал:

Когда взошла заря и страшный день багровый,
Народный день настал,
Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый
По улицам хлестал,
Когда Париж взревел, когда народ воспрянул
И малый стал велик,
Когда в ответ на гул старинных пушек грянул
Свободы звучный клик!

Перевод Бенедиктова имелся у капитана Кишкина в рукописной копии (в России, конечно, он не мог быть напечатан!), а в библиотеке Сапожникова нашлось старое французское издание «Ямбов» Барбье, и собравшиеся решили сравнить перевод с оригиналом. Французский текст тут же был прочитан вслух, и все единогласно решили, что перевод выше подлинника; с этим согласился и Шевченко, неплохо еще с молодых лет знавший французский язык

Это чтение породило у поэта ряд мыслей о Бенедиктове, с которым он был знаком еще в 40-х годах в Петербурге:

— Бенедиктов, певец кудрей не переводит, а воссоздает Барбье Непостижимо! Неужели со смертью этого огромного нашего Тормоза, как выразился Искандер, поэты воскресли, обновились? Другой причины не знаю..

Выражение Герцена «Тормоз» — о Николае I — Шевченко встретил в изданной в Лондоне книжке «14 декабря 1825 и император Николай (По поводу книги барона Корфа)», в которой, кроме статьи Герцена о декабристах, были помещены материалы полицейского следствия по делу о декабрьском восстании.

Шевченко с величайшим волнением читал этот герценовский сборник. Искандер (Герцен) говорил здесь о декабристах: «Кому же и поднять голос за великих предшественников наших, как не нам, русским, покинувшим наше отечество для того, чтоб раздавалось хоть где-нибудь свободное русское слово? Тем более, что мы от них считаем наше духовное рождение, что их голос разбудил нас к жизни и их пример поддержал через все существование наше».

О «незабвенном» Николае Герцен писал в своей статье с величайшим презрением и гневом, заявляя, что «надобно отказаться от своевластия власти, от казарменного деспотизма, от глухонемого канцелярского управления». И дальше:

«Александр II, как Николай, хочет продолжать роль отпора, помехи всякому движению, всякой идее, быть тормозом «а всяком колесе России и Россией тормозить всю Европу. Тогда надобно ему идти гораздо дальше Николая!.. Тогда надобно не намекать на освобождение крестьян, а ободрить помещиков насчет рабства!..»

Незабвенный Николай... Помеха, тормоз... И с этого времени в «Дневнике» Шевченко вместо имени Николая I появляется — «неудобозабываемый Тормоз».

С этого же времени вновь обостряется интерес Шевченко к деятельности декабристов, он возвращается опять к своему давнему замыслу: написать о них эпопею.

Могло ли прийти в голову праздновавшему медовый месяц своей свободы поэту, что в это самое время полицейские, военные и всякие иные власти уже вели бурную переписку по поводу самовольного отбытия опасного ссыльного, которого напрасно ожидали в Уральске и Оренбурге!

Комендант Новопетровского укрепления Усков уже писал объяснения по поводу допущенной им оплошности и просил эти свои объяснения «повергнуть на милостивое благоусмотрение его превосходительства г-на корпусного командира».

И как раз 18 сентября, когда «Князь Пожарский», спокойно пыхтя тяжелой паровой машиной и размахивая огромными колесами, приближался к цели своего плавания, а Шевченко, пожимаясь от ранних в этом году морозов, вглядывался в туманную даль, высматривая нижегородские причалы, — только что назначенный, взамен ушедшего «на покой» Перовского, новый командир корпуса и генерал-губернатор самарский и оренбургский Катенин отдал приказ, в котором указывал Ускову, что тот поступил «весьма опрометчиво», и только «в уважение долговременной усердной и полезной службы» ограничился «на сей раз объявлением строгого замечания».

Предписания немедленно задержать Шевченко, отобрать у него «билет № 1403» и вернуть «бывшего рядового» в Оренбург «до окончательного увольнения его оттуда на родину» были уже разосланы во все концы: и в петербургскую городскую полицию, и в московскую городскую полицию, и в правление Академии художеств, и нижегородскому полицмейстеру.

Именно это последнее и дожидалось поэта при первом его шаге в Нижнем Новгороде.

XIX. «ВОЛЯ НА ПРИВЯЗИ...»

20 сентября в одиннадцать часов утра Шевченко сошел на пристань, и в тот же день главноуправляющий пароходной компании «Меркурий» Брылкин объявил ему, что имеет «особенное предписание полицмейстера» дать знать, как только «отставной солдат Оренбургских батальонов, из политических ссыльных», Шевченко Тарас прибудет в город.

— Я хотя и тертый калач, — признавался Шевченко, — но такая неожиданность меня сконфузила...

Можно себе представить, какой это был действительно неожиданный и тяжкий удар!.. Поэт не удержался от горестных восклицаний:

— Вот тебе и Москва! Вот тебе и Петербург! И театр, и академия, и Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия!.. Проклятие вам, корпусные и прочие командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!

Шевченко в Нижнем, поскольку выезд явно задерживался, снял квартиру у нижегородского архитектора Павла Абрамовича Овсянникова и, по совету друзей, решил сказать больным «во избежание путешествия, пожалуй, по этапам в Оренбург за получением указа об отставке...»

— Я рассудил, — замечает с горечью поэт, — что не грех подлость отвратить лицемерием, и притворился больным.

Конечно, в этот момент Шевченко еще не мог предполагать, что в Нижнем ему придется прожить в ожидании решения своей судьбы целых полгода. Он и не подозревал, что дело не просто в «получении указа об отставке», а в том, что сама отставка не была для него долгожданным «освобождением из ссылки», а обуславливала дальнейшее — и вдобавок бессрочное — поселение в том же хорошо знакомом поэту Оренбурге.

К счастью, нижегородское «начальство» отнеслось к Шевченко довольно снисходительно. Сыграла здесь известную роль и общая «либеральная» атмосфера первых лет после смерти Николая I, и — непосредственно — еще одно обстоятельство: в это время нижегородским гражданским и военным губернатором был Александр Муравьев, тот самый Александр Муравьев, который в 1816 году основал (вместе с Павлом Пестелем) первую тайную организацию декабристов — «Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов отечества».

«Революционер и мечтатель в юности, прошедший долгую школу

дореформенного режима, сам он стоял на грани двух периодов русской жизни, — писал о Муравьеве Короленко в своей очерке «Легенда о царе и декабристе». — Через все человеческие недостатки, тоже, может быть, крупные в этой богатой, сложной и независимой натуре, светится все-таки редкая красота...»

С большой настороженностью отнесся Шевченко к бывшему декабристу, ставшему губернатором. Но в конце концов Муравьев оставил у поэта благоприятное впечатление; 19 февраля 1858 года, описывая в «Дневнике» официальное открытие губернского «Комитета по улучшению быта крестьян», Шевченко замечает:

«Великое это начало благословлено епископом и открыто речью военного губернатора А. Н. Муравьева. Речью не пошлою, официальною, а одушевленною, христианскою речью. Но банда своекорыстных помещиков не отозвалась ни одним звуком на человеческое святое слово. Лакеи! Будет ли напечатана эта речь?.. Просил достать копию речи Муравьева».

Мы знаем (об этом рассказывает и Щепкин), что Муравьев с большим уважением относился к Шевченко и содействовал тому, что нижегородские власти не стали требовать от поэта возвращения в Оренбург. Нижегородский полицмейстер полковник Лаппо-Старженецкий и его помощник Кудлай ¹⁹ («не похож на полицмейстера, как и товарищ его Лапа», — пишет о них Шевченко) запросто посещали поэта дома.

Полицейский врач Гартвиг, «спасибо ему, — рассказывает Шевченко, — без малейшей формальности нашел меня больным какой-то продолжительной болезнью, а обязательный г. Лапа засвидетельствовал действительность этой мнимой болезни».

Так Шевченко получил возможность переждать в Нижнем Новгороде, пока велась длительная бюрократическая переписка. Опять друзья хлопотали о новом «освобождении» поэта и о разрешении ему въехать в столицу. Опять Третье отделение составляло «справки», а министерства — «доклады» «о дозволении отставному рядовому Шевченко проживать в С.-Петербурге и, для усовершенствования в живописи, посещать классы Академии...»

Весь конец сентября погода стояла прескверная, пасмурная, часто шел дождь, и по залитым грязью, немощеным нижегородским улицам нельзя было пройти.

В эти дни Шевченко был в очень плохом настроении, почти никуда не выходил и лежал, читая то «Голоса из России» (лондонское издание Герцена), то исследование Костомарова о Богдане Хмельницком,

печатавшееся в «Отечественных записках». «Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального бунтовщика; поучительная, назидательная книга!» — отзывался об этой работе Шевченко.

Наконец в один прекрасный день, в первых числах октября, ударили морозы. Ясное зимнее солнце засверкало на многочисленных куполах Нижегородского кремля — выдающегося архитектурного сооружения начала XVI столетия.

— Старинные нижегородские церкви меня просто очаровали; они так милы, так гармонически пестры... — говорил Шевченко.

Он бродит по Нижнему с карандашом и листом бумаги, срисовывая памятники старинного русского зодчества.

В начале октября Брылкин познакомил его с Николаем Константиновичем Якоби, передовым и культурным человеком. «Один из нижегородских аристократов», «довольно едкий либерал» и «вдобавок любитель живописи» — так характеризует его поэт. Шевченко стал бывать у Якоби.

Как-то в первые же дни знакомства Шевченко был приглашен к Якоби на обед. «Вместо десерта, — записывает поэт в «Дневнике», — он угостил меня брошюрой Искандера, лондонского второго издания: «Крещеная собственность». Сердечное, задушевное человеческое слово! Да осенит тебя свет истины и сила истинного бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник!»

В «Крещеной собственности» Герцена Шевченко прочитал: «Пока помещик не уморил с голоду или не убил физически своего крепостного человека, он прав перед законом и ограничен только одним топором мужика. Им, вероятно, и разрубится запутанный узел помещичьей власти».

«Топор», как символ вооруженного восстания, крестьянской революции, постоянно с этого момента фигурирует в стихах Шевченко.

В это время он работал над начатой еще в Новопетровске поэмой «Неофиты». В ней, обращаясь к царю, поэт восклицает.

Не громом праведным, святым
Тебя сразят — ножом тупым
Тебя зарежут, как собаку,
Иль обухом убьют!

К близким знакомым Якоби принадлежал инспектор пансиона в Нижнем Новгороде, известный фольклорист, впоследствии профессор

Казанского университета, Виктор Гаврилович Варенцов, составитель нескольких сборников русских народных песен. С ним Шевченко сошелся в это же время.

В ноябре — декабре 1857 года Варенцов ездил в Петербург и при этом выполнил ряд поручений Шевченко, встретился в Москве и Петербурге с его друзьями и доставил затем поэту письма от Бодянского, Щепкина, Кулиша. Варенцов привез с собой портрет Герцена, который Шевченко тут же перерисовал в свой «Дневник», записав (под 10 декабря):

«Привез он [Варенцов] для Н. К. Якоби, свинцовым карандашом нарисованный, портрет нашего изгнанника, апостола Искандера. Портрет должен быть похож, потому что не похож на рисунки в этом роде. Да если бы и не похож, то я все-таки скопирую для имени этого святого человека».

У Якоби часто бывал декабрист Иван Александрович Анненков, его родственник (мать Анненкова была урожденная Якоби).

— Седой, величественный, кроткий изгнанник, — рассказывал о нем Шевченко, — подтрунивает над фаворитами коронованного фельдфебеля Чернышевым и Левашевым, председателями тогдашнего верховного суда. Благоговею перед тобою, один из первозванных наших апостолов! Говорили о возвратившемся из изгнания Николае Тургеневе, о его книге, говорили о многом и многих и в первом часу ночи разошлись, сказавши: до свидания.

Когда 3 ноября 1857 года Шевченко впервые увидел сборники Герцена «Полярная звезда» с литографированными портретами пяти повешенных Николаем декабристов — Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола и Каховского — над изображением плахи и топора, как символ народного отмищения, — Шевченко не мог сдержать горячего волнения:

— Обертка, то есть портреты первых наших апостолов-мучеников, меня так тяжело, грустно поразили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. Как бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнусного события! С одной стороны портреты этих великомучеников с надписью: «Первые русские благовестители свободы». А на другой стороне медали — портрет неудобозабываемого Тормоза с надписью: «Не первый русский коронованный палач».

В Нижнем Новгороде начал Шевченко героическую эпопею о декабристах, которой предполагал дать заглавие «Сатрап и дервиш». В нее должны были войти сатирические образы из поэмы, задуманной еще в Новопетровском укреплении. Эта поэма не была написана, сохранилось лишь начало ее, известное под названием «Юродивый». Здесь вновь (как

когда-то в сатире «Сон») на контрастном противопоставлении построен рассказ о борцах за благо народа:

Да чур проклятым тем Неронам!
Пусть тешатся кандалным звоном, —
Я думой полечу в Сибирь,
Я за Байкалом гляну в горы,
В пещеры темные и в норы,
Без дна глубокие, и вас,
Поборники священной воли,
Из тьмы, и смрада, и неволи
Царям и людям напоказ
Вперед вас выведу, суровых,
Рядами длинными, в оковах...

Шевченко прокликает и бога, покровительствующего царям:

Безбожный царь, источник зла,
Гонитель истины жестокий,
Что натворил ты на земле!
А ты, всевидящее око!
Ты видело ли издалика,
Как сотнями в оковах гнали
В Сибирь невольников святых?
Когда терзали, распинали
И вешали?! А ты не знало?
Ты видело мученья их
И не ослепло?!

Призывом к борьбе за свои права, к всенародной революции проникнута поэма «Неофиты». Сам Шевченко указывал, что эта поэма «будто бы из римской истории»; в действительности же он, как это часто делали революционные поэты, под видом древнего Рима, жестокого цезаря Нерона и первых мучеников-христиан изобразил царскую крепостническую Россию, ее самодержцев и помещиков, угнетенный народ и самоотверженных борцов за его свободу.

Поэт рисует картину жандармского произвола и репрессий, которая,

конечно, не могла восприниматься как картина «древнего Рима», слишком она напоминала николаевскую Россию:

Нет ни одной семьи иль хаты,
И нету ни сестры, ни брата,
Чтоб слезы не лились рекой,
Чтобы не мучились в тюрьме
Или в далекой стороне...

Но эти муки изгнанников, без суда сосланных десятками, сотнями и тысячами «в Сибирь, иль то бишь... в Скифию!», как иронически замечает Шевченко, не пропадут даром, близится час расплаты:

Кишат
Невольниками Сиракузы —
В подвалах, в тюрьмах А Медуза
И голытьба в трактире спят.
Но скоро грозная восстанет
И кровью вашею, тираны,
Похмелье справит.

Поэт верит в победу народа над своими угнетателями; вдохновляют народ в борьбе сосланные царем революционеры, которые вновь становятся в ряды бойцов против деспотии:

Нерон жестокий! Божий суд,
Внезапный, праведный, в дороге
Тебя застигнет. Приплывут
И прилетят — на белом свете
Их много — мученики, дети
Святой свободы. Вкруг одра,
Вкруг смертного одра предстанут
В оковах...
А ты, мучитель, во сто крат
Собаки хуже ты!

К «святым воинам-мстителям» поэт исполнен горячей любви и уважения, для него именно в них заключен идеал служения Истине:

Хвала!
Хвала вам, души молодые,
Хвала вам, рыцари святые,
На веки вечные хвала!..

Нетрудно в образе этих «святых рыцарей» узнать новое воплощение темы декабризма, новое раскрытие смысла и значения беззаветного подвига «первых русских благовестителей свободы».

Поэт верит, что скоро

Закуют царей несытых
В железные путы
И оковами двойными
Руки им окрутят.
И неправедных осудят
Осуждением правым....

Героиня поэмы, мать осужденного тиранами борца за народ, вместе с тысячами таких же, как она, страдальц явилась в столицу молить о защите «цезаря и бога»; поэт с болью говорит об этих ослепленных людях:

Пришли их тысячи в слезах,
Со всех концов страны... О горе!
Кого вы умолять пришли?
Кому вы слезы принесли,
К кому в несчастье и позоре
Пришли с надеждой? Горе! Горе!
Рабы незрячие! Кого,
Кого вы молитесь, благие.
Рабы незрячие, слепые?
Палач не слышит ничего!..
Молитесь правде на земле,
Другим богам не возносите
Своей молитвы! Всё обман:

И поп, и царь...

«Неофиты» принадлежат к самым замечательным созданиям поэта-революционера. Эта поэма показывает, каких творческих высот достиг Шевченко именно во второй половине 50-х годов, какие идейно и художественно значительные вещи он в этот период способен был создавать.

Трагичен и в то же время бесконечно светел образ матери-героини, после гибели сына-революционера исполнившейся великих сил для служения тому делу, за которое он отдал жизнь: «слова его живые в живую душу приняла» и «по торжищам, дворцам, чертогам» «слово правды понесла».

Этой же осенью, вскоре по приезде в Нижний, Шевченко близко познакомился с семьей Владимира Александровича Трубецкого, председателя нижегородской палаты гражданского суда. В «Дневнике» читаем беглую запись:

«Ходил к Трубецкому, весьма милому князю-человеку...»

Трубецкие давно проживали в доме отца Добролюбова и находились со всей его семьей в самых тесных дружеских отношениях: после смерти родителей Добролюбовых у Трубецких и их родственников жили на воспитании младшие сестры Добролюбова — Юленька и Катенька.

Николай Александрович состоял с Трубецкими в оживленной переписке, всегда присылал им свежие книжки «Современника», указывая, какие из неподписанных (или подписанных псевдонимами) статей принадлежат ему.

Сам Добролюбов побывал в Нижнем Новгороде совсем незадолго до приезда сюда Шевченко, летом 1857 года, и жил в том же доме своего покойного отца, что и Трубецкие.

Навещая часто Трубецких и постоянно читая внимательным образом «Современник», Шевченко мог выделить в журнале статьи молодого критика, уже обратившего тогда на себя общее внимание. А на протяжении зимы 1857/58 года в «Современнике» было помещено до сорока статей и рецензий Добролюбова.

Добролюбов и Шевченко были близки друг другу своими литературными и общественными интересами и симпатиями.

Это отразилось в дневниках великого украинского поэта и великого русского критика. Оба они восторженно отзываются на появление «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина, оба зачитываются

герценовской «Полярной звездой», оба горячо воспринимают усиление борьбы против крепостного права, даже оба трогательно заносят в свои дневники одно и то же впечатление от добытого при помощи друзей портрета Герцена...

Удивительно ли, что Шевченко с таким нетерпением ожидал разрешения отправиться в Петербург, в это время уже вполне определив круг своих единомышленников и союзников!

1 октября открылся в Нижнем театральная сезон. Брылкин пригласил Шевченко в свою ложу. Давали, как пишет поэт, «сентиментально-патриотическую драму Потехина «Суд людской — не божий». Драма-дрянь с подробностями».

Герои этой пьесы, одержимые величайшими страстями, легко сходили с ума и затем так же быстро выздоравливали; отец препятствовал счастью влюбленных, девушка в отчаянии отправлялась в монастырь, а возлюбленный обращался к публике со следующей тирадой:

«— Один у меня отец — царь батюшка, ему пойду служить, за него да за матушку Россию сложу свою голову бедную!»

Понятно, что вся эта напыщенная, псевдопатриотическая фальшь в духе пьес Кукольника и Полевого вызвала у Шевченко отвращение.

Но его привлекла естественная, правдивая игра некоторых актеров; он сейчас же отметил у М. В. Мочаловой «движения настоящей артистки»; он замечает, что «натурально и благородно» играет Е. М. Васильева.

И Шевченко делается завсегдатаем местного театра, одного из старейших в России, помогает в художественном оформлении спектаклей, пишет в «Нижегородских губернских ведомостях» театральные рецензии.

Тогдашний Нижегородский театр пользовался у местных жителей большой популярностью. В партере, возле оркестра, постоянно можно было видеть занятых театралов Сапожниковых; красивую, высокую и стройную фигуру старика с седыми кудрями — Ивана Александровича Анненкова; другого седовласого почтенного патриарха, тоже участника декабристского движения и тоже хорошего знакомого Шевченко, — Александра Дмитриевича Улыбышева, автора классических книг о Моцарте и Бетховене.

«Старик Улыбышев, — писал поэт Щепкину, — тот самый, что написал биографию Бетховена, не пропускает ни одного спектакля: так горячо любит театр!»

Многие приезжали в театр вместе со своими многочисленными семьями и, запасшись напитками и закусками, располагались в собственных ложах. А именитые нижегородские купцы прямо шли в

первый ряд в огромных лисьих шубах и валеных калошах; шубу подстилали под себя, а калоши ставили под кресла.

Среди актеров у Шевченко скоро завязались знакомства. Особенно сблизился о «с семьей потомственных театральных работников Пиуновых, у которых была юная дочь-артистка, шестнадцатилетняя Катенька; Шевченко еще в первых спектаклях отметил способности Катеньки Пиуновой.

«Спектакль был хоть куда, — записывает он в «Дневнике». — Васильева, в особенности Пиунова, была естественна и грациозна. Легкая, игровая роль ей к лицу и по летам».

Позже поэт отзывается о молодой исполнительнице роли в водевиле Ленского «Простушка и воспитанная» еще более восторженно:

«Пиунова сегодня в роли Простушки (водевиль Ленского) была такая милочка, что не только московским, петербургским — парижским бы зрителям в нос бросилась!»

На бенефис Катеньки Пиуновой Шевченко откликается подробной рецензией, которую из местной газеты перепечатали даже «Московские ведомости».

«Статья о бенефисе г-жи Пиуновой, кажется, много шуму наделала по городу», — отзывались об этой рецензии газеты.

Шевченко стал чуть ли не ежедневным гостем в семействе Пиуновых. Его здесь полюбили, а младшие ребяташки по целым часам забавлялись, распевая и отплясывая вместе с Тарасом Григорьевичем: «Ах, чеберики-чок-чебери!..» Малыши, плохо еще говорившие, называли Шевченко просто «Чеберик» или «Чок-чеберик».

Поэт любил слушать рассказы Пиуновых о том, что бабушка Катеньки, Настасья Ивановна, о которой с гордостью говорили в семье, была когда-то крепостной актрисой князя Шаховского; о том, что с отцом Катеньки дружили Самарин и Живокини, который еще в 40-х годах восхищался, как он сам говорил, «ярким талантом» маленькой Катеньки и помог определить девочку в Московскую театральную школу (Катя Пиунова и обучалась в школе под фамилией Живокини).

И вот Шевченко принялся воспитывать в Пиуновой литературный, эстетический вкус.

Он заставляет девушку декламировать Кольцова и Крылова, сам переписывает для нее стихи Курочкина, носит ей для чтения Пушкина, Гоголя и «Губернские очерки» Щедрина, наконец выбирает для ее выступления сцену из «Фауста» Гёте и сам достает ей с большим трудом экземпляр гениальной трагедии в переводе своего покойного приятеля

Губера.

Словом, Шевченко по-настоящему увлекся молодой Пиуновой. Она уже привлекала его не только как способная актриса, а и как женственное, миловидное существо, веселое и жизнерадостное, любившее и попеть, и поплясать, и подурачиться.

Времяпрепровождение поэта в семействе Пиуновых удовлетворяло его давнюю тоску по родному углу и семейному уюту.

В письмах к друзьям Шевченко, не имевший сам возможности выехать из Нижнего Новгорода, просил их приехать к нему, хоть ненадолго, только повидаться да отвести душу.

И как больно было ему, когда Костомаров, с которым Шевченко связывали такие незабываемые моменты в жизни, отказался заехать к старому товарищу:

— Не хотел сделать ста верст кругу, чтобы посетить меня в Нижнем. А сколько бы радости привез... — с горечью говорил поэт.

Еще грубее отвечал на искреннее дружеское приглашение другой бывший «союзник» Шевченко — Кулиш.

«Не подобает мне, друг мой Тарас, — с лицемерной важностью писал бывший участник Кирилло-Мефодиевского «братства», — ездить на беседу с тобой. Я ведь, на свою беду, человек в обществе заметный, так сразу все и узнают, что поехал за семь верст киселя хлебать... Так не жди меня и не пеняй на меня».

И в том же письме еще одна «братская» отрава:

«Печатать я тебе на первых порах ничего не советую...»

И еще в одном письме так: «О русских твоих повестях скажу, что опозоришь ты себя ими перед всеми, и больше ничего... Когда б у меня деньги, я бы у тебя купил их все вместе да сжег... Может, ты мне не веришь, может, скажешь, что я россиянина не люблю, потому и ругаю...»

Как мог Шевченко стерпеть подобные отзывы? Дело ведь было не только в том, что Кулишу просто «не нравились» повести Шевченко; нет, он действительно «россиянину» (то есть русский народ, русский язык, русскую культуру) не любил! Ему претило реалистическое, революционно-демократическое направление произведений Шевченко!

Кулиш и прежде, в начале 40-х годов, морщился от «гайдамацкого духа» стихов Шевченко, он никогда не мог «простить» поэту уничтожающий сарказм его «Сна», а теперь...

Убедившись (по прочтении в рукописи поэмы «Неофиты») в неизменности революционных убеждений Шевченко, Кулиш стал поучать своего бывшего товарища: «Твои «Неофиты», брат Тарас, хороши, да не

для печати... Не годится напоминать сыну об отце, ожидая от сына какого бы то ни было добра... Не только печатать эту вещь рано, но разреши мне, брат, не посылать и Щепкину, потому что он с нею повсюду станет носиться, и пойдет о тебе такой слух, что во всяком случае не следует пускать тебя в столицу».

Иезуитское это письмо, исполненное восторга перед «сыном», то есть Александром II, и страха перед голосом правды, произвело на поэта грустное впечатление.

Перед ним все больше раскрывалось настоящее лицо его «земляков», с которыми он еще в Кирилло-Мефодиевском обществе горячо спорил, а теперь настала пора уж и совсем раззнакомиться, настолько «порознь, разными путями» (по словам самого Кулиша) они шли.

А в то же время подлинные друзья не забывали Шевченко.

Семидесятилетний больной старик Щепкин в ответ на предложение Шевченко встретиться где-нибудь под Москвой сам предложил приехать в Нижний.

«Извещаю, — писал сначала Щепкин Тарасу, — что ежели тебе очень хочется увидеть мою старую фигуру, то можно приехать: у сына под Москвой есть дача, в 40 верстах, Никольское...»

Но для поездки у Шевченко, может быть, нет лишних денег, тут же высказывает свое, как он пишет, «нескромное» подозрение Щепкин; далее для поездки нужно иметь полицейское разрешение.

«Ежели все это будет очень затруднительно, — заключал свое сердечное письмо старик, — то не приехать ли мне в Нижний? И это не для того только, чтобы повидаться, а поговорить бы о многом нужно».

И вот когда «братчики» Костомаров и Кулиш не двинулись с места для того, чтобы проведать несчастного поэта в его новой, нижегородской ссылке, престарелый русский артист в декабрьскую зимнюю стужу отправился за четыреста с лишним верст на лошадях на свидание с опальным другом...

«Жду к себе из Москвы дорогого гостя, — взволнованно писал Шевченко художнику Осипову. — И кого бы, вы думали, я так трепетно ожидаю? Семидесятилетнего знаменитого старца и сердечного друга моего, Михаила Семеновича Щепкина!.. Как мне воспрещен въезд в столицы, то этот старец-юноша, несмотря на мороз и вьюгу, едет ко мне, единственно для того, чтобы поцеловать меня! Не правда ли, юноша? И какой, сердечный, пламенный юноша! Я горжусь моим старым, моим гениальным другом, и горжусь справедливо...»

Глухой зимней ночью, в три часа пополуночи, в самый сочельник, 24

декабря, приехал в Нижний Новгород Михаил Семенович Щепкин.

Друзья после десятилетней разлуки бросились друг другу на шею и плакали сладкими слезами в этих братских объятиях.

В этот день Шевченко записал в «Дневнике»:

«Праздникам праздник и торжество есть из торжеств!..»

И затем на шесть дней записи прерываются: поэт слишком был поглощен пребыванием в Нижнем дорогого гостя.

Шевченко встретил Щепкина задушевнейшим посвящением к своей только что законченной поэме «Неофиты»; посвящение было так и озаглавлено — «на память 24 декабря 1857 года», то есть на память о приезде великого артиста в Нижний. Поэт обращался к другу:

Любимец вечных муз и граций!
Я жду тебя и тихо плачу,
Я думу скорбную мою
Твоей душе передаю.
Так прими же благосклонно
Думу-сиротину,
Наш великий чудотворец,
Друг ты мой единый!

Очень знаменательно, что свою ярко революционную поэму «Неофиты» — ту самую, от которой в ужасе шарахнулся национал-либерал Кулиш, — Шевченко посвятил Щепкину. Совершенно очевидно, что какие-то заветные думы и чувства поэта разделял его седовласый друг, кудесник, чудотворец, как называл его часто Шевченко.

Щепкин, разумеется, далеко не был единомышленником «молодых штурманов бури», которым полностью принадлежали все помыслы Шевченко.

В 1853 году Щепкин нарочно ездил в Лондон, чтобы уговорить Герцена ликвидировать «Вольную русскую типографию» и открыть себе этим путь к возвращению на родину.

— Какая может быть польза от вашего печатания? — говорил тогда Герцену Щепкин. — Одним или двумя листами, которые проскользнут, вы ничего не сделаете, а Третье отделение будет все читать да пометать!

Но прошло несколько лет, появилась «Крещеная собственность», стала выходить «Полярная звезда», наконец зазвенел «Колокол».

И когда в 1857 году сын Щепкина — Николай Михайлович — открыл

в Москве книжный магазин для распространения передовой литературы, то отец был прекрасно осведомлен, что, помимо «явной» продажи разрешенных книг, сын еще более занят доставкой изданий запрещенных (именно с этой целью Николай Щепкин посетил в июне 1857 года Герцена и увез от него в Россию целый транспорт литературы).

По сведениям полиции, в 1857 году «во время ярмарки в Нижнем Новгороде и в продолжение зимы один из сыновей Щепкина уезжал несколько раз из Москвы и, как говорят, развозил несколько тысяч экземпляров запрещенных сочинений на русском языке»

Нет ничего не вероятного в том, что и Михаил Семенович, приехав зимой 1857 года в Нижний, также доставил сюда кое-какую «нелегальщину». Во всяком случае, Шевченко в это время мельком упомянул в «Дневнике», что он списывал у Щепкина запрещенные сатирические стихи.

Вполне естественно, что Шевченко и Щепкин, расставшиеся в середине сороковых годов, и теперь встретились сердечными друзьями.

Щепкин часто читал публично шевченковские стихи, особенно «Думы мои, думы...» и посвященную ему «Пустку». Хотя и далекий от революционных убеждений, великий артист был в искусстве активным борцом за реализм и демократизм, и ему во многом были созвучны произведения поэта-революционера.

Ведь недаром Белинский говорит о Щепкине: «Торжество его искусства состоит не в том только, что он в одно и то же время умеет возбуждать и смех и слезы, но в том, что он умеет заинтересовать зрителей судьбою простого человека и заставить и рыдать и трепетать от страданий какого-нибудь матроса, как Мочалов заставляет их рыдать и трепетать от страданий принца Гамлета или полководца Отелло».

Приезд в Нижний Новгород знаменитого артиста сделался событием в жизни города. Щепкин выступал в местном театре в «Ревизоре» Гоголя, в классическом украинском водевиле Котляревского «Солдат-чародей», в переводной пьесе «Матрос» французских драматургов Соважа и Делурье, о которой Белинский еще в 1844 году писал, что особенно хорош Щепкин «в роли матроса (в пьесе того же имени), где от игры его невозможно не плакать».

По рекомендации Шевченко Катя Пиунова выступала вместе с великим артистом. И в роли Татьяны («Солдат-чародей») она так понравилась и Щепкину и Шевченко, что с этой поры они в своей переписке называют Екатерину Пиунову не иначе как «Татьяной», «Тетясей», «Танечкой».

Шесть дней провел Щепкин у Шевченко в Нижнем и перед самым Новым годом возвратился опять в Москву. Как сон пролетели эти дни, и оба затем вспоминали о них с искренней радостью

«Старый чародей наш, — писал поэт Сергею Тимофеевичу Аксакову, — своим посещением сделал из меня то, что я и теперь еще не могу прийти в нормальное состояние... И нужно же было ему такую штуку выкинуть! Нет, таких богатырей-друзей не много на белом свете. Да я думаю, что он один только и есть... Храни его господь на поучение людям!»

Старик Щепкин и сам был взволнован не менее, чем Шевченко.

«Дай душе отдохнуть, — писал он Тарасу по возвращении в Москву, — а то она все время была в таком волнении, что немножко и не под силу...»

Под впечатлением свидания со Щепкиным Шевченко создал цикл стихотворений, которые отослал другу в Москву в начале февраля 1858 года: «Доля», «Муза», «Слава».

Обращаясь к своей поэзии, Шевченко говорит:

Мы не лукавили с тобою,
Мы прямо шли, и ни зерна
У нас неправды за собою

Поэт, конечно, имел полное право утверждать это! И дальше:

Ты надо мной витай, учи,
Учи нелживыми устами
Вещать лишь правду в наши дни!

Зима была уже на исходе, а разрешение на въезд в Петербург все не приходило.

«Семь лет в Новопетровском укреплении мне не казались так длинны, как в Нижнем эти пять месяцев, — жаловался Шевченко в письме к Ираклию Ускову — Весною, если не разрешат мне жить в столицах, поеду в Харьков, в Киев, в Одессу и за границу... А там, что бог даст. Не погиб в неволе, не погибну и на воле, говорит малороссийская песня».

Давнишний план Шевченко уехать за границу теперь принимает новые формы; думая об эмиграции, он, конечно, все время помнит о деятельности за границей Герцена и Огарева...

Все резче и резче отзывается Шевченко о некоторых своих нижегородских знакомых, показавшихся ему сначала довольно порядочными людьми.

Встречаясь в Нижнем с Далем, Мельниковым-Печерским, Шевченко по-своему и очень справедливо характеризует этих людей. Нескрываемую антипатию вызывают у него мракобесные и охранительные тенденции Даля, реакционные, великодержавные взгляды Мельникова-Печерского.

Однажды Мельников в присутствии Шевченко завел речь об истории и быте различных народностей России. Он любил говорить красно. Затронутый вопрос был его любимой темой, но толковал он его с позиций, совершенно неприемлемых для Шевченко.

Внезапно неудержимый поток красноречия автора «Красильниковых» как-то сам собой оборвался: Мельников заметил обращенный на него в упор пристальный взгляд Шевченко.

Невольно умолкнув, расходившийся оратор, вероятно, тут только вспомнил, что перед ним сидит один из виднейших деятелей той самой «областной» культуры, о которой шла речь.

— Что же ты, Павел Иванович, дальше не брешь? — спокойно сказал Тарас Григорьевич Мельникову. — Ты уже набрехал три короба, брешь и четвертый.

И Шевченко стал сдержанно, веско выводить на чистую воду ретроградные суждения своего противника.

Одним из самых тяжелых переживаний Шевченко в конце пребывания его в Нижнем Новгороде явилась печальная развязка его искренних отношений с юной Катенькой Пиуновой.

Явившись как-то к Пиуновым, Тарас Григорьевич обратился к родителям Катеньки с просьбой внимательно выслушать его, так как он должен сообщить нечто весьма важное.

— Слушайте-ка, батя и мамка, — сказал поэт, — и ты, Катруся, прислухай... Вы давно меня знаете, видите: вот я, какой есть — такой и буду... У вас, батя и мамка, есть товар, а я купец — отдайте за меня Катрусю!..

Хотя и сама Катенька и ее родители все время охотно принимали у себя прославленного поэта и любили пользоваться его услугами, помощью (даже рассчитывали, что по протекции Шевченко, через Щепкина, Екатерине Борисовне, несмотря на ее молодой возраст, удастся заполучить выгодный ангажемент в Харьковском театре), но тут они испугались.

— Что в нем было жениховского? — откровенно сознавалась спустя тридцать лет Пиунова, вспоминая всю историю своего знакомства с

великим поэтом. — Сапоги смазные, дегтярные, тулуп чуть не нагольный, шапка самая простая, барашковая, да такая страшная и в патетические минуты Тараса Григорьевича хлопающая на пол в день по сотне раз, так что, если бы она была стеклянная, то часто бы разбивалась.

Прямо отказать на прямое предложение руки и сердца поостереглись (и это больше всего огорчило искреннего, прямодушного поэта!). Из боязни, что Шевченко оставит свои хлопоты о ней, Пиунова и ее родители пытались некоторое время хитрить и лицемерить.

Но скоро поэт раскусил всю фальшь «несносной лгуны» Пиуновой, и увлечение ею тотчас же развеялось: «дружба врозь», — записал Шевченко в «Дневнике» 23 февраля.

«Случайно встретил я Пиунову, — отмечает он 24 февраля, — у меня не хватило духу поклониться ей. Дрянь госпожа. Пиунова! От ноготка до волоска дрянь! Завтра Кудлай едет во Владимир, попрошу его взять и меня с собой. Из Владимира как-нибудь доберусь до Никольского и в объятиях моего старого, искреннего друга [Щепкина], даст бог, забуду и Пиунову, и все мои горькие утраты и неудачи...»

Уже спустя полгода он не без иронии писал Щепкину. «Скажи мне, будь добр, что бы из меня теперь было, если бы я тогда женился на моей милой Танюше? Погибший человек, да и больше ничего...»

Однако в то время разочарование в Катеньке Пиуновой доставило Шевченко много горечи и обиды. «Вот она где нравственная нищета», — с болью записывает он в свой «Дневник».

Но на следующий день, 25 февраля, как раз в день рождения и именин Шевченко, пришло, наконец, известие о разрешении выехать в Петербург.

— Лучшего поздравления с днем ангела нельзя желать! — воскликнул поэт.

В эти же дни получил Шевченко от Карла Ивановича Герна (через Лазаревского и Шрейдерса) свои драгоценные «захалавные» тетрадошки, оставленные им ровно восемь лет тому назад в Оренбурге на сохранение.

Шевченко немедленно принялся за переписывание, или, как он сам говорил, «процеживание» своей «невольничьей поэзии».

При этом он отбрасывал одни стихи, совершенно переделывал другие, добавлял к прежним, оренбургским и аральским своим стихотворениям и поэмам то, что родилось в его поэтическом воображении позже, в Новопетровске.

Уже частично переработанные по памяти в новопетровской ссылке стихи теперь, наконец, ложились на бумагу. Словно герои их, образы никогда не покидали поэта, всегда жили с ним, сопровождая его повсюду, в

самых тяжких испытаниях, непрерывно развиваясь, мужая...

К своей поэтической славе Шевченко обращался запросто:

Ты подсядь ко мне поближе,
С горя ли, от злости —
Выкинем с тобой такое, —
Удивятся гости
Мы обнимемся, сойдемся,
Будем жить не споря,
Потому что, дорогая,
Тот же до сих пор я.

Да, тот же, что и прежде, но еще выросший и возмужавший
возвратился поэт в строй бойцов.

XX. ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И СОЮЗНИКИ

Ждать полицейского пропуска пришлось еще почти две недели, и только 8 марта 1858 года, в три часа пополудни, покинул Шевченко Нижний и отправился в направлении Москвы по знаменитой, оплаканной в народных песнях Владимирской дороге — «Владимирке», по которой тысячи людей шли на каторгу, в ссылку.

Ночью на почтовой станции во Владимире у Шевченко произошла радостная встреча с Алексеем Ивановичем Бутаковым, уже капитаном 1-го ранга и начальником Аральской флотилии, созданной по его инициативе.

Бутаков направлялся вместе с женой в Оренбург, а потом вновь на берега Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи.

У Шевченко при одном воспоминании о его вынужденном пребывании в Оренбургском крае холодело сердце. Но энтузиазм отправлявшихся туда добровольцев-землепроходцев, исследователей неведомых мест был ему понятен и глубоко симпатичен.

10 марта, поздно вечером, Шевченко прибыл в Москву и остановился до утра в какой-то гостинице «под громкою фирмою отель, да еще и со швейцаром».

Поутру он оставил свое временное пристанище, показавшееся ему с первого взгляда очень неудобным («едва мог добиться чаю...»), и отправился на квартиру к Щепкину, жившему «у старого Пимена, в доме Щепотьевой». Здесь Шевченко и поселился, сердечно встреченный старым другом.

Простудившись в дороге, Тарас Григорьевич внезапно почувствовал себя плохо. Пришлось пригласить врача. Врач прописал лекарства, диету и запретил выходить на улицу.

— Вот тебе и столица! — жаловался Шевченко. — Сиди да смотри в окно на старого, безобразного Пимена!

Но уже на следующий день по Москве разнеслась весть о приезде Тараса Шевченко, и в дом к Щепкину началось настоящее паломничество: спешили навесить старого знакомого прежние друзья, являлись и люди, жаждавшие познакомиться со знаменитым изгнанником; приходили и гости-украинцы с рассказами о событиях на родине и москвичи.

12 марта больного Шевченко посетил бывший ректор Киевского университета Михаил Александрович Максимович («молодеет старичина,

женился, отпустил усы да и в ус себе не дует!»); затем Николай Христофорович Кетчер, друг Станкевича, Герцена и Огарева; историк и экономист Иван Кондратович Бабет, профессор Московского университета; известный фольклорист Александр Николаевич Афанасьев.

Один из сыновей Щепкина, Петр Михайлович, обрадовал большого дорогим для него подарком: двумя экземплярами фотографического портрета «апостола Александра Ивановича Герцена» (как тут же взволнованно записал в «Дневнике» благодарный Шевченко).

Вопреки запрещению врачей 17 марта Шевченко «вечером, втихомолку» вышел из дома; первый московский визит его был к княжне Варваре Николаевне Репниной.

Много воды утекло со дня их разлуки...

И вот сейчас, в Москве, как-то холодно встретился Шевченко с Репниной; прежнего взаимопонимания уже не было; княжна совсем ударилась в мистику; трудно было им возобновить задушевный разговор: они стали не те, что были в Яготине, и вокруг все было не то...

Оправившись, поэт целые дни ходил по Москве, любовался древним Кремлем, наслаждался просто московскими улицами, несмотря на весеннюю грязь; часто сопровождал его Щепкин.

«Радостнейший из радостных дней, — записывает Шевченко 22 марта. — Сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков».

Аксаков глубоко привлекал Шевченко своим ярким художественным талантом. Несмотря на ограниченность его политических взглядов, Шевченко искренне ценил Аксакова как писателя-реалиста, изумительного знатока родной природы и языка.

В доме Аксакова Шевченко слушал, как его дочь, Надежда Сергеевна, пела украинские народные песни. Шевченко здесь же прекрасно спел несколько великорусских песен, в том числе волжскую бурлацкую, вызвавшую слезы на глазах у присутствующих.

«Грешно роптать мне на судьбу, — писал Шевченко в эти дни в своем «Дневнике», — что она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться».

Часто бывал поэт в книжном магазине Николая Михайловича Щепкина, своеобразном клубе передовой литературно-ученой Москвы.

У Николая Михайловича достал последний, третий, выпуск «Полярной звезды», привезенный им недавно прямо из Лондона.

У него же поэт встретился с сыном декабриста — Евгением

Якушкиным, у которого затем бывал и дома. Якушкин подарил ему портреты знаменитого просветителя Николая Новикова и декабриста Сергея Волконского.

24 марта Н. М. Щепкин праздновал новоселье своего магазина и по этому случаю устроил большой званый обед. Шевченко был на нем.

А на следующий день, 25 марта, Максимович устроил торжественный обед в честь Шевченко.

На этом обеде Максимович прочитал посвященные поэту стихи, как и озаглавленные автором: «25 марта 1858». В стихах, между прочим, говорилось:

На свете благовіщення
Тебе привітаю,
Що ти, друже, вернувся
З далекого краю!..
Заспівай нам таких пісень,
Щоб мати Україна
Веселилась, що на славу
Тебе породила!

«В Москве более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии», — писал Шевченко.

Действительно, Москва приняла его с распростертыми объятиями. Можно сказать, что поэт здесь впервые по-настоящему ощутил, как за истекшие десять лет выросла его слава, как везде его знают и уважают, каким почетным гостем он является в каждом доме, куда бы ни вошел.

Но приближался срок отъезда в Петербург. Там друзья уже волновались; Михаил Лазаревский писал Тарасу Григорьевичу: графиня Толстая «чрезвычайно жалеет о твоей болезни и боится, чтобы Михайло Семенович не удержал тебя в Москве и на пасху; она даже сомневается в твоей болезни и думает, что ты остался там для Михайла Семеновича... Она просит тебя скорее приехать сюда, если можно — к праздникам».

Однако на пасху Шевченко еще был в Москве. Посмотрев прославленную пасхальную заутреню, «ночное кремлевское торжество», поэт иронически заметил:

— Если бы я ничего не слышал прежде об этом византийско-староверском торжестве, то, может быть, оно бы на меня и произвело

какое-нибудь впечатление, теперь же ровно никакого. Свету мало, звону много, крестный ход — точно вяземский пряник — движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни тени изящного. И до которых пор продлится эта японская комедия?

Зато с удовлетворением Шевченко отмечает полнейшее отсутствие религиозного культа в семье Щепкиных:

— В семействе Михаила Семеновича торжественного обряда и урочного часа для розговен не установлено. Кому когда угодно. Республика. Хуже, анархия! Еще хуже, кощунство! Отвергнуть веками освященный обычай обжираться и опиваться с восходом солнца Это просто поругание святыни.

26 марта Михаил Семенович Щепкин уезжал с семьей в Ярославль. Для Шевченко уже не было смысла дольше задерживаться в Москве. Проводив утром Щепкиных, он к двум часам дня, «забравши свою мизерию», отправился на вокзал недавно открытой железной дороги Петербург — Москва.

И вот поэт уже в поезде — впервые в жизни! «В два часа, закупоренный в вагоне, оставил я гостеприимную Москву».

«В 8 часов вечера громоносный локомотив свистнул и остановился в Петербурге», — записано в «Дневнике» 27 марта 1858 года.

Начинался новый, самый значительный, самый важный период жизни поэта.

С каким радостным волнением вступал Шевченко снова на оставленные почти полтора десятка лет назад камни северной столицы ведь с Петербургом были связаны самые лучшие воспоминания его молодости, самые душевные дружеские симпатии, самые сильные впечатления пытливой мысли!

В первый день своего пребывания в столице Шевченко словно в каком-то опьянении восторга.

«По снегу и слякоти пешком обегал я половину города почти без надобности», — записывает он в «Дневнике».

О Петербурге поэт мечтал долгие годы, о своей «милой академии», об оставленных здесь друзьях, об очередной художественной выставке, Большом театре, некогда расписанном его собственными руками, об Эрмитаже, наконец — о журналах и новых книгах, вместе с новыми живыми людьми и живыми мыслями, живым творческим делом.

Да, «северная Пальмира» снилась Шевченко в далекой ссылке, как снилась ему и его милая, родная Украина, его увитый садами Киев...

Теперь перед ним снова долгожданный Петербург. И снова он

раскрывает поэту дружественные, братские объятия. Снова встречается здесь поэта, на берегах холодной Невы, напротив леденящих душу твердынь Петропавловской крепости, горячее сочувствие сердец, которым близок свободолюбивый украинский Кобзарь.

Шевченко хорошо умел различать одних от других — Россию Зимнего дворца от России передовых борцов за свободу народа. Он не мог бы, подобно Кулишу, сказать, что «вообще не любит россиянины». Шевченко любил и Россию, и Петербург, и Москву, и братский русский народ, страдавший под пятой Зимнего дворца.

«По счастью, Зимний дворец — не вся Россия, даже не весь Петербург, — писал как раз в эти годы Герцен, обращаясь к поработленным славянским народам. — Другая Россия, вне дворца, вне табели о рангах, растет... Другая Россия приветствует вас своими братьями, протягивает вам руку; не смешивайте же ее с руками всех этих квартальных пропагандистов, агитаторов с Анной на шее...

— Да где она, эта другая Россия?

— Это трудно сказать — много посторонних нас слушают, — но ищите, и обрящете. На первый случай мы предлагаем вам наш вольный заграничный орган, чтоб перекликнуться с Россией».

Этими осторожными словами — «другая Россия растет», «трудно сказать — много посторонних нас слушают» — Герцен намекал, что ему известно (статья была напечатана в «Колоколе» в октябре 1860 года) о существовании в России растущего революционного подполья.

В самом деле, на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов в России начали сплетаться первые нити конспиративной революционной организации.

Во главе революционно-демократического движения в России стоял Чернышевский, представлявший вершину развития социалистической мысли домарковского периода.

Он оказывал влияние на революционно-демократических деятелей, на всех лучших представителей русской литературы. Не только Некрасов и Добролюбов, Салтыков и братья Курочкины, Михайлов и Шелгунов, Писарев и братья Серно-Соловьевичи, но даже Герцен и Огарев, принадлежавшие к старшему поколению и подчас полемизировавшие с «молодежью», испытывали идейное воздействие Чернышевского.

К участию в литературной и организационной деятельности «революционной партии» Чернышевский привлекал представителей различных национальностей России: деятелей польского освободительного движения (Зигмунт Сераковский, Ярослав Домбровский, Ян Станевич,

Павел Круневич, Иван Савицкий, Зигмунт Падлевский, Валерий Врублевский, Иосафат Огрызко), революционеров других народов (Микаэл Налбандян, Чокан Валиханов, Кастусь Калиновский, Нико Николадзе). Все они сознавали, что в лице Чернышевского русская демократия протягивает братскую руку помощи и соучастия в «общем деле» всем угнетенным народам России.

Казахский просветитель-демократ Чокан Валиханов под впечатлением бесед с Чернышевским говорил:

— Какой замечательный человек этот Чернышевский и как хорошо он знает жизнь не только русских! Я после беседы с ним окончательно укрепился в той мысли, что мы без России пропадем, без русских — это без просвещения, в деспотии и темноте... Чернышевский — это наш друг!

Чернышевский уже давно знал творчество Шевченко, в том числе и его неопубликованные революционные стихотворения из цикла «Три года», распространявшиеся подпольно в рукописных копиях. Он горячо интересовался судьбой поэта, о котором ему много рассказывал Сераковский, приехавший в Петербург. В июньской книжке «Современника» за 1855 год Чернышевский процитировал строку из послания Шевченко «И мертвым, и живым...» («Каких отцов они дети...»), а в январской книжке за 1856 год Чернышевский с сочувствием упомянул о томившемся еще в ссылке украинском поэте (не называя, разумеется, Шевченко по имени, но в форме, совершенно ясной для читателей).

Целое поколение молодежи, из среды которой вышли революционеры шестидесятых и семидесятых годов, воспитывалось на запрещенных цензурой, но широко известных в рукописях стихотворениях Шевченко, как и на статьях Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова.

Один из организаторов Харьковского-Киевского тайного революционного общества 1856–1860 годов, Петр Завадский, автор революционных воззваний к крестьянам на украинском языке, рассказывал, что решающее влияние на него оказали произведения Шевченко, которые он еще в первой половине пятидесятых годов «с жаром читал и переписывал». Ходившие в это же время устные рассказы о ссылке Шевченко породили у Завадского, по его свидетельству, стремление идти по стопам великого украинского революционера, при этом у него укрепилось убеждение «не разделять простого народа русского от малорусского».

По приезду в Петербург Шевченко встретил в Чернышевском и его друзьях своих полных единомышленников и союзников, которые уже давно с горячим нетерпением ожидали его возвращения. Шевченко и

Чернышевский прямо и уверенно шли навстречу друг другу, с общими идеями, с общими целями в борьбе.

28 марта 1858 года, то есть в первые же сутки своего пребывания в столице, Шевченко зашел повидать своих «соизгнанников оренбургских — Сераковского, Станевича и Желиговского (Сову). Радостная, веселая встреча! После сердечных речей и милых, родных песен мы расстались».

К этому же кружку принадлежали Круневич, Савицкий, Огрызко. И Шевченко участвовал в подготовке польской революционно-демократической газеты «Слово» под редакцией Иосафата Огрызко (первый номер вышел 1 января 1859 года; на № 15, 23 февраля того же года, газета была закрыта и ее редактор заключен в Петропавловскую крепость).

Еще в Новопетровске поэт зачитывался стихами и переводами Василия Курочкина. В Петербурге между ним и Курочкиным быстро установились сердечные отношения.

Брат Василия Курочкина — Николай вместе с Гербелем, Меем, Плещеевым, Михайловым был первым переводчиком произведений украинского кобзаря на русский язык.

Сохранились случайно две записочки Николая Курочкина к Шевченко; обе они свидетельствуют о близости и чрезвычайной задушевности отношений:

«Что это значит, Тарасенька, о тебе ни слуху, ни духу?.. А между тем я не знаю, по нраву ли тебе мои переводы «К музе» и «К доле»... Доставь же мне еще что-нибудь из твоих заветных стихотворений. Всей душой любящий тебя Курочкин».

И вторая:

«Перевел я, Тарасенька, твои «Слезы», удачно ли, не знаю... Душевно любящий тебя Курочкин.

P. S. Еще стихов, да самых сердечных!»

Если Николай Курочкин переводил стихи Шевченко на русский язык, то сам Шевченко сделал опыт перевода одного стихотворения Василия Курочкина на украинский язык. Вот начало этого стихотворения в оригинале:

Для великих земли
На морях корабли,
Серебро в недрах гор,
И в надзвездный простор
Гимны славы взошли —

Для великих земли!
Для высоких умов,
Среди честных трудов,
Наслажденье трудом —
И бессмертье потом
Над могилой веков —
Для высоких умов...

Сначала Шевченко набросал несколько свободных перепевов, назвав их «Молитвами», а затем перевел стихотворение целиком:

Тим неситим очам,
Зимним богам-царям —
І плуги, й кораблі,
І всі добра землі,
І хвалебні псалми —
Тим дрібненьким богам!
Роботящим умам,
Роботящим рукам —
Перелогі орать,
Думать, сіять, не ждять
І посіяне жать —
Роботящим рукам..

В своем переводе Шевченко усилил социально-политическое звучание стихотворения Курочкина (впрочем, возможно, что перевод производился не с печатного, а с неизвестного нам рукописного текста, более острого, чем дошедший до нас).

Братья Курочкины вместе с товарищем Шевченко по Академии художеств Николаем Степановым и братьями Жемчужниковыми ²⁰ начали с января 1859 года издание революционно-сатирического еженедельника «Искра» — своеобразного «филиала» журнала «Современник».

Василий Курочкин, как это установлено советскими исследователями, был одним из организаторов революционно-демократического подполья; когда под руководством Чернышевского была создана тайная организация «Земля и воля», Курочкин был одним из пяти членов ее центрального комитета.

Из активных деятелей революционного подполья поэт был близок с Михаилом Илларионовичем Михайловым и молодым офицером Николаем Дементьевичем Новицким (оставившим о Шевченко воспоминания).

Когда Шевченко лично познакомился с Чернышевским?

Известно, что это произошло вскоре после приезда Шевченко в Петербург.

10 марта 1859 года Шевченко и Чернышевский участвовали в обеде, данном редакцией журнала «Современник» в честь актера Мартынова; обстановка на обеде была совершенно дружеская, без всякой триумфальности, напыщенности, — по отзыву Никитенко, «все было искренно, просто и потому хорошо» ²¹.

Еще раньше, в конце 1858 года, когда Шевченко получил квартиру в помещении Академии художеств, он встречался с только что приехавшим из-за границы в Петербург гениальным русским художником, автором знаменитой картины «Явление мессии народу» Александром Андреевичем Ивановым.

К этим же недолгим дням жизни Иванова в Петербурге (он скоропостижно скончался в ночь на 3 июля 1858 года) относится и тесное дружеское сближение Чернышевского с художником: они вели длительные беседы о задачах искусства, о его связи с жизнью, с требованиями народа и исторического прогресса.

В этот период Чернышевский и Шевченко, вероятно, уже были знакомы; они оба присутствовали и на торжественном обеде 6 июня, где первый тост был поднят за художника Иванова.

После возвращения из ссылки Шевченко начал добиваться разрешения на новое издание своих сочинений. Попечителю Петербургского учебного округа и председателю Петербургского цензурного комитета печально известному Делянову было подано следующее «прошение», писанное писарской рукой:

«Получив высочайшее соизволение для проживания в столице, но нуждаясь в дневном пропитании, покорно прошу Ваше превосходительство дозволить мне новое издание моих сочинений: «Кобзарь» и «Гайдамаки», которых экземпляр при сем прилагается. Так как обе эти книжки составляют библиографическую редкость, то позвольте просить, по минованию в них надобности, возвратить их мне.

Тарас Шевченко».

По рекомендации Чернышевского (или кого-то другого из круга «Современника») тогдашний прогрессивный книгоиздатель Д. Е.

Кожанчиков заключил с Шевченко договор на печатание его произведений.

Но вместо ожидаемого разрешения последовала знакомая еще с николаевских времен резолюция Третьего отделения — «приказано оставить» (то есть «оставить» тяготевшее с 1847 года над сочинениями Шевченко «высочайшее» запрещение), и договор с издателем пришлось расторгнуть

— Книжник Кожанчиков взялся было издавать мои стихотворения, — жаловался Шевченко Максимовичу, — да шеф жандармов запретил: возмутительны, говорит. Вот какая беда. Хорошо, что я еще денег от книжника не взял, а то захлопал бы глазами, промотав чужие деньги.

Между тем кто-то из друзей Шевченко (конечно, не без его ведома) переправил за границу несколько наиболее революционных его стихотворений из цикла «Три года», и в конце 1858 года в Лейпциге, в издании Вольфганга Гергардта, вышла книга (помеченная на титульном листе 1859 годом) под названием «Новые стихотворения Пушкина и Шевченко».

Сборник состоял из семи запрещенных в России цензурой стихотворений Пушкина ²² и шести произведений Шевченко (помещенных в украинских оригиналах): «Кавказ», «Холодный Яр», «Как умру, похороните...» (под заглавием «Думка»), «Разрытая могила», «За думою думы роем вылетают...» (тоже под заглавием «Думка»), «И мертвым, и живым...»

К стихотворениям Шевченко редактор Иван Головин сделал пояснение: «Следующие стихотворения были нам присланы на малороссийском языке, с примечанием, что стихи Шевченко — выражение всеобщих накипевших слез: не он плачет об Украине — она сама плачет его голосом».

Спрос на стихи Шевченко, его слава были так велики, что вскоре понадобилось новое издание; в 1859 году те же шевченковские произведения вышли в Лейпциге под заглавием «Поезії Тараса Шевченка».

Оба издания очень скоро стали известны в России. Максимович, например, писал о них Тарасу Шевченко 1 декабря 1858 года.

Кроме того, в России ходили по рукам списки стихов Шевченко, затем стали появляться подпольные литографированные издания, а еще спустя некоторое время — и отпечатанные в тайных революционных типографиях.

Сразу широко стали распространяться и его новые стихи. Огромную популярность получило стихотворение «Сон», написанное летом 1858 года:

На барщине пшеницу жала,
Устала; все ж не отдыхать
Пошла в снопы, — заковыляла
Ивана-сына покачать...

Задремала несчастная мать-рабыня,

И снится ей, что сын Иван,
Такой красивый и богатый,
Уже не холостой, женатый —
На вольной, кажется, — и сам
Уже не барский, а на воле;
И на своем веселом поле
Свою они пшеницу жнут,
А деточки обед несут!

Увы, все это только сон:

И тут бедняга улыбнулась
От радости и вдруг проснулась —
Нет ничего! Она взяла
Тихонько сына, повила;
Боясь бурмистра, оглянулась
И дожинать урок пошла...

Стихотворение было опубликовано в украинском оригинале (в журнале «Русская беседа») и почти одновременно в русском переводе Плещеева, только что возвратившегося из ссылки и начавшего в Москве издавать газету революционно-демократического направления — «Московский вестник».

В печати «Сон» был посвящен Марко Вовчку. Под псевдонимом Марко Вовчок выступила в 1857 году молодая (в то время ей было всего двадцать два года) украинская писательница Мария Александровна Маркович, жена давнего знакомого Шевченко, бывшего члена Кирилло-Мефодиевского общества Афанасия Васильевича Марковича.

Первая же книга Марко Вовчка — «Народные рассказы» — произвела

большое впечатление на литературную общественность; Тургенев написал к русскому переводу этой книги предисловие, восторженные отзывы о ней дали Чернышевский и Добролюбов, Герцен и Писарев.

Познакомился Шевченко с Марко Вовчком в начале 1859 года и впоследствии всегда называл ее своей «доченькой».

В посвященном Марко Вовчку стихотворении поэт говорит:

Господь послал
Тебя нам, кроткого пророка
И обличителя жестоких
И ненасытных. Жизнь моя!
Моя ты зоренька святая!
Моя ты сила молодая!
Свети и обогрей меня,
И оживи немолодое
Ты сердце бедное, больное,
Голодное. И оживу
И думу вольную на волю
Из гроба к жизни воззову;
И думу вольную. О доля!
Пророк наш! Дочь земной юдоли!
Твоею думу назову!

Известное стихотворение Шевченко «Я, чтоб не сглазить, не хвораю...» написано 22 ноября 1858 года. В то время когда либеральная печать всячески превозносила деятельность «крестьянских комитетов» и возлагала все надежды на Александра II, поэт-революционер снова решительно утверждал, что народу не на что рассчитывать, кроме собственного топора:

...Доброго не жди, —
Напрасно воли поджидаем, —
Она заснула, Николаем
Усыплена. Чтоб разбудить
Беднягу, надо поскорее
Обух всем миром закалить
Да наточить топор острее,
И вот тогда уже будить

А то, пожалуй, так случится —
До страшного суда заспится, —
Паны помогут крепко спать:
Все будут храмы воздвигать
Да все царя, пьянчугу злого,
Да византийство прославлять,
И не дождемся мы другого

Для Шевченко нет «добрых» царей; царь всегда деспот и тиран, друг господ и враг трудящихся.

Поэт заглядывает в будущее:

Рабских рук изнеможенных
Пройдет утомленье,
И, закованные в цепи,
Отдохнут колени
Радуйся же, нищий духом,
Не страшися дива!
Судит бог, освобождает
Долготерпеливых,
Вас, убогих! Воздаст он
Злодеям за злая ²³

Только тогда, когда восторжествует освобожденный труд, расцветет по-настоящему земля, откроются людям ее неистощимые богатства.

Заключительная часть стихотворения — это гимн свободному человечеству, торжествующему без «владык» и «рабов», покоряющему степи и пустыни земли.

Шевченко имел полное право сказать о себе, что своим творчеством он возвеличил «и разум наш, и наш язык», посвятив каждое свое слово поработенному народу. Еще в одном «Подражании» библейским мотивам поэт так говорит о себе, о своем творческом призвании:

Воскресну ныне ради них,
Людей закованных моих,
Убогих нищих возвеличу
Рабов и малых и немых!

Я стражем верным возле них
Поставлю слово

А слова либералов и буржуазных националистов, «медоточивыми устами» обманывающих народ, «поникнут, как бурей смятая трава», перед огнем подлинно народного революционного слова.

Шевченко жил в отведенной ему небольшой квартирке из двух комнат в здании Академии художеств. Нередко бывал у маститого вице-президента академии Федора Толстого: вся его семья с искренней симпатией относилась к Шевченко.

Сейчас же по приезде поэта в Петербург, в апреле 1858 года, Федор Петрович и Настасья Ивановна Толстые устроили в его честь торжественный обед.

Среди многих знатных гостей был и старый друг Шевченко, певец и композитор Семен Гулак-Артемовский (впоследствии автор известной украинской оперы «Запорожец за Дунаем»), и талантливый поэт Николай Щербина, и педагог Старов. Произносились трогательные речи. «Почти либеральное слово» Старова Шевченко занес в свой «Дневник» под заглавием, данным самим оратором: «Признательное слово Т. Г. Шевченку».

— Несчастье Шевченко кончилось, — говорил молодой человек, — а с тем вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей... Нам отрадно видеть Шевченко, который среди ужасных, убийственных обстоятельств, в мрачных стенах «казарми смердячої» не ослабел духом, не отдался отчаянию, но сохранил любовь к своей тяжелой доле, потому что она благородна. Здесь великий пример всем современным нашим художникам и поэтам, и уже это достойно обессмертить его!..

Николай Старов давал уроки дочери Толстого Катеньке; в своих записках Екатерина Федоровна подчеркивает у Старова его «горячую скорбь о страданиях человечества», добавляя: «меры ни в чем не было у этого человека...»

Поэту Старов пришелся по душе — они стали друзьями.

Очень привязался Тарас Григорьевич к пятнадцатилетней Катеньке Толстой.

Входит, бывало, Шевченко к Толстым, да прямо к Кате:

— Серденько, берите карандаш, идем!

— Куда это? — пыталась объясниться Катенька.

— Да я тут дерево открыл, да еще какое дерево!

— Господи, где это чудо?

— Недалеко, на Среднем проспекте. Да ну же, идем скорей!

Оба хватали свои альбомы и спустя некоторое время уже стояли рядом и срисовывали удивительное дерево на Среднем проспекте.

Через много лет Екатерина Федоровна вспоминала:

— Придем мы домой, забьемся на желтый диван в полутемной зале, и польются его восторженные речи! Со слезами в голосе поверял он мне свою тоску по родине, рисовал широкий Днепр с его вековыми вербами, с легкой душегубкой, скользящей по его старым волнам; рисовал лучи заката, золотящие утонувший в зелени Киев; вечерний полумрак, легкой дымкой заволакивающий очертания далей; рисовал дивные, несравненные украинские ночи: серебро над сонной рекой, тишина... и вдруг трели соловья... еще и еще... и несется дивный концерт по широкому раздолью...

— Вот где бы пожить нам с вами, серденько!..

И через пятьдесят лет после смерти Шевченко Екатерина Толстая писала: «Как вспомню я поэзию, которая пронизывала его всего, я чувствую такую нежность, такое бесконечное сострадание, что не писать, а плакать мне хочется...»

При посредстве дочерей Федора Толстого Шевченко сблизился с замечательным артистом — негром Айра Олдриджем, приехавшим в Россию зимой 1858/59 года и потрясавшим зрителей исполнением гениальных шекспировских трагедий «Отелло», «Король Лир», «Венецианский купец».

Во время гастролей негритянского трагика в Петербурге Шевченко с Олдриджем виделись почти ежедневно.

Шевченко писал его портрет. Сеансы происходили в мастерской художника.

Олдридж никак не мог усидеть спокойно: лицо у него все время менялось, принимая то хмурое, то необыкновенно комическое выражение. Иногда он начинал петь трогательные, певучие негритянские мелодии — заунывно-печальные или жизнерадостно-веселые, и, наконец, переходил к отчаянной «джиге», которую отплясывал посреди шевченковской мастерской.

Шевченко пел Олдриджу украинские народные песни, и у них завязывалась оживленная беседа о типических чертах разных народностей, о сходстве народных преданий и общности стремлений всех народов к свободе.

Олдридж рассказывал свою биографию (переводчицей и неизменной спутницей артиста была Катенька Толстая); рассказывал, как еще ребенком

мечтал о сцене, но на театрах видел только обычную в Америке надпись: «Собакам и неграм вход воспрещается».

Чтобы все-таки бывать в театре, Олдриджу пришлось наняться лакеем к одному актеру. «Можно себе представить, сколько страданий он пережил и сколько энергии должен был проявить, пока добился, наконец, известности, да и то не на своей родине», — вспоминает эти рассказы негра Екатерина Толстая

«Помню, — пишет Толстая, — как оба они были растроганы, когда я рассказала Олдриджу историю Шевченко, а последнему переводила с его слов жизнь трагика...»

Публика в Петербурге устраивала артисту небывалые овации, забрасывала Олдриджа цветами, окружала его после каждого выступления, чтобы только поцеловать «его благородные черные руки».

И театральная критика находила, что после гастролей негритянского трагика его влияние явно сказалось на игре русских актеров — Мартынова, Сосницкого, Каратыгина, которые сами говорили, что учатся у Олдриджа простоте и живости сценических образов.

Весной 1858 года Шевченко занялся акватинтой.

В мае он встретился с профессором гравирования Федором Ивановичем Иорданом (учеником Уткина), который охотно предложил ему свою помощь. «Какой обаятельный, милый человек и художник, — замечает Шевченко, — и вдобавок живой человек, что между граверами большая редкость. Он мне в продолжение часа [показывал] все новейшие приемы гравюры акватинта. Изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет зависеть».

И вот Шевченко принимается за дело.

«Как настоящий вол, впрягся в работу, — пишет он Щепкину в ноябре 1858 года, — сплю на этюдах: из натурального класса и не выхожу, — так некогда!»

Лучшие его офорты этих лет: «Притча о работниках на винограднике» (с картины Рембрандта), «Вирсавия» (с картины Брюллова), «Приятели» (с картины Соколова), «Нищий на кладбище», несколько портретов и автопортретов (с собственных оригиналов).

Офорт «Притча о работниках на винограднике» построен на контрастных белых и черных пятнах и выполнен тонким, мягким штрихом. Он хорошо передает богатейшую гамму светотени Рембрандта.

Офорт «Нищий на кладбище» выполнен по оригинальному рисунку Шевченко. На лице старика нищего, стоящего на переднем плане с книгой в протянутых руках, светится глубокая мысль; вся его фигура проникнута

величием и благородством, составляющими резкий контраст с его рубищем и позой.

Гравюра в то время была наиболее доступным народу видом искусства — тем большее значение приобретают работы Шевченко. Народный художник СССР Василий Ильич Касиян отмечает, что «посредством гравюры Шевченко вообще сделался известен как художник широким слоям населения... И в настоящее время его офорты сохраняют чарующую силу не только по своему содержанию, но и реализмом исполнения и блестящей техникой».

Крупнейшие мастера русского офорта второй половины XIX и начала XX столетий — Шишкин, Матэ, Репин — считали его одним из своих учителей.

Нужно к этому добавить, что Шевченко был не только выдающимся гравером-реалистом, но и изобретателем, конструктором граверной техники.

Весной 1859 года Шевченко представил две свои гравюры — «Притчу о работниках на винограднике» и «Друзья» — на соискание звания академика гравюры.

16 апреля состоялось постановление совета Академии художеств о том, чтобы Шевченко «по представленным гравюрам признать назначенным в академики и задать программу на звание академика по гравированию на меди».

После выполнения заданной программы должно было последовать присуждение звания академика.

Этой же весной Шевченко стал собираться на Украину. Для этого требовалось испрашивать разрешения полиции, и снова началась длительная междуведомственная переписка...

10 мая 1859 года поэт жаловался жене Максимовича, Марии Васильевне:

— Взятся я хлопотать о паспорте, да и до сих пор еще не знаю, дадут ли мне его или нет. Сначала в столицу не пускали, а теперь из этой вонючей столицы не выпускают. До каких пор они будут издеваться надо мной? Я не знаю, что мне делать и за что приниматься. Удрать разве потихоньку к вам да, женившись, у вас и спрятаться? Кажется, что я так и сделаю...

Настроение у Шевченко было тяжелое. Он в мае писал Марко Вовчку (которая в апреле выехала за границу):

«Я еще и до сих пор здесь, не пускают домой. Печатать не дают. Не знаю, что и делать. Не повеситься ли, что ли? Нет, не повешусь, а удеру на

Украину, женюсь и возвращусь, словно умывшись, в столицу...»

Наконец 25 мая 1859 года Санкт-Петербургский полицмейстер выдал «состоящему по высочайшему повелению под строгим надзором полиции» Тарасу Шевченко свидетельство сроком на пять месяцев на проезд «в губернии Киевскую, Черниговскую и Полтавскую для поправления здоровья и рисования этюдов с натуры...».

Но в это же самое время, кроме «явной» переписки, велась и другая — тоже полицейская, но уже тайная: 23 мая 1859 года за № 1077 Третье отделение извещало жандармские власти в Киеве о поездке Шевченко — «для должного наблюдения за художником Шевченко во время его пребывания в Киевской губернии». Дословно то же самое и в тот же самый день, за № 1078, 1079 сообщало Третье отделение в Полтаву и в Чернигов...

Губернаторы трех губерний предписывали всем земским исправникам и городничим учредить за Шевченко строгий надзор, наблюдать «за всеми его действиями и сношениями» и при этом «доносить почаще о последствиях сих наблюдений».

Почему власти так интересовались подробными сведениями о каждом шаге Шевченко на Украине?

Если цель была — предупредить повторение прежних его «проступков», выразившихся в писании антиправительственных стихов (ведь Третье отделение в 1847 году пришло к выводу, что в Кирилло-Мефодиевском обществе Шевченко участия не принимал!), так почему же угроза сочинения их могла увеличиться во время поездки по Украине?

Очевидно, Третье отделение беспокоилось о другом: оно боялось прежде всего организационной и пропагандистской деятельности Шевченко.

XXI. СНОВА НА УКРАИНЕ

С какой невыразимой тоской поэт в далекой ссылке думал о своей прекрасной Украине! С каким щемящим сердце чувством мечтал снова побывать в родных местах, повидать Днепр, леса и степи, рощи и белые хаты!

Я так, я так ее люблю,
Украину, мой край убогий,
Что прокляну святого бога
И душу за нее сгублю!

Выехал Шевченко из Петербурга 26 или 27 мая, поездом в Москву. Он явно спешил; в Москве пробыл всего один день; повидался со Щепкиным, Бодянским; а 29 мая — через Тулу, Орел, Курск — отправился лошадьми на Украину.

5 июня поэт был уже в Сумах, а оттуда отправился на хутор Лифино (официальное название Лифовский), как раз на половине дороги между Сумами и уездным городком Лебедин.

Шевченко впервые был в этих местах; его привлекали живописные берега реки Псел, в те времена еще поросшие густыми лиственными лесами. В эти погожие июньские дни на Украине, когда яркая зелень еще не тронута знойным летним солнцем, когда по утрам на темно-синем небе высоко стоят ослепительно белые, как комья снега, облака, постепенно растворяющиеся к полудню в необозримой синеве, он бродил в окрестностях Лифина и Лебедина, удил рыбу, рисовал пейзажи, писал стихи — и его потянуло поселиться здесь, женившись на простой крестьянской девушке («осточертело уже жить бобылем...»).

Ведь еще в Оренбурге грезился ему этот счастливый из счастливых дней его жизни:

А я ведь не казны богатой
Просил у бога! Только хату,
Лишь хатку мне б в родном краю,
Да два бы тополя пред нею,

Да горемычную мою,
Мою Оксаночку; чтоб с нею
Вдвоем глядеть с крутой горы
На Днепр широкий, на обрыв,
Да на далекие поляны,
Да на высокие курганы..
Потом бы мы с горы сошли
И над Днепром бы погуляли,
Пока не потемнели дали,
Пока мир божий не заснул,
Пока с вечернею звездою
Не встал бы месяц над горою,
Туман полей не затянул..
Ты, господи, панам богатым
Даешь сады в своем раю,
Даешь высокие палаты,
Паны ж — и жадны и пузаты —
На рай твой, господи, плюют,
А нам и глянуть не дают
Из маленькой убогой хаты.
В раю лишь хатку небольшую
Просил и до сих пор прошу я,
Чтоб умереть мне над Днепром,
Хоть на пригорке небольшом.

Теперь вновь поэт ощутил тоску по дому, по семье...

Это не было еще усталостью, утомлением; но, может быть, уже сказывалась смертельная болезнь, неумолимо подступавшая к сердцу, привезенная Шевченко с солдатской каторги.

И он мечтал устроить свое пристанище здесь, на Украине, среди народа, который знал он и который уже знал его.

12 июня Шевченко приехал в Переяслав, где четырнадцать лет назад написал свое «Завещание».

Старый друг, переяславский врач Козачковский, встретил поэта объятиями; он стал на память читать Тарасу Григорьевичу прежние его стихи, написанные в Переяславе.

Но с той поры утекло немало воды; многое переменилось и в самом Козачковском; и когда стали они с Шевченко говорить о самых жгучих

вопросах нынешнего дня, о необходимости освобождения крестьян, поэт с горечью почувствовал, что эти самые главные для него предметы переяславский его приятель воспринимает совершенно иначе...

И когда Козачковский пытался развить перед Шевченко свои либеральные воззрения на крестьянский вопрос, тот даже не опровергал его, а только нетерпеливо морщился.

— Грустное впечатление производил на поэта взгляд мой, — откровенно сознавался впоследствии сам Козачковский.

В самом деле, не один Козачковский, а и некоторые другие прежние знакомые, с которыми теперь встречался на Украине Шевченко, производили на него грустное впечатление.

В разговоре с Козачковским Шевченко в конце концов не без досады воскликнул:

— Да, вы правы! Хорошо было бы жить поэту, если бы он мог быть только поэтом и не быть гражданином!

Но Козачковский, видимо, не понял ни горькой иронии этого восклицания, ни намека на прогремевшее как раз в это время по всей России стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин» с его знаменитыми строками: «Будь гражданин! Служа искусству, для блага ближнего живи» и «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

В этот свой приезд на Украину Шевченко еще больше, чем всегда, проводит времени с крестьянами, подолгу ведет с ними беседы. Отправившись вместе с Козачковским на рыбную ловлю к Днепру (у села Козинцы), он поминутно оставляет своего приятеля, чтобы без свидетелей потолковать с рыбаками.

В это время слава Тараса Шевченко гремела повсеместно; люди приходили из дальних сел, только чтобы его повидать и послушать; кобзарь Остап Вересай пел песни на слова Шевченко; каждое слово поэта разносилось далеко.

Беседуя с народом, Шевченко часто прибегал к наглядной агитации при помощи горсти ячменных зерен.

Он вынимал из кармана одно зерно, клал его посредине, называя царем; окружал «царя» еще десятком аккуратно разложенных зерен и говорил, что это царские министры; вокруг раскладывал круги из зерен, все шире и шире, приговаривая:

— Это генералы... А это губернаторы... А вот земские исправники... А это всё паны...

Выложив так круг за кругом, Шевченко предлагал присутствующим внимательно присмотреться к зернам; потом брал полную пригоршню тех

же зерен и говорил:

— А вот это все мы, мужики. Смотрите!..

С этими словами Шевченко бросал всю пригоршню зерен на разложенные круги «начальства» и «господ»:

— Сыщите-ка теперь, где царь, а где его генералы и паны.

Разговоры, которые вел Шевченко, долго потом жили в народе. Недаром Максимович уже после отъезда поэта с Украины писал ему в Петербург (в октябре 1859 года):

«А на правой стороне Днепра Вы стали лицом мифическим, о котором идут уже баснословия и легенды, наравне с преданиями старых времен».

О поэте и в самом деле слагали легенды.

— Шевченко очень заботился о работавших на барщине людях, — рассказывали крестьяне друг другу, — и очень просил за них царя, чтобы тот дал им волю. А царь все-таки воли не давал. Вот однажды приходит Шевченко к царю, впустили его в палаты; войдя в палаты, он хват за шапку, да о землю трах, да и говорит тогда царю: «Вот это только и есть твоей земли, что под моей шапкой, а то вся остальная земля панская, а работают на ней люди! Весь свет я объехал и нигде не видел, чтобы так горько и тяжело жилось людям, как в твоём царстве!»

В этом рассказе, сохраненном нам устной традицией, подмечена даже характерная привычка Шевченко бросать в пылу разговора шапку на землю (об этой привычке вспоминает, например, Катерина Борисовна Пиунова).

Значит, крестьяне, положившие начало подобной легенде, в самом деле встречались с Шевченко, беседовали с ним. Поэт, очевидно, говорил и о том, что нигде не живется народу хуже, чем в крепостной России, и о том, что от царя нечего ждать воли и что вся земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

Остальное добавила впоследствии народная фантазия.

Утром 13 июня Шевченко распрощался к Козачковским и отплыл на простом крестьянском «дубе» вниз по Днепру, в Прохоровку, к Максимовичам.

Отплывая, поэт затянул старинную русскую народную песню:

Вниз по матушке по Волге,
По широкому раздолью...

И долго над вольными водами Днепра лилась бодрая, жизнерадостная мелодия:

Взбунтовалася погода,
Погодушка верховая,
Верховая, волновая...

Рыбаки дружно подхватывали русскую свободолюбивую песню:

Ничего в волнах не видно,
Только лодочка чернеет,
Только парусы белеют...

Хутор Максимовича Михайлова Гора, у села Прохоровки, был расположен на левом берегу Днепра, десятью верстами ниже Канева.

Приехал Шевченко к Максимовичам к вечеру и провел у них целую неделю. За это время он нарисовал портреты старика хозяина и его молодой жены, сделал несколько рисунков.

Доживший почти до ста лет крестьянин села Прохоровки Пантелей Пушкарь вспоминал:

— Видел я Шевченко почти ежедневно. Я был тогда пастухом и пас скот вблизи хутора Максимовича. Шевченко приходил к нам, пастухам, приносил гостинцы, а мы для него плясали. Жил он у Максимовича. От других людей был отличен: простой, с народом хорошо обращался. Бывало, если забежит скотина в потраву к Максимовичам, так Шевченко просит Максимовича, чтобы тот не взыскивал с людей. Шевченко любил собирать баб, девчат и слушать их песни, сказки. Бабу Василису Московчиху особенно часто звал Шевченко. Она много знала старинных сказок и песен. Народ очень уважал Шевченко, потому что он, бывало, не пропустит и малыша, чтобы не поздороваться... Под дубом (тот дуб сохранился и зовется «Шевченковским») он каждый день сидел и все что-то писал. На (праздник они, бывало, с Максимовичем соберут душ тридцать-сорок народу; люди поют, а они записывают. Шевченко рассказывал, что дальше будет на земле...

Старик Пушкарь (как и многие другие современники Шевченко) отмечал любовь поэта к детям, а детей — к нему:

— Любил говорить с детворой. И его малыши любили. Бывало, накупит конфет, соберет детвору да и рассыплет конфеты, а детвора собирает. Как мать любит ребенка, так и Шевченко любил детей, особенно маленьких. Возьмет малыша на руки, ласкает, гостинцев дает, играет. А

дети к нему прямо липли. Иные люди удивлялись, что он вот такой умный, а с детишками играет.



А. И. Герцен. Портрет работы И. А. Астафьева.



Т. Г. Шевченко и М. С. Щепкин в Москве. Картина М. И. Хмелько.

И с Максимовичем, как и с Козачковским, не было у Шевченко общего языка: по-разному относились они к народу, к его правам, к его будущему.

Впоследствии Максимович с плохо скрываемой неприязнью рассказывал, что Шевченко, живя на Михайловой Горе, приходил домой только ночевать, а остальное время проводил в селе, в поле; рисовал, беседовал с крестьянами; при этом, как свидетельствует маститый профессор, «кощунствовал», и даже «в больших компаниях».

В это время Шевченко как раз работал над давно им начатой большой поэмой, в которой совершенно «кощунственно» использовал древнехристианскую легенду о «божьей матери» — Марии.

Для Шевченко Мария не мифическая «богородица», а обыкновенная крестьянская девушка-«покрытка», родная сестра шевченковских героинь: Катерины, Наймички, Слепой.

Образ самоотверженно-мужественной матери воплощает у поэта постоянно волновавшую его тему поруганной человечности.

Родив сына, который призван нести людям свет истины и добра и за это принять всю чашу горчайших мук, мать сначала сама становится его наставницей:

Из заработков ли скопила,
В займы ли у вдовы взяла,
За четвертак букварь купила,
Ребенка в школу отвела...
Учиться он ходил к ессеям,
А душу сына мать блюла.

Она не оставляет его и потом, когда он отправляется на свершение подвига:

За ним,
За сыном праведным своим,
Пошла и ты покорно следом...
Сыну вслед
И ты пошла навстречу бедам,
Пока, скитаясь, не пришла
Ибо всюду Святая мать за сыном шла..

Так вековая тема «мадонны» под пером поэта-революционера дает материал для величественного гимна человеку и его борьбе за свое счастье.

Недаром Иван Франко считал, что поэму Шевченко «Мария» следует отнести к самым лучшим, самым глубоким по замыслу и гармонически совершенным его поэмам.

Воспевая тех, кто избрал для себя «тернистые пути» в борьбе за «святую правду на земле», «за волю, за святую волю», поэт разоблачает кровавые преступления, «что Ироды творят цари»; на головы царей, «фараонов» поэт призывает все проклятья, предвещая, что правда «встает, уж встала на земле...».

К носителям самодержавной власти обращены многие уничтожающие сарказмы поэта. Вот сатирические строки об ослице, доставившей Марию с сыном в Египет:

Когда б на свете где хоть раз
Царица седа на ослицу.
Пошла бы слава про царицу
И про великую ослицу
По всей земле. А тут несла
Ослица истинного бога,
Живого!..

Шевченко славит тех, кто восстает против деспота-царя, кто идет к народу и несет людям новое слово — слово правды. В этом высочайший смысл человеческой жизни:

Как в свете жить, людей любить,
За правду стать, за правду сгнуть, —
Без правды горе!

Вся поэма проникнута ощущением близкой всенародной бури и неизбежной расплаты угнетателей за все зло, причиненное ими людям; грозное пророчество поэта обращено к тем,

Что видят над собою
Топор возмездья — и куют
Оковы новые. Убьют,
Зарежут вас, душеубийцы,
И в окровавленной кринице
Напоят псов!

Отрывки из этой поэмы, читанные Шевченко крестьянам, Максимович и назвал «кощунством»,

Поэт посетил свои родные села — Кириловку, Моринцы.

Сестра Шевченко Ирина Бойко (в то время уже овдовевшая) вспоминает: «Была я на огороде, копала грядки. Гляжу — бежит моя

девчушка:

— Мама, мама, вас какой-то Тарас спрашивает! Скажи, говорит, матери, что к ней Тарас пришел.

— Какой Тарас? — спрашиваю, а сама не могу сдвинуться с места от волнения.

Вдруг он и сам подходит.

— Здравствуй, сестра!

Я уж и не помню, что со мной творилось тогда. Сели мы с ним на завалинке; он, сердечный, положил голову мне на колени, да все просит меня, чтоб рассказывала я о своей горемычной жизни. Вот я ему рассказываю, а он слушает да все приговаривает:

— Да! Так, сестра, так!

Наплакалась я вволю, пока рассказала до конца, — как муж мой помер».

Потом зашел Шевченко к брату.

Никиты Григорьевича не было дома — работал в поле. Жена его, Пелагея, когда увидела Шевченко в окно, сразу и не узнала. Вышла ему навстречу в сени. Смотрит и думает: «Кто бы это был?» А тот молчит, только глядит так пристально да так печально...

— Не узнаешь?

И как сказал — Пелагея сразу узнала. «Так голос его и покатился мне в сердце», — рассказывала она потом.

— Братик мой, Тарас!. Откуда ты взялся? — вскрикнула невестка и упала ему на грудь.

А он обнял ее, целует и плачет, и ни слова не говорит...

Вот она, Кириловка, такая же, как и десять, двадцать, тридцать лет назад, такая же, как тысячи сел, хорошо знакомых Тарасу Григорьевичу.

Только вот любимая яблоня засохла, и ее пришлось срубить. Засохла и заветная верба у ворот.

— Скоро ли все мы будем свободными? — спросила Тараса Григорьевича Пелагея.

Тарас махнул рукой, вздохнул:

— Пока это случится, еще не один раз высекут тебя на барской работе...

Узнав, что приехал в гости к родным Тарас Шевченко, стали приходить к нему односельчане. Он и сам ходил по хатам, был в церкви у обедни, где встречался со знакомыми и с незнакомыми. И все его без конца спрашивали одно и то же:

— Скоро ли будет воля?

Эти встречи и беседы отразились в стихотворении «Сестре»:

Так, проходя по бедным селам,
По надднепровским, невеселым,
Я думал: «Где приют найду?..»

Поэт видит во сне свою сестру, которой тоже снится встреча с братом:

Моя родимая сестра,
Многострадальная, святая..
Меня, бедняга, поджидает,
«О братец мой! Моя ты доля!»
И просыпаемся вдруг: ты...
На барщине, а я в неволе!

Брат Шевченко Иосиф Григорьевич был женат на сестре своего однофамильца — Варфоломея Григорьевича Шевченко, управлявшего имением князя Лопухина в Корсуне. Тарас и в Корсунь заехал в гости.

Вместе с Варфоломеем Григорьевичем он бывал часто на полях. Глядя, как тяжело трудятся люди, Шевченко говорил:

— Смотри, Варфоломей Григорьевич, нужно заводить машины, чтобы как можно меньше работали человеческие руки, а больше — пар!..

Его фигура в поношенном сером парусиновом пальто и простом крестьянском брыле (соломенная шляпа с большими полями) появлялась и среди крестьян приднепровских сел Пекари, Межиричь, Яблонов, Хмельна и среди рабочих сахарного завода в Городище.

На Городищенском заводе Шевченко читал рабочим свой «Сон»:

...Распеленала, приласкала
И накормила, а потом,
Над сыном сидя, задремала...

А рабочие, такие же крепостные, как и шевченковская героиня, плакали...

Здесь, на Городищенском сахарном заводе, принадлежавшем крупным украинским капиталистам Кондрату Яхненко и Платону Симиренко,

Шевченко видел, как с помощью машин и пара беспощадно эксплуатируется народ.

И повсюду видел он, как льются слезы и пот трудящихся.

Но теперь больше, чем когда-нибудь, верил в светлое будущее народа:

Оживут озера, степи,
И не столбовые,
А широкие, как воля,
Дороги святые
Опояшут мир; не сыщут
Тех дорог владыка;
Но рабы на тех дорогах
Без шума и крика
Братски встретятся друг с другом
В радости веселой, —
И пустыней завладеют
Веселые села!

Окончательно решив поселиться на берегу Днепра, Шевченко присмотрел между Пекарями и Каневом землю для хаты. Человек в этих делах неопытный, он обратился за помощью к находчивому и оборотистому Варфоломею Григорьевичу.

С владельцем избранного участка, помещиком Парчевским, предварительные переговоры велись через его управляющего Вольского, и вопрос был уже в основном решен; из Межиричи пригласили землемера Хилинского для обмера участка.

Утром 10 июля Шевченко вместе с управляющим Вольским и землемером Хилинским отправились из Межиричи, за пятнадцать верст, к селу Пекари.

С помощью нескольких крестьян долго обмеряли участок на высоком берегу Днепра.

— Какая благодать! — восклицал Шевченко, полной грудью вдыхая аромат цветов, буйной зелени. Далеко раскинулись на левом берегу реки пойменные луга; в темно-синем июльском небе неподвижно застыла белая пена облаков.

Тарасу Григорьевичу уже грезилась усадьба над «сивым» Днепром, хата с яблоней и грушей «на причилку» и — непременно! — на крылечке жена с кудрявым малышом на руках.

— Благодать! — повторял он, перепрыгивая с одного пригорка на другой и хватаясь руками за крепкие ветки орешника.

В полдень Шевченко пригласил всех под липу, на самой верхушке Княжьей горы, закусить. Мальчишка лесника-крестьянина Тимофея Садового сбегал в село к деду Прохору за четвертой водки.

Поэт стал расспрашивать о подробностях недавних событий в этих местах — о крупном крестьянском восстании 1855 года, известном под именем «Киевской казатчины».

Вольский и старик землемер, видно, и сами сочувствовали крестьянам. Разговор получился задумчивый, искренний. Шевченко думал о Вольском: «Добрый и искренний человечина!»

Вдруг из кустарников, со стороны дороги, вынырнули две странные фигуры; особенно один молодой человек производил смехотворное впечатление: он был во фраке и белых перчатках, словно явился не в лес, а на бал.

Увидев этого удивительного франта, Шевченко рассмеялся. Молодые люди оказались родственниками Вольского и Хилинского; они специально прибыли сюда, на обрывы Днепра, чтобы познакомиться со знаменитым петербургским художником и поэтом, пожелавшим поселиться в этих местах.

Над облаченным во фрак родственником землемера, отрекомендовавшимся: «дворянин Козловский», — Шевченко еще некоторое время продолжал подтрунивать. Но как только заметил, что тот несколько туповат и на острую шутку не умеет ответить шуткой, сразу же перестал подсмеиваться, даже попросил извинения и пригласил новоприбывших под липу, принять участие в импровизированном завтраке.

Прежний искренний разговор уже не мог возобновиться. Шевченко сделался сдержан и осторожен.

Но постепенно снова стали возникать волновавшие в это время всех темы: положение крестьян, отношение помещиков к ожидавшейся крестьянской реформе.

Козловский говорил по-польски. Шевченко сначала отвечал ему тоже по-польски, затем, желая вовлечь в беседу крестьян, перешел на украинский язык.

Козловский настаивал на том, что царь сам договорится обо всем с панями и мужикам нечего беспокоиться: царь позаботится, чтобы мужикам хорошо жилось.

— Да ведь царь сам кругом у панов в зависимости! — сказал, наконец, Шевченко, а затем стал читать наизусть свои новые стихи:

Во Иудее, во дни оны,
Во время Ирода-царя,
Вокруг Сиона, на Сионе
Пьянчужек-римлян легионы
Паскудили. А у царя,
Там, где толклось народу много,
У Иродова, бишь, порога
Стояли ликторы ²⁴. А царь,
Самодержавный государь,
Лизал усердно голенища
У ликтора, чтоб только тот
Хоть полдинария ²⁵ дал в ссуду.
Мошною ликтор наш трясет
Да сыплет денежки оттуда,
Как побирушке подает,
И пьяный Ирод снова пьет!

Вольский и Хилинский громко хохотали; посмеивались и крестьяне; но Шевченко не смеялся — глаза у него гневно сверкали, лицо было красное.

— И все-таки вы не правы, — снова начал Козловский, — вы давно не были на Украине и в России, не знаете, как много нового у нас теперь, как новый царь охотно поддерживает начинания передовых людей.

Шевченко метнул злой взгляд на пана во фраке, ничего не отвечая. Потом продолжал читать медленно и выразительно, словно припоминая:

Бежит почтарь из Вифлеема
К царю и молвит: так и так,
Бурьян, да куколь, да будяк
Растут в пшенице! Злое семя
Давидово у нас взошло!
Дави, пока не поднялось!
— Так что же! — молвил Ирод пьяный —
Пусть всех детей в стране убьют,
А то я знаю, — род поганый, —
Доцарствовать мне не дадут. —
Почтарь, да бог с ним, был нетрезвым,

Сенату передал приказ,
Чтоб только в Вифлееме резать
Малюток...

Козловский прокашлялся и заметил, что он плохо понимает по-украински, поэтому ничего не будет возражать по существу услышанных стихов, однако... Шевченко его перебил:

— А вот это, может быть, вы все же поймете?

Мы сердцем голы догола!
Рабы, чьи с орденами груди,
Лакеи в золоте — не люди,
Онучи, мусор с помела
Его величества.

Уже Хилинский и управляющий не смеялись. Задумались и старик Садовой и другие крестьяне...

Но Козловский не унимался.

— Как вы полагаете, — допытывался он у Шевченко, — о пресвятой богородице, беспорочной матери вифлеемского младенца?

Вместо ответа Шевченко начал было опять читать:

О, спаси же нас,
Младенец праведный, великий,
От пьяного царя-владыки!..

Но вдруг оборвал стихи и сказал убежденно и искренне:

— Перед женщиной, которая родила бы людям героя, отдающего свою жизнь за народ, мы все должны благоговеть, даже если бы она была просто «покрытка» и люди над ней издевались. Не знаю, однако, почему вы думаете, что евангельская Мария была «беспорочной», а ее сын «богом»? Я не верю ни тому, ни другому! Это нелепые поповские басни!

Козловский снова попытался спорить, но Шевченко уже совсем его не слушал. Он все более раздражался.

Сорвав с липы листок, Шевченко вдруг спросил:

— А это кто дал?

Козловский молчал; Тимофей Садовой нерешительно произнес:

— Бог?..

— Дурак ты, если веруешь в бога! — сердито вскричал Шевченко. — Мало еще тебя учили... Кто верует в бога, тот никогда не избавится ни от царя, ни от панов, ни от попов!

Вольский и Хишинский принялись успокаивать разволновавшегося и громко кричавшего Шевченко. Но тот все сердито повторял:

— Не нужно нам ни царя, ни панов, ни попов!..

И, не попрощавшись ни с кем, ушел один в Межиричъ.

Наутро Шевченко уехал в Городище, на завод, в воскресенье был уже в Корсуне, у Варфоломея, потом снова в Кирилловке.

Он тревожился; было досадно, что так не к месту случился этот горячий спор в лесу у Пекарей; перед глазами все маячил дурацкий фрак Козловского, чудился его скрипучий голос:

— Вы не правы... Как вы полагаете?..

13 июля Шевченко опять прибыл в Межиричъ, чтобы встретиться с Парчевским, который должен был в этот день приехать из Петербурга и заключить купчую на обмеренный участок.

Но напрасно прождав целый день, Шевченко вечером написал Варфоломею Григорьевичу записку:

«Я не дождался Парчевского и, значит, не сделал ничего, только купил гербовой бумаги; так на бумаге этой пишите уже Вы...»

А сам решил поехать переночевать в Прохоровну, к Максимовичу.

Когда Шевченко, переправившись на дубе через Днепр из Пекарей в Прохоровку, шел к Михайловой Горе, в усадьбу Максимовича, его задержал становой пристав из местечка Мошны. С приставом были десятские и тысяцкие; Тарасу Шевченко объявили, что он арестован...

Затем его тут же усадили в другой, полицейский, дуб, переправили обратно, на правый берег Днепра, и становой доставил Шевченко в Мошны, даже «не объяснивши причины, по какому праву он это сделал» (как жаловался впоследствии поэт в своем официальном показании).

Итак, снова жандармы, снова арест. А что впереди?.. Может быть, опять тюрьма, ссылка?..

В эти дни, находясь под арестом, Шевченко писал:

Я, глупый, размышлял порою,
Я думал: «Горюшко со мною!
Как на земле мне этой жить?
Людей и господа хвалить?»

В грязи колодою гнилою
Валяться, стариться и гнить,
Уйти — следа на оставляя
На обворованной земле?..»
О горюшко! о горе мне!
Да можно ль спрятаться — не знаю!
Везде пилаты распинают,
Морозят, жарят на огне!

Хотя Шевченко и сознавал, что ему угрожает, но «гнить» и «колодою гнилою валяться» на этой «обворованной земле», прятаться от ненавистных «штатов» он не хотел я не мог!

В Мошнах Шевченко содержался под домашним арестом в квартире станового пристава.

На следующий день, 14 июля, черкасским исправником Табачниковым и жандармским поручиком из Киева Крыжицким было снято с Шевченко и ряда «свидетелей» первое дознание.

Об этом Табачников 15 июля отправил подробные Донесения генерал-губернатору князю Васильчикову и киевскому губернатору Гессе. Земский исправник осмелился к изложению событий присовокупить также и собственные соображения.

«Было бы полезным, — писал Табачников, — не дозволяя Шевченко дальнейших разъездов, обязать его выехать на место службы в С-Петербург».

Шевченко настоятельно требовал, чтобы его отпустили в Киев или по крайней мере отправили вместе с возвращавшимся туда Крыжицким; ему отказали якобы за неимением места в экипаже.

Вместо этого Табачников 18 июля увез Шевченко к себе в Черкассы.

В Черкассах поэт снова жил под домашним арестом, на этот раз в квартире исправника. Здесь он написал стихотворения «Сестре», «Я, глупый, размышлял порою..» и сделал несколько рисунков.

Здесь же произошел эпизод, о котором еще при жизни Шевченко сообщил герценовский «Колокол» (№ 80, 1 сентября 1860 года) в заметке под заглавием:

«В дополнение к биографии Т. Шевченко.

В прошлом году известный поэт Шевченко, после многолетней ссылки на берегах Каспийского моря, получил наконец позволение съездить на родину, о чем тогда же дано было знать губернаторам мало-российских

губерний для сведения... В м. Межиричи он натолкнулся на тамошнего исправника Табачникова, который, как и другие его собратья, имел от Гессе предписание неукоснительным образом наблюдать за таким-то и таким Шевченко. Встретившись с последним, Табачникову прежде всего пришлось на ум содрать с него, в силу чего он потребовал от Шевченко снять с него портрет во весь рост и безошибочно. Тот отказался. Табачников сейчас же арестовал его, донося Гессе, что им задержан отставной рядовой Т. Гр. Шевченко, уличенный в кощунстве и богоотступничестве...»

Как известно, на самом деле поэт был арестован за революционные речи, но личное столкновение с Табачниковым у него тоже было, и рассказ об отказе написать портрет исправника впоследствии, после смерти поэта, вновь сообщил Герцену Тургенев, слышавший его из уст самого поэта.

Позднее Шевченко отзывался о черкасском исправнике в письмах к друзьям довольно выразительно:

«Если увидите Табачникова, то заплюйте ему всю его собачью морду. Удивительно мне, что такую подлую, гнусную тварь земля носит...»

После этого столкновения Табачников снова 22 июля отвез поэта в Мошны, где Шевченко поселился у полковника Грудзинского и проводил время в парке имения Воронцова. Так прошло несколько дней в ожидании ответа из Киева на письмо Табачникова.

В Мошнах у Шевченко появились знакомые; многие нарочно приезжали в Мошны, чтобы взглянуть на прославленного поэта.

Приехал сюда и Максимович, которому Шевченко сообщил 22 июля о своем местопребывании. Максимович привез поэту оставленные у него вещи и деньги.

Наконец 24 июля прибыло предписание вице-губернатора Селецкого (старого шевченковского знакомого еще по Яготину) доставить Тараса Шевченко в Киев «под надзор здешней полиции».

26 июля, в воскресенье, Шевченко отправился в полицейской тележке и в сопровождении жандарма в Киев.

По дороге, в селе Зеленки, на речке Россаве, близ Кагарлыка, Шевченко на ночлеге познакомился с крестьянами (в его записной книжке находим их фамилии; Данило Сучок, Ярошищцкий); он записал оригинальную народную песню (ни в какой другой записи доньше неизвестную):

Ой, п'яна я, п'яна,
Та на порозі впала,
Ой, одчини, друже,

Бо п'яна я дуже.
Та милий одчиняє,
Милої питає:
«Де ти, мила, була,
Шо й хату забула?..»

И вот 29 июля Шевченко прибыл в Киев, где не бывал с 1847 года.

Всего две недели провел на этот раз Шевченко в своем любимом городе, «матери городов русских».

Начались эти две недели очень неприятно: с допросов в канцелярии генерал-губернатора князя Васильчикова, с этих давно знакомых поэту опросных листов и всех неизбежных принадлежностей полицейского следствия.

Однако, к счастью для Шевченко, расследование его «дела» было поручено разумному и доброжелательно настроенному чиновнику Андреевскому, который сразу же повел к тому, чтобы освободить Шевченко от всякой ответственности.

Поэт сначала поселился на Крещатике, на квартире у своего бывшего соученика по Академии художеств Ивана Гудовского, содержавшего теперь фотографию, но вскоре переехал на окраину, в дом родственницы Виктора Лободы — участника подполья, одного из руководителей украинского отделения «Земли и воли».

В Киеве Шевченко снова повстречался со своим старым другом Иваном Максимовичем Сошенко.

Встреча очень взволновала обоих. Ведь не видались ровно двадцать лет! Много уткло за это время воды, много каждый пережил... Старик Сошенко преподавал рисование во 2-й Киевской гимназии, помещавшейся на Бибикивском бульваре²⁶, а жил на Львовской (Сенной) площади; Шевченко с ним, с его племянницей «чернявой Ганнусей» и ее подругами гулял на Киселевке и над Днепром; вместе пели песни.

У Сошенко поэт познакомился со своим будущим биографом, на протяжении многих лет усердно собиравшим всевозможные материалы о Шевченко, Михаилом Корнеевичем Чалым, в то время он служил инспектором 2-й гимназии.

Удалось ли поэту во время его приезда на Украину летом 1859 года установить прямые связи с существовавшим уже в это время в Киеве тайным революционным обществом?²⁷

Круг его встреч и знакомств вполне допускает это.

Известно, что один из молодежных кружков, вошедших затем в состав «Земли и воли», состоял из учащихся старших классов 2-й Киевской гимназии (с которой, как мы знаем, Шевченко был связан). Из стен этой гимназии вышел известный революционер-земледелец Владимир Синегуб. Синегуба вовлек в революционную деятельность крупный организатор, один из друзей Чернышевского и Добролюбова, участник «Земли и воли» подполковник Андрей Афанасьевич Красовский. С Красовским Шевченко был знаком еще по Петербургу.

Были у Шевченко знакомые и в тайном студенческом обществе, основанном в 1856 году в Харькове. К началу 1859 года Яков Бекман, Петр Завадский, Петр Ефименко, Митрофан Муравский, составлявшие его «совет», переехали в Киев.

Отсюда они поддерживали связи с другими городами. Представителем тайного общества в Петербурге являлся давний знакомый Шевченко — Карп Иванович Белозерский (племянник издателя «Основы»), друг Бекмана и Муравского.

Харьковско-Киевское революционное общество имело прямые связи с лондонским центром Герцена и Огарева, располагало агентурой для доставки из-за границы и широкого распространения в России, и прежде всего на Украине, нелегальных изданий.

Когда в 1859 году за границей были отпечатаны первые бесцензурные сборники стихотворений Шевченко, общество принялось активно распространять эти издания, а затем и перепечатывать их различными способами (литографским, позже типографским).

В августе 1859 года, когда Шевченко как раз находился в Киеве, Бекман и его товарищи с помощью профессора Киевского университета В. П. Павлова занялись организацией первых в России «воскресных школ», служивших удобной формой полулегальной революционной пропаганды.

Первые школы открылись в октябре того же года в Киеве ²⁸.

Друзья Шевченко — Чалый, Сошенко, Красковский — участвовали в их организации и работе, хотя, очевидно, и не были полностью осведомлены о том революционно-пропагандистском замысле, который имелся у тайного общества.

Шевченко был одним из деятельных организаторов всего движения воскресных школ; специально для этих школ он составил «Букварь южнорусский», изданный в 1860 году в Петербурге; содержание букваря ясно показывает, что Шевченко знал о замысле использовать воскресные

школы для революционно-демократической пропаганды: весь материал здесь служит задаче воспитания у учащихся духа протеста против «неправой власти» царя и помещиков, призывает к борьбе «огнем и кровью народной» за «святую правду». Недаром букварь был сразу же категорически запрещен царскими властями.

Шевченко предполагал в дальнейшем составить для народных школ книги и для чтения по истории, географии, этнографии. В письмах его после отъезда из Киева воскресные школы занимают много места:

«Напишите мне поскорее, во имя божье, что делается в ваших воскресных школах», — требует Шевченко.

«Что делают ваши воскресные школы?»

Он посылает деньги, издания «Кобзаря» и «Букваря» воскресным школам Киева, Чернигова, Харькова, Одессы. Предлагая Чалому выслать в Киев пять тысяч экземпляров «Букваря», Шевченко поясняет:

«Это не мое добро, а добро наших убогих воскресных школ», — и всю эту фразу в письме подчеркивает.

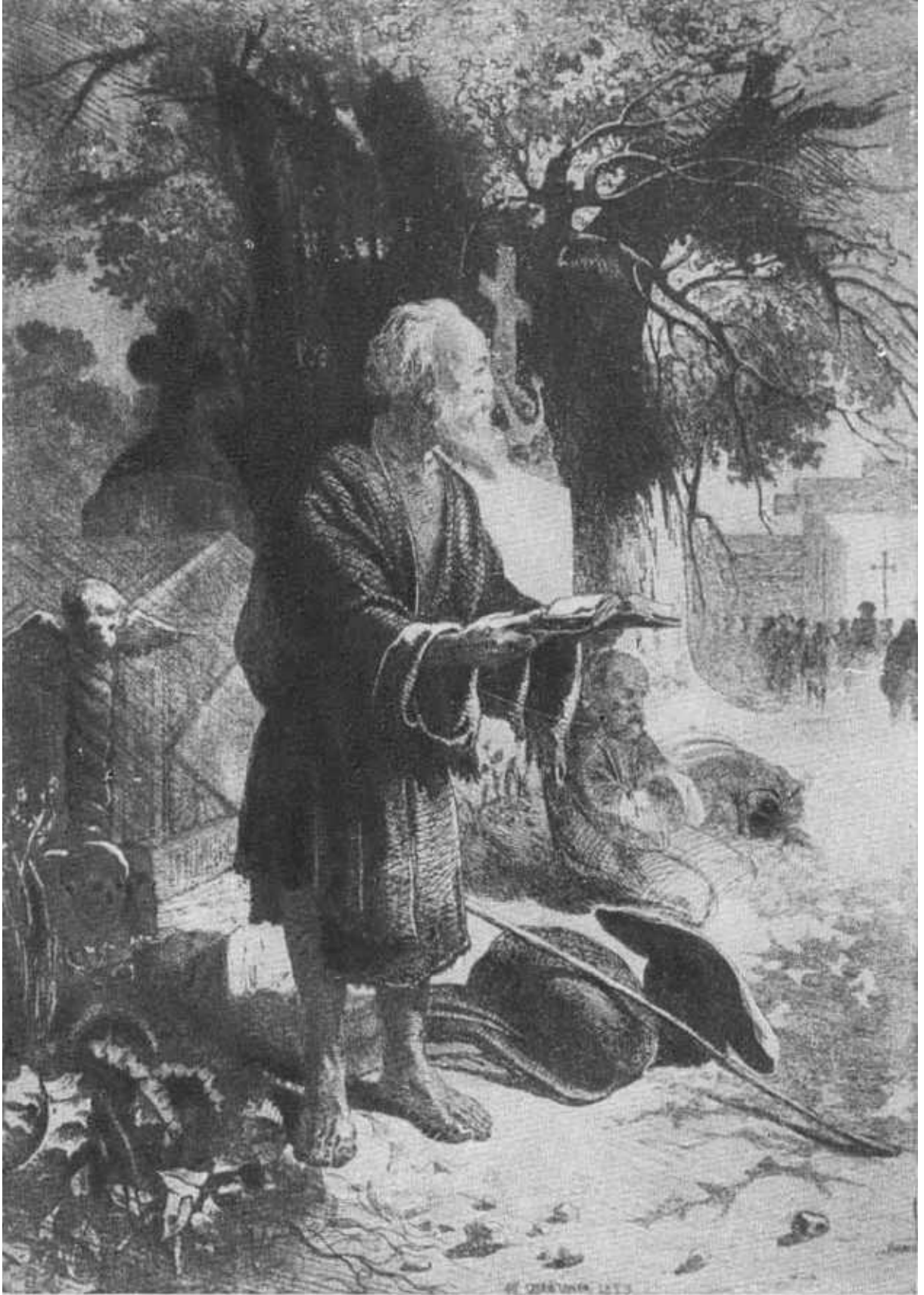
Андреевский повернул все свое «следствие» так, что князь Васильчиков признал взведенные на Шевченко обвинения необоснованными и сообщил в Петербург: «Не придавая делу этому особого значения, я оставляю его без последствий».

Однако тот же Васильчиков заявил устно Шевченко, что «советует» ему поскорее уезжать обратно в Петербург, и не внять этому начальническому «совету» было невозможно.

Шевченко тотчас же после официального окончания дела, последовавшего 12 августа, должен был поспешить оставить Киев.

Уезжал он с Украины в полной уверенности, что в самом ближайшем будущем возвратится сюда снова и поселится на более продолжительный срок.

С дороги он пишет Варфоломею: «Сделал ли ты что-нибудь с Вольским? Если нет — так сделай, как сможешь, да как бог тебе поможет, потому что мне и днем и ночью снится та благодать над Днестром, которую мы с тобой осматривали».



Нищий на кладбище. Офорт Т. Г. Шевченко.



Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко в Петербурге. Рисунок А. В. Хвостова-Хвостенко.

БУКВАРЬ

ЮЖНОРУССКІЙ.

1861 року.

Цена тры копійкы.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ печатни Гогенфельдена и ко.

Обложка «Букваря» Т. Г. Шевченко.

А Варфоломей в это время получил от владельца межиричской земли помещика Парчевского следующий ответ:

— Нужно спросить генерал-губернатора, можно ли Тарасу Шевченко покупать тут землю, а то как бы не вышло чего-нибудь!

И вот переписка о покупке участка под хату тянется из месяца в месяц до самой смерти Шевченко.

Он просит даже купить лес на постройку, посылает разные варианты плана хаты. Бесконечно повторяет просьбу найти ему «курносую чернявку» — невесту.

Мог ли знать тогда поэт, что генерал-губернатор Васильчиков еще в августе 1859 года решительно писал начальнику Третьего отделения в Петербург:

«Если бы Шевченко пожелал поселиться в здешнем крае, то я полагал бы отклонить его намерение. Водворение его здесь я не считаю удобным...»

XXII. ГЛАШАТАИ ГРЯДУЩЕГО ДНЯ

Нигде ни в чем отрады нету
Душа, поднявшись до рассвета,
Напряв немного, вновь легла
А воля душу сторожила, —
Беднягу снова подняла
Дрянная малую смутила
— Рыдай! — сказала — Солнца нет!
Не загорится правды свет! —
Но душу обманула воля
Уж солнце всходит над землей
И день приводит за собой.
Зашевелились на престоле
Крепкохребетные цари.
И будет правда на земли!.

Глашатаем, провозвестником света нового дня ясно сознавал себя Шевченко в эти годы острой революционной обстановки в России.

Образ идущего после темной ночи лучезарного дня, после мрака самодержавного, крепостнического гнета — яркой революционной вспышки и социального обновления становится излюбленным образом в гражданской, политической лирике Шевченко 1859–1861 годов.

С твердой верой в победу революции поэт восклицает:

Мука! Мука!
О скорбь моя, моя печаль!
Когда ты сгинешь? Или псами
Цари с министрами рабами
Тебя затравят, изведут?
Не изведут! А люди тихо
Без всякого лихого лиха
Царя на плаху поведут!

Как бы проникая взором сквозь туманную пелену времени, поэт обращается к борцам за торжество истины и справедливости:

А вы по всей земле без страха,
Предтечи светлые, прошли
...Будет бито
Царями сеянное жито
А люди вырастут. Умрут
Цари и те, что не зачаты
И на воспрянувшей земле
Врага не будет, супостата,
А будут сын и мать, и свято
Жить будут люди на земле

Он предсказывал гибель царизма, подобно тому как погибали рано или поздно все деспотические монархи: хищника-царя

Подстерегли
И, заковавши крепко в путы,
В Египет люди отвели
На каторгу

Когда появился новый деспот, так же притеснявший народ,

И этот не избег оков, —
Он схвачен был, тот пес на троне,
В тюрьму посажен в Вавилоне
Глубокую, чтоб бедный люд
Не слышал яростного рыка
Самодержавного владыки,
Царя несытого...

Пройдут «дни беззакония и зла». Поэт уверенно предрекает царям и вельможам неминуемый исход:

Ветер с поля
Дохнет, сметет, очистит путь,

И ваше злое своеволие
Купаться будет и тонуть
В своей крови. И плач великий,
Совсем не схожий с львиным рыком,
Услышат люди. Этот плач —
Никчемный, долгий и поганый —
Народной притчей скоро станет!
Самодержавный этот плач!

Тогда-то перед трудовым народом откроется широчайшее юле
деятельности. Вот почему с таким горячим чувством обращается поэт к
этому грядущему дню всенародного творческого расцвета:

Земля моя, распашися
Ты в степи просторной!
Ты прими в себя, родная,
Ясной воли зерна!
Распашися, развернися,
Расстелися полем!
Ты засейся добрым житом,
Ты полейся долей!
На все стороны раздайся,
Нива-десятина!
Ты засейся не словами
А разумом, нива!
Выйдут люди. Время жатвы
Настанет счастливой.
Расстелись же, развернись же,
Убогая нива!!!

Романтическая взволнованность раннего эпоса поэта, разрушительная
аналитическая сила социальных раздумий эпохи «Трех лет», задушевный
лиризм, проникновенность образов «невольничьей поэзии» — все
соединилось в лирике и поэмах Шевченко 1859–1861 годов в период
наивысшего расцвета его поэтической мощи.

В этих стихах часто можно проследить прямое развитие традиций
мужественной гражданской лирики Рылеева, Пушкина, можно услышать

интонации, напоминающие и едкие сарказмы Лермонтова, и гневные призывы Барбье, и иронические реплики Беранже; однако же творчество Шевченко составляет совершенно самостоятельную и совершенно новую страницу в истории мировой литературы.

Богатство красок и интонаций, то страстно бичующих, то чарующе мягких, то вдохновенно пророческих, дает поэту возможность раскрыть большой и сложный мир человеческой души и социальной действительности в их неразрывном единстве.

Это, собственно, прежде всего изъяснение своего отношения к жизненным категориям, своего понимания этой действительности.

Вот поэт начинает свои размышления взволнованным обращением к народу:

О люди! бедные, слепые!
К чему, скажите, вам цари?
К чему, скажите, вам псари?
Вы все же люди, не борзые!

Потом внезапно меняет тон, чтобы изобразить простой, реалистический городской пейзаж:

Иду. И холодно, и сыро,
И снег, и темень. И Нева
Тихохонько из-под моста
Выносит тоненькую льдинку.
А я шагаю над Невой
Да кашляю в ночи сырой.

Этот почти графически точный рисунок, напоминающий излюбленную шевченковскую гравюру — офорт, внезапно сменяется остросоциальной бытовой картинкой: воспитанниц какого-то приюта ведут на похороны скончавшейся царицы Александры Федоровны:

Вдруг вижу: кротки, как ягнята,
По грязи шлепают дивчата,
А дед (несчастный инвалид)
Плетется сзади, ковыляет,

В овчарню будто загоняет
Чужое стадо...

Однако об этом нельзя говорить спокойно, и тон снова резко меняется — на гневный, уничтожающе-обличительный:

...Где же стыд?
И где тут правда?! Горе! Горе!
Сирот, голодных, чуть не голых,
Погнали к «матери» дивчат —
Последний долг отдать велят
И гонят, как овец отару.

Таким образом, подготовлен вывод, возвращающий читателя к первым строкам стихотворения: неизбежно должен наступить день кары для всех «царей» и «царят» на земле, и только тогда взойдет солнце правды для всего народа, иначе неминуема катастрофа.

Когда же суд! Падет ли кара
На всех царят, на всех царей?
Придет ли правда для людей?
Должна прийти! Ведь солнце встанет,
Сожжет все зло — и день настанет.

В то же время поэт создает овечьи неподдельным ароматом народной поэзии лирические песни и в духе родного украинского фольклора («Течет вода от явора...», «Ой, на горе яр-хмель цветет...»), и в подражание древнерусской литературе (перепевы «Слова о полку Игореве»), и на мотивы, взятые из поэзии других народов: польского, сербского.

Но и эти лирические песни Шевченко проникнуты гражданским чувством. Он и в небольшом наброске ставит все тот же постоянно мучающий его вопрос: на кого работает, кому отдает свой труд народ?

Девушка мила, красива,
Шла по двору с пивом,

А я глянул — удивился,
Даже рассердился
Кому она пиво носит?
Почему босая?
Боже сильный, твоя сила
Тебе же мешает.

В последний период своей жизни Шевченко развивался как поэт, мыслитель, политический деятель и революционный борец с величайшей быстротой.

Вождь «революционной партии», опытный организатор, конспиратор, Чернышевский обладал способностью сплачивать и направлять нужных и полезных делу людей. Он искусно применял их таланты в наиболее выгодной области: литературно-критический дар Добролюбова, агитационно-художественную силу Некрасова, самоотверженную преданность революции Сераковского, пропагандистскую и конспиративную поддержку Николая и Владимира Обручевых.

В статьях Чернышевского (где он вынужден был, конечно, выражаться крайне сдержанно) сохранились существенные ссылки на Шевченко, важнейшее свидетельство великого вождя революционеров-демократов о том, что в крестьянском и национальном вопросе, в вопросе о жизни Украины для него не было авторитета выше, чем Шевченко.

«Никакие голословные возражения, — писал Чернышевский спустя несколько месяцев после смерти своего замечательного друга, — не поколеблют нашего мнения, опирающегося на такой авторитет, как Шевченко... Опираясь на этот непоколебимый авторитет, мы твердо говорим, что те, которые захотели бы говорить противное, ослеплены предрассудком...»

Чернышевский, ссылаясь в подцензурных статьях на свои беседы с Шевченко, неоднократно прибегает к таким формулировкам:

«Слышали мы свидетельство об этом от человека, имя которого драгоценно каждому малороссу, — от покойного Шевченко...»

«Он свидетельствовал нам...»

«Этот отзыв прекратил для нас возможность смотреть на отношения...»

«Он окончательно разъяснил для нас ту истину, которую давно мы предполагали сами...»

«Как свидетельствовал нам Шевченко.»

Чернышевский использует в своих статьях запрещенные цензурой революционные произведения Шевченко: например, поэму «Кавказ», из которой приводит ставшее впоследствии крылатым саркастическое определение удела поработанных царизмом народностей:

«Они благоденствуют, по совершенно верному и очень удачному выражению своего любимого поэта Шевченко».

С Украины в Петербург Шевченко приехал утром 7 сентября 1859 года.

По дороге он заезжал еще к нескольким знакомым — в Переяславе, Гиравке, Качановке. В Москве поэт повидался со Щепкиным.

За несколько дней до приезда в Петербург Шевченко возвратился из Саратова и Чернышевский, как раз этим летом видевшийся в Лондоне с Герценом и Огаревым.

Двоюродная сестра Чернышевского, Поленька Пыпина, приехавшая вместе с ним в начале сентября из Саратова в Петербург, уже 22 сентября сообщала родителям в Саратов:

«Сегодня, может быть, будем у Костомарова, опять увижу Шевченко, один раз уж видела у нас. Он в самом деле похож на [Гарibaldi]..»

У Костомарова, который переехал в 1859 году из Саратова в Петербург, происходили с осени этого года еженедельные литературные собрания по вторникам.

На этих «костомаровских вторниках», в меблированных комнатах Балабина, именованных в просторечии «Балалаевкой», бывало много народу. Сам Костомаров называет среди своих постоянных посетителей Чернышевского, Шевченко, Кавелина, Желиговского, Виктора Калиновского, Сераковского, Василия Белозерского.

В «Балалаевке» литературные собрания носили по преимуществу характер легкий, обычно с оттенком шутливости, но Костомаров вспоминает, что и на этих людных, оживленных «вторниках» сказывалось напряжение, в котором находилось тогда все общество: «Встречались люди — и наговориться не могли; все казалось ново, все занимало; каких только вопросов не касались — спорили, горячились...»

Известный украинский писатель Данила Мордовцев, приехавший как-то из Саратова в Петербург по своим делам и поселившийся в тех же номерах Балабина, вспоминает, как однажды зашел он во вторник к Костомарову, где встретился с Шевченко. Вскоре скрипнули двери и показалась голова, промолвившая с порога:

— Нет бога, кроме бога, и Николай — пророк его!

Это был Чернышевский, постоянно подшучивавший над хорошо

знакомым ему по Саратову Костомаровым.

— Здравствуй, волк в овечьей шкуре! — отвечал Чернышевскому Костомаров.

Мордовцев, который редактировал в это время «неофициальную часть» саратовских «Губернских ведомостей», пропустил в газете одну, как в те годы говорили, «обличительную» заметку о каком-то офицере Бутырского полка, свирепствовавшем по части мордобоя.

Чернышевский сразу обратился по этому поводу к Мордовцеву:

— Читали, читали ваше обличение! Назвать героев-бутырцев «мокрыми орлами», чуть не курами! Да за это обличение сидеть вам в месте злачне, в месте прохладне, идеже праведнии пророк Николай (то есть Костомаров, проведший год в Петропавловской крепости — Л. Х.) и кобзарь Тарас упокояшася... Так, Тарас Григорьевич?

— Нет, немножко не так, — отвечал Шевченко Чернышевскому и тут же прибавил: — А вы там таки посидите!

Горькая эта шутка была не просто шуткой...

Все тогдашние революционные деятели жили под постоянной угрозой репрессий: ареста, тюрьмы, ссылки.

— Я знал, что за мною следили, — замечал впоследствии Чернышевский, — и хвалились, что за мною следят очень хорошо.

Шевченко тоже знал, что ему ежечасно угрожает.

«Слава мне не помогает, и мне кажется, — с горечью пишет поэт Варфоломею в ноябре 1859 года, — она меня и во второй раз поведет телят Макара пасти...»

И при этом сам ставит в конце фразы красноречивое многоточие.

Могли этого ожидать и друзья поэта, прежде всего те, кто был знаком с его неопубликованными произведениями, те, кто был осведомлен о его революционно-подпольной работе, — Чернышевский, Добролюбов.

Тот же Мордовцев, например, вспоминает, что однажды Шевченко куда-то исчез и не показывался несколько дней (как потом выяснилось, он жил это время у братьев Жемчужниковых и Алексея Толстого); и вот Чернышевский серьезно беспокоился:

— А может, он, как Иона, во чреве китове?..

«Иона во чреве китове» — прозрачный намек на Третье отделение.

Потрясающее стихотворение (1860 года) находим в рукописях Шевченко:

Однажды над Невой иду
В глухой ночи. И на ходу

Так размышляю сам с собою:
«Когда б, — я думаю, — когда б
Таким покорным не был раб,
То этих скверных над Невою
Не возвышалось бы палат!
Была б сестра, и был бы брат.
А то... Лишь слез и горя много,
И нет ни бога, ни полбога..
Псари с псарятами царят...»

Внезапно в разгаре этих размышлений перед поэтом встает призрак деспотизма — Петропавловская крепость, сгноившая в своих казематах не одного мученика свободы.

А за рекою, как из ямы,
Глаза кошачьи на меня
Глядят — то фонари горят
Возле апостольского храма
Тут спохватился и крестом
Я осенился, трижды плюнул...

Но и глядя на ворота грозной Петропавловки, Шевченко думает все о том же — о борьбе против царизма:

И снова думать стал о том —
О том, о чем и раньше думал.

...В тот вечер, о котором рассказывает Мордовцев, к Костомарову вслед за Чернышевским явились Мельников-Печерский, писатель и артист Иван Федорович Горбунов, издатель и продавец запрещенной литературы Дмитрий Кожанчиков.

— А знаете, господа, — воскликнул вдруг со своим обычным смешком Чернышевский, — иду это я сюда мимо Думы, коли глядь на небо — и диву дался: что за история творится на небе во вселенной? Там появилась какая-то новая, неведомая звезда, да такой величины и блеска, такое светило, что, пожалуй, и Сириусу и Арктуру нос утрет. Когда подъезжаю сюда, глядь, а

звезда эта как раз над «Балалаевкой»...

— Это, видите ли, новое светило появилось в «Балалаевке», — скривился Горбунов и глазами показал на Костомарова.

— Да нет! — откликнулся Костомаров. — Это над Тарасовой головой взошла новая звезда, потому что его Петербург не знает, где и посадить да чем и угощать.

— Да, да, — продолжал Мельников, — вот об этой-то звезде Тарас Григорьевич и мурлычет весь вечер: «Ой, зійди, зійди, зіронько вечірняя, ой, зійди, зійди, дівчино моя вірна...»

Вместе с Чернышевским Шевченко бывал на многолюдных вечерах у либерала Кавелина, с которым поэт познакомился еще весной 1858 года, тотчас по приезде в Петербург.

На этих собраниях происходили бурные споры революционных демократов с либералами. Основным аргументом революционеров был тот же воспетый Тарасом Шевченко «мужицкий топор», «крестьянский обух», как символ всенародного восстания.

Чернышевский позже, уже в ссылке, рассказывал о своих посещениях Кавелина:

— Я тоже бывал не один раз. Я да еще несколько человек — мы там любили напоминать о топорах, нечего греха таить: частенько-таки напоминали...

В 1859–1861 годах Шевченко постоянно посещал Чернышевского у него на квартире и в доме редакции «Современника» (где жили Некрасов и Добролюбов).

В альбоме жены Чернышевского Ольги Сократовны (между прочим, по отцу — украинки) сохранилось несколько рисунков Шевченко, которые свидетельствуют о его большой близости ко всей семье Чернышевских.

На одном изображен сын Чернышевского Александр верхом на запряженной в телегу лошади, жующей сено; на других — наброски среднеазиатских и оренбургских впечатлений Шевченко. Рисунки эти могли быть выполнены летом 1860 года, на даче в Любани, где поэт бывал у Чернышевских. Случай сохранил, например, такую записку Николая Новицкого к поэту, писанную в мае 1860 года:

«Вы собираетесь ехать на дачу к Чернышевскому; если намерение Ваше не переменилось, то я отправился бы туда вместе с Вами. Душевно преданный Новицкий».

Но рисунки в альбоме Ольги Сократовны (помещающиеся на самых первых его листах) могли быть сделаны и в мае 1859 года, перед отъездом Шевченко на Украину, когда Чернышевский с семьей снимал дачу на

Под впечатлением этих рассказов один из позднейших знакомых Чернышевской, поэт Владимир Козлов, записал ей на память свое стихотворение:

Памяти славного Кобзаря Украины

...Любил он отчизну свою горячо,
Любил того края природу,
Где думы свои он в наследство свое
Оставил родному народу.
Но в них со слезой на глазах горевал
О доле несчастной народной,
И тщетно он долгие годы мечтал
О жизни в Украине привольной.
По белому свету далёко звучат
Тех песен напевы родные;
Про доброе сердце они говорят,
Про чувства души золотые!..

На стихотворении автор сделал пояснительную надпись:

«На память об одном из лучших друзей Ольги Сократовны Чернышевской».

Еще осенью 1858 года пошли слухи о том, что Федора Толстого хотят заменить на посту вице-президента Академии художеств любителем древнехристианской и византийской живописи князем Гагариным.

Шевченко искренне волновался за своего покровителя, привлекавшего его и своими независимыми взглядами и чуткостью ко всему новому, передовому, молодому. Как-то в присутствии Толстого стали порицать молодежь и кто-то произнес обычную сентенцию о том, что вот в прежнее время были люди, а теперь, дескать, мелкота пошла, и молодое поколение никуда не годится.

— Что это вы говорите? — не на шутку рассердился восьмидесятилетний старик Федор Петрович. — Это неправда, этого не может быть! Молодое поколение должно быть лучше старого, иначе зачем же мы работали?!

27 сентября 1858 года Шевченко написал для «Колокола» письмо о делах в Академии художеств. Он передал его общему знакомому — московскому ученому профессору Бабсту для отправки Герцену. Гораздо позже ему стало известно, что письмо это почему-то не было отправлено по

назначению...

И, находясь на Украине, Шевченко живо интересовался делами Толстого. 10 июля 1859 года он писал из Межиричи в Петербург Михаилу Лазаревскому:

«В Академии ли граф Федор Петрович? Или нет?»

Лазаревский отвечал, что Гагарин уже назначен вице-президентом, а как поступят с Толстым, еще неизвестно:

«О князе Гагарине есть уже в газетах, а о графе Федоре Петровиче нет ничего еще».

Возвратившись осенью в Петербург и ознакомившись с обстоятельствами отставки Толстого и назначения реакционера Гагарина, Шевченко был крайне возмущен. Для него было ясно, что это один из актов быстро наступавшей реакции Александра II Вешателя.

Смещение старого вице-президента, связанного некогда с героями 14 декабря, и назначение на его место защитника «официальной народности» приобретали определенное политическое звучание.

И вот Шевченко снова пишет об этом Герцену в Лондон.

Заметка его (разумеется, без подписи и, возможно, несколько переработанная Герценом) появилась в новогоднем номере «Колокола» 1 января 1860 года (20 декабря 1859 года по старому стилю),

«Академия художеств в осадном и иконописном положении

Русская Академия художеств, год тому назад украшенная картиной Иванова, взята приступом. На месте талантливого, хотя уже и старого, но весьма почтенного вице-президента ее графа Толстого сидит грозный вождь князь Гагарин. Он тотчас занял крепкую позицию — 40 комнат под свою квартиру, то есть вчетверо более, чем его предшественник, изгнав трех заслуженных профессоров академии, и все это под тем предлогом, что к нему ездит сам государь... К довершению всего православная Академия художеств займется исключительно византийской школой живописи и постарается довести до божественной лепоты суздальскую иконопись...»

Так Шевченко начал выступать в герценовской нелегальной печати.

И «партия Чернышевского» в России, к которой принадлежал Шевченко, и Герцен с Огаревым в эмиграции активно боролись против общего врага — царизма и крепостничества. Но Герцену в период, предшествовавший крестьянской реформе 1861 года, были свойственны некоторые либеральные колебания: подчас он склонен был переоценивать «благие намерения» Александра II; покинув Россию еще в 40-х годах, он не видел революционного народа и недооценивал его силу.

Чернышевский и его соратники, представлявшие новое поколение

революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за его отступления от демократизма к либерализму. Однако, подчеркивал В. И. Ленин, «при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх».

Герцен бесстрашно боролся за победу народа над царизмом, «он поднял знамя революции», — сказал о нем Ленин. И когда революционную агитацию Герцена подхватили, расширили, укрепили и закалили революционеры-разночинцы, когда шире стал круг борцов революции, теснее их связь с народом, Герцен с гордостью и симпатией назвал их: «Молодые штурманы будущей бури».

Сколько горячих слов сочувствия и расположения находим в статьях и письмах Герцена о Чернышевском и Добролюбове, братьях Серно-Соловьевичах, Шевченко, Михайлове, Сераковском, Налбандяне и многих других «штурманах бури»!

Они иногда в вопросах тактики не соглашались и даже жестоко спорили с гениальным лондонским изгнанником, но враг у них был общий и дело — общее!

Одним из либеральных колебаний Герцена явилось его письмо к царю Александру II, о котором Шевченко, еще только что возвращавшийся тогда на пароходе «Князь Пожарский» из ссылки, отрицательно отозвался в своем «Дневнике».

И вот в том же № 60 «Колокола» (1 января 1860 года), в котором была напечатана заметка Шевченко об Академии художеств, Герцен поместил свою новогоднюю передовую статью под названием «1860». Здесь он снова апеллировал не к народу, а к царю, вспоминая и прежние свои обращения к Александру II, продиктованные тщетной надеждой на то, что весь государственный и социальный порядок в России может быть перестроен по «высочайшему повелению».

На Чернышевского, Добролюбова, Шевченко и всех их единомышленников статья Герцена произвела грустное впечатление.

Революционные демократы не могли не верить в Герцена, в его искреннее желание служить своим свободным словом трудовому народу, бороться за его свободу и права.

Нужно было всеми средствами помочь ему освободиться от иллюзий и заблуждений.

Буквально накануне появления новогодней статьи Герцена в «Колоколе», Шевченко 25 декабря 1859 года писал:

Пророчь лукавым о возмездье.

Что, злые, пропадут они.
Что не спасет их добрый царь,
Их кроткий пьяный государь..
Без притчи, так скажи — Вы сами
Своими грязными руками
Кумир создали, говоря,
Что царь — ваш бог, надежда ваша,
Что ждете всем убогим нашим
Вы утешенья от царя —
Не так! Скажи им. — Лгут все боги,
Все идолы в чужих чертогах!
Скажи, что правда оживет
И вновь сердца людей зажжет,
Но не растленным ветхим словом,
А словом вдохновенным, новым,
Как громом, грянет и спасет
Весь обокраденный народ
От ласки царской...

Это писалось еще до появления статьи «1860». Эти же мысли необходимо было теперь высказать в ответ на герценовскую статью. И, конечно, лучше всего было сделать это на страницах того же «Колокола», где она была напечатана.

Ответ Герцену под заголовком «Письмо из провинции» появился в «Колоколе» (№ 64, 1 марта 1860 года) за подписью «Русский человек».

Письмо «Русского человека», очевидно, готовилось, писалось и обсуждалось целой группой революционных демократов во главе с Чернышевским, при участии Добролюбова, Шевченко.

«Все ждали, — обращался «Русский человек» к Герцену, — что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий, — это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия. И что же? Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II...

Все люди, искренне и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа...

Вы писали в первой «Полярной звезде», что народ в эту войну (то есть

в Крымскую войну. — Л. Х.) шел вместе с царем... Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа, и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения крепостных от помещичьей неволи...

Подумайте об этом расположении умов народа в конце царствования Николая... и мысль, что незабвенный мог бы не так спокойно кончить жизнь, не покажется вам мечтою...

С начала царствования Александра II немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны... как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей; все заговорили об умеренности, об мирном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою...

Крестьяне и либералы идут в разные стороны. Крестьяне, которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и кто их знает что еще.

Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого, в случае если народ без руководителей возьмется за топор, путаница, в которой царь, как в мутной воде, половит рыбки, или выйдет что-нибудь и хорошее?.. Если выйдет первое, то ужасно...

Что же сделано вами для отвращения этой грядущей беды?.. Поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию...

Нет, не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она многим пригодилась бы. Надежда в деле политики— золотая цепь, которую легко обратить в кандалы...

Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, — другого спасения нет...

Пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь... Помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать.

С глубоким к вам уважением Русский человек».

Этот блестящий документ революционно-демократической мысли резко выразил идеи крестьянской революции в России, идеи «партии Чернышевского».

Это были также и идеи Шевченко; он недавно, с запасом свежих наблюдений, возвратился из большой поездки по деревням и селам Украины, много ценного почерпнул из последних своих бесед с крестьянами; он же всегда и прежде выступал против «надежд» на

«добрého царя» и призывал «обух всем миром закалить», хорошенько «наточить топор» и приняться «будить» народную «волю».

— Другого спасения нет, — повторял всегда Шевченко.

Письмо «Русского человека» произвело огромное впечатление на общественность, особенно на молодежь. Все увидели в нем прямое развитие идей «Современника», но высказанных открыто, без конспирации, к которой приходилось прибегать на страницах журнала.

Эго обращение круга Чернышевского не пропало даром и для самого Герцена; порицая, например, своего сына за равнодушие к общественно-политической деятельности, он прямо ссылался на письмо «Русского человека»:

«Ты не чувствуешь, что в России идет борьба и что эта борьба отталкивает слабых, а сильных именно потому и влечет она, что это — борьба на смерть. Что ты ссылаешься на письмо [«Русского человека»] в «Колоколе»? Разве он его окончил тем, чтобы бежать или лечь спать? Он его окончил боевым криком!»

Здесь все дышит неподдельным сочувствием, симпатией — прямым восторгом перед мужественным, сильным борцом «на смерть» с его «боевым криком», призывающим Русь «к топору».

Круг Чернышевского продолжал и в дальнейшем поддерживать активную связь с Герценом.

Весной 1860 года ехал за границу знакомый Шевченко, Марка Вовчка, Тургенева — Николай Макаров.

Через Макарова Шевченко передал «Кобзарь» Марку Вовчку с надписью: «Моей единственной дочурке — Марусе Маркович — и родной и крестный отец Тарас Шевченко». И через него же другой экземпляр — Герцену, но уже не надписанный, а с таким письмом: «Посылаю Вам экземпляр «Кобзаря», на всякий случай без надписи. Передайте его А. И. [Герцену] с моим благоговейным поклоном».

Адресованное Макарову, это письмо было фактически обращено к Герцену, заменяя собой надпись на самой книге «на всякий случай», то есть на случай обыска в дороге.

Поэтому, когда Макаров, задержавшись в Германии, в Аахене, не смог сам доставить «Кобзарь» по назначению, он передал книгу Герцену в Лондон через Анненкова вместе с шевченковским письмом. Оно сохранилось и по сей день в личной библиотеке Герцена, у его наследников.

Текст письма впервые был опубликован Драгомановым в 1888 году, причем оно было названо «Письмо к А. И. Герцену».

Тот же Анненков доставил «Кобзарь» и Марко Вовчку в Лозанну.

После запрещения печатать сборник стихов Шевченко продолжал хлопоты при посредстве тогдашнего министра народного просвещения, известного геолога и этнографа, исследователя Донецкого бассейна Евграфа Петровича Ковалевского.

Возможно, поэту содействовали некоторые знакомые с Ковалевским писатели, а также Егор Петрович Ковалевский, близкий к «Современнику» и Чернышевскому, первый председатель Литературного фонда, образованного в конце 1859 года.

Переписка министра народного просвещения с начальником Третьего отделения, с Главным управлением цензуры и с попечителем Петербургского учебного округа, составившая обширное дело «О дозволении печатать произведения Т. Г. Шевченко», тянулась еще долгие, долгие месяцы.

Только 26 ноября 1859 года состоялось, наконец, это долгожданное «дозволение». В этот день Шевченко сообщил друзьям:

«Сегодня цензура выпустила из своих когтей мои бесталанные думы, да так их, проклятая, обчистила, что я едва узнал свои чада».

Печатание новых произведений поэту не было разрешено, а только перепечатка прежних, изданных еще в 40-х годах, да при этом и в них были произведены изъятия ряда мест, некогда пропущенных даже николаевской цензурой!

Таким образом, «после долгих двухлетних проволочек, — рассказывает в своей «Автобиографии» Шевченко, — Главный цензурный комитет разрешил ему напечатать только те из своих сочинений, которые были напечатаны до 1847 года, вычеркнувши из них десятки страниц (прогресс!)».

Этот сборник, которому было дано прежнее заглавие — «Кобзарь», вышел в свет в январе 1860 года.

Однако некоторые новые стихотворения и поэмы печатались в периодической прессе: за 1858–1861 годы более сорока произведений Шевченко было помещено в журналах и газетах — в «Современнике» Некрасова и Чернышевского, в «Московском вестнике» Плещеева и Шелгунова, в «Народном чтении» Оболонского, в «Русском слове» Благосветлова, в «Основе» Белозерского, даже в «Библиотеке для чтения» Дружинина.

Подобно тому, писал Чернышевский, как появление Мицкевича в польской литературе определило новое ее направление, вследствие чего вся польская литература перестала нуждаться в снисходительных отзывах

критики, — так же точно, «имея теперь такого поэта, как Шевченко, малорусская литература также не нуждается ни в чьей благосклонности... А важнее всего, — тут же добавляет Чернышевский, — то обстоятельство, что *сама малорусская нация пробуждается*» (курсив мой. — Л. Х.).

Эти высказывания Чернышевского отражают отношение к Шевченко всей революционно-демократической общественности. Он связывал смысл и направление поэзии Шевченко с освободительным движением украинского народа, с антикрепостнической борьбой крестьянских масс.

То же говорит о Шевченко и Добролюбов в своей статье о новом издании «Кобзаря»: «Он — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов нейдет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда отдаляется от народа. У Шевченко, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан».

Добролюбов, выражаясь по необходимости намеками, подчеркивает, что Шевченко во всей своей деятельности («обстоятельствами жизни») был революционером. Не отрицая, таким образом, народности Пушкина, Лермонтова или Кольцова, критик выделяет новое, революционно-демократическое направление в поэзии и во всей общественно-политической практике Шевченко.

Имея возможность говорить более прямо, Герцен сказал о Шевченко: «Он тем велик, что он совершенно народный писатель, как наш Кольцов; но он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шевченко также политический деятель, и явился борцом за свободу».

О влиянии Шевченко на общероссийское освободительное движение, на развитие прогрессивной мысли художник Лев Жемчужников сказал: «Он и нас обернул лицом к народу и заставил полюбить его и сочувствовать его скорби. Он шел «попереду» (впереди), указывая и чистоту слова, и чистоту мысли, и чистоту жизни...»

Для распространения идей Шевченко среди читательских кругов России большое значение имели переводы их на русский язык; они выполнялись главным образом кругом поэтов демократического направления: Плещеевым, Михайловым, Николаем Курочкиным, Гербелем, Вейнбергом, Гайдебуровым.

Осенью 1860 года Николай Васильевич Гербель, старый знакомый и переводчик Шевченко, выпустил «Кобзарь» в переводах русских поэтов. В книге была перепечатана «Автобиография» Шевченко.

Мытарства претерпела и эта «Автобиография», написанная Шевченко по просьбе редактора а журнала «Народное чтение». Лишь после того как вмешательством П. Кулиша из шевченковского текста «Автобиографии» были вытравлены, сколько возможно, все резкие антикрепостнические высказывания, она смогла увидеть свет (под заглавием «Письмо Т. Г. Шевченко к редактору «Народного чтения»). Первоначальный текст, написанный Тарасом Шевченко, был опубликован только в 1885 году.

«Автобиографию» перепечатал из «Народного чтения» ряд газет и журналов, в том числе «Современник».

Правда, в этом варианте «Автобиографии» пришлось обойти полным молчанием даже самый факт ареста и десятилетней ссылки Шевченко: рассказ обрывался на... 1844 годе! Но читатель о многом и догадывался и слышал из других источников, поэтому глубокое значение приобретала фраза в начале автобиографии: «История моей жизни составляет часть истории моей родины».

Волновали читателей заключительные слова этого скорбного документа: «Сколько лет потерянных! Сколько цветов увядших!.. Мои родные братья и сестра, о которых мне тяжело было вспоминать в своем рассказе, до сих пор — крепостные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!»

Перепечатывая автобиографию Шевченко на страницах «Современника», Добролюбов многозначительно пояснил: «Рассказы о судьбе людей, подобных Шевченко, должны получать самую широкую известность в нашей публике» (курсив мой. — Л. Х.).

Опубликование этой автобиографии действительно получило широчайший отзвук: она воспринималась общественностью как призыв к борьбе против крепостничества, за освобождение поработанного народа.

Любопытный эпизод произошел, например, в таком незаметном, рядовом губернском городе, как Калуга.

Петербургская газета «Северная пчела» сообщила, что в воскресенье 10 апреля 1860 года в Калуге, в зале Дворянского собрания, был устроен литературно-музыкальный вечер «в пользу бедных». На вечере, среди других художественных произведений, «читали между прочим известное письмо г. Шевченко к издателю «Народного чтения».

Чтение произвело, как пишет газета, «решительный фурор»: в то время как передовая общественность с открытым восторгом восприняла публичное чтение этого документа, реакционная часть публики подняла шум «об оскорблении», нанесенном «дворянскому собранию». «Этим господам особенно не понравилось письмо г. Шевченко. Один из них до

того горячо вступился «за честь залы», что едва не вызвал чтецов на дуэль...»

Для освобождения крепостных братьев и сестры Шевченко самые энергичные меры принял только что организованный «Литературный фонд» (официально именовавшийся «Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым»).

Инициаторами создания Литературного фонда были деятели из круга «Современника» и сам Чернышевский, который 24 октября 1859 года писал Егору Петровичу Ковалевскому, будущему председателю общества:

«Изъявили желание быть членами-учредителями Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым:

Т. Г. Шевченко

И. И. Панаев

В. И. Ламанский

А. Н. Пыпин

Е. П. Карнович».

Одним из первых дел, предпринятых новым обществом, явились хлопоты об освобождении из крепостной зависимости родных Шевченко. В марте 1860 года комитет общества обратился с письмом к помещику Флиорковскому, владевшему крестьянами села Кириловки:

«Уважаемый и любимый сочлен нашего общества, известный всей России поэт Тарас Григорьевич Шевченко имеет между крепостными Вашими крестьянами Киевской губернии, Звенигородского уезда, в селе Кириловке, двух родных братьев Никиту и Иосифа и сестру Ирину. Он очень желает, чтобы они получили свободу и... готов даже, если Вы потребуете, внести за «их выкуп...»

Подписали: Председатель Общества, директор Азиатского департамента, генерал-майор Ковалевский. Помощник председателя, профессор Санкт-Петербургского университета, статский советник и кавалер К. Кавелин. А. Заблоцкий, тайный советник в должности статс-секретаря в Государственном Совете. Редактор журнала «Библиотека для чтения» А. Дружинин. Помещик Орловской губернии Иван Тургенев. Профессор А. Галахов. Редактор журнала «Современник» Я. Чернышевский. Помещик Симбирской губернии Я. Анненков. Член Главного управления цензуры, ординарный академик и профессор А. Никитенко. Товарищ редактора «Отечественных записок» С. Дудышкин. Редактор «Отечественных записок» статский советник А. Краевский. Директор Коммерческого банка Е. Ламанский».

Смущенный столь авторитетным ходатайством, помещик вынужден

был согласиться на выкуп семьи Шевченко: но он, во-первых, запросил неслыханно высокую сумму, а во-вторых, наотрез отказался продать освобожденным землю.

Шевченко категорически отсоветовал родным соглашаться на такое решение дела.

«Хорошо бы ты сделал, — писал поэт Варфоломею Григорьевичу, — если бы съездил в Кириловку, да сказал бы Никите, Иосифу и Ирине, чтобы они не хватались за свободу без поля и без усадеб, пускай лучше подождут». И в следующем письме: «Пану Флиорковскому пусть Никита скажет, чтобы он трижды чмокнулся со своим родным папашей — чертом. По 85 рублей пускай берет теперь наличными деньгами, с усадьбами и полем, а то потом (осенью) шиш получит».

Вся история получила огласку в печати. Газеты и журналы (в том числе широко распространенные «Санкт-Петербургские ведомости» и официальный «Русский инвалид») печатали письма Литературного фонда, лично Егора Ковалевского, Шевченко и наглые, лживые ответы Флиорковского.

Друг Шевченко и Чернышевского Николай Новицкий по поручению комитета Литературного фонда должен был летом 1860 года вести с матерым крепостником переговоры.

Когда Новицкий собирался на Украину, Шевченко очень волновался.

— Голубчик! — говорил он другу. — Поусердствуй же, похлопочи за этих несчастных!

Накануне отъезда Новицкий пробыл — у Шевченко дома с трех часов дня до полуночи.

Поэт, вспоминал позже Новицкий, был в каком-то особенно приподнятом настроении.

И о чем только они не переговорили за эти часы!..

Шевченко повел Новицкого по залам Академии художеств, в здании которой помещалась его тесная квартирка, останавливался возле знакомых ему до деталей картин — «Явление мессии народу» Иванова, «Осада Пскова» Брюллова.

Возле последней картины поэт простоял особенно долго и затем сказал, указывая на изображенные великим художником войска русских и поляков:

— Погляди, каково! Ведь сколько тут мысли!.. Вот идут во имя Христа истреблять друг друга! И страх и ужас берет, когда подумаешь, сколько крови и слез людских пролито, сколько зол понаделано, и все это, как думали, так и теперь продолжают уверять нас, во имя Христа!! Боже ты

мой, боже!.

Шевченко читал Новицкому свое новое стихотворение:

Свете тихий! Свете ясный!
Свете вольный и прекрасный!
Что тебя, мой свете милый,
В твоём доме придавило?
За что тебя опутали,
Сковали, сжали путами,
И покрывами закрыли,
И распятием доби́ли?
Не доби́ли! Встрепенися
Да над нами засветися!..
На онучи будем, милый,
Раздирать покров постылый,
Мы закурим от кадила,
«Чудотворных» в печи бросим.
Подметать же будем, милый,
В новых горницах кропилом!

И Новицкий навсегда запомнил прощание с Шевченко в эту белую петербургскую ночь. Вновь и вновь повторяя свою просьбу — сделать все для освобождения братьев и сестры Ирины, — Шевченко вдруг не выдержал, упал на пестрый клеенчатый диванчик, закрыл лицо руками и громко заплакал, как ребенок:

— О Ярина, Ярина, Ярина!..

С Украины Новицкий 7 сентября 1860 года писал: «Был я у Флиорковского Плохо. Он соглашается дать «личную свободу» семействам твоих братьев и сестры без выкупа, уступает за деньги усадьбу, но ни за что не соглашается уступить земли под запашку. Этого, говорит, я не могу сделать, не возмущая других крестьян. О, бестия же этот Флиорковский, да еще какая бестия — самая модная!»

В конце концов Флиорковский все-таки настоял на своем, и родные Шевченко подписали «безземельную волю».

Узнав, что братья согласились на освобождение без земли, Тарас писал Варфоломею:

«Брату Иосифу скажи, что он глупец...»

Литературный фонд начал устраивать концерты с участием артистов и

писателей в пользу нуждающихся студентов и литераторов, в пользу воскресных и вечерних школ для народа. А иногда под видом сбора средств для Литературного фонда деньги собирались для сосланных революционеров.

На литературных чтениях выступали самые любимые публикой писатели, и достать билет считалось большим счастьем: зал всегда был переполнен; каждый концерт становился событием, о котором долго говорили.

Читались не только художественные произведения: например, на первом литературном вечере 10 января 1860 года Тургенев произнес речь о Гамлете и Дон-Кихоте. Позднее выступал на этих чтениях Чернышевский. Лавров читал в Пассаже в пользу Литературного фонда публичные лекции по философии.

Эти вечера горячо воспринимались публикой, но в то же время за ними зорко следила полиция. Агенты охраны доносили, например, что «на публичных чтениях о философии Лавров позволял себе разные резкие выходки, направляемые против верховной власти и существующего порядка, что побуждало публику громко рукоплескать ему».

Передовая молодежь восторженно встречала и гражданскую лирику Некрасова и Бенедиктова, и сатирические стихи Василия Курочкина, и записки о каторге петрашевца Достоевского, и особенно — задушевное, проникнутое глубокой болью за народ слово Шевченко.

Все современники свидетельствуют, что самые шумные овации доставались на долю Шевченко. Впервые он выступил публично в ноябре 1860 года. Публика, рассказывает Елена Штакеншнейдер, его «так приняла, точно он гений, сошедший в залу Пассажа прямо с небес. Едва успел он войти, как начали хлопать, топтать, кричать». Это было «демонстрацией — чествовали мученика, пострадавшего за правду».

Подобной овации Шевченко не ожидал; он несколько минут молча стоял на эстраде, опустив голову. Внезапно повернулся и быстро ушел за кулисы.

В зале сразу наступила тишина. Из-за кулис выбежал кто-то и схватил стоявший на кафедре графин с водой и стакан: поэту от волнения стало дурно...

Когда он несколько оправился и снова вышел к публике, читать ему было трудно. Однако понемногу он увлекся и с воодушевлением прочитал отрывок из поэмы «Гайдамаки», «Вечер» («Вишневый садик возле хаты...»), «Думы мои, думы...».

Публика слушала затаив дыхание, внимательно и сочувственно.

Об этом чтении вспоминают многие мемуаристы. Студент Дмитрий Кипиани писал домой, в Грузию:

«Третьего дня был я на публичном чтении литераторов в Пассаже. Читали: Бенедиктов — прекрасно; Полонский — хорошо; Майков — прекрасно; Достоевский, Писемский — так себе; а Шевченко, украинский поэт и художник, — великолепно. Зал был битком набит...»

Слухи об успехе публичных выступлений Шевченко тогда же дошли и до Николая Обручева, находившегося в Париже. Отсюда он писал Добролюбову в Италию: «Было литературное чтение в Пассаже с участием Достоевского, Бенедиктова, Майкова и Шевченко. Стихотворцев Бенедиктова и Майкова принимали с большими аплодисментами, по два раза заставляли читать стихи. Шевченко же приняли с таким восторгом, какой бывает только в Итальянской опере, Шевченко не выдержал, прослезился и, чтобы оправиться, должен был уйти на несколько минут за кулисы. Потом читал малороссийские стихи...»

...А между тем совсем мало уже оставалось у Шевченко впереди дней жизни. Он, несокрушимо крепкий духом, слабел телом.

XXIII. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

Шевченко болел давно. Сердечная болезнь, осложненная заболеванием печени, мучила его еще в ссылке. Но он не любил лечиться, не обращался к врачам, не слушался советов даже своих друзей-медиков: Николая Курочкина, Павла Круневича.

Марко Вовчок, нежной и преданной любовью платившая Тарасу Григорьевичу за его доброе к себе отношение, писала в это время ему из-за границы:

«Мой самый дорогой Тарас Григорьевич!

Слышу, что Вы все хвораете да недомогаете, а сама себе уже представляю, как там Вы не бережете себя...

Вот люди добрые Вам говорят:

— Тарас Григорьевич! Может, Вы шапку наденете: ветер!

А Вы сейчас же и кафтан с себя долой.

— Тарас Григорьевич, надобно окно затворить: холодно...

А Вы поскорее к дверям: пускай и те стоят настежь. А сами только одно слово и произносите:

— Отвяжитесь! — да поглядываете себе в левый уголок.

Я все это хорошо знаю, да не побоюсь сказать Вам и крепко Вас просить: берегите себя! Разве такими, как Вы, у меня целое поле засеяно?..»

Тяжело отразились на здоровье Шевченко волнения, пережитые им летом и осенью 1860 года, — его неудачная попытка создать себе семью.

Поэт испытывал гнетущее чувство оттого, что никак не устраивалось его личное, семейное счастье.

Царские сатрапы не позволяли ему обзавестись домашним углом на Украине, о чем он мечтал. А обстоятельства личной жизни складывались так, что он никак не мог найти себе «дружины», женщины-друга, которая соединила бы с ним свою судьбу и, как он говаривал, «молодыми плечами» поддержала бы его «старые плечи».

Окружавшие Шевченко в Петербурге (по его словам) «разнаряженные, да не разумные» барышни совсем не привлекали поэта: жениться он хотел только на простой крестьянской девушке.

— Я по плоти и духу сын и родной брат нашего обездоленного народа, так как же себя связать с собачьей господской кровью? Да и что какая-

нибудь разнаряженная барышня станет делать в моей мужицкой хате? С тоски пропадет и мой недолгий век сократит, — так отвечал Шевченко людям, уговаривавшим его взять себе в жены непременно «образованную» девицу из высших классов.

Отъезд с Украины осенью 1859 года произошел так неожиданно для поэта, что он не успел присмотреть себе там невесту. А уже вернувшись в Петербург, он вспомнил, что видел у Варфоломея Григорьевича в Корсуне бедную батрачку, семнадцатилетнюю красавицу Харитину Довгополенко.

Шевченко представил себе живую, стройную девушку, выглядывавшие из-под тонких черных бровей большие черные глаза и написал из Петербурга Варфоломею, что если Харита еще никем не засватана, то не уговорит ли он ее пойти за Тараса.

«Харитина мне очень, очень нравится, — писал Шевченко в Корсунь, — а если Харита скажет, что она беднячка, сирота, батрачка, а я богатый и гордый, так скажи ей, что у меня тоже многого недостает, а порой нет и чистой рубашки, и что гордость да важность я еще от матери своей приобрел, от мужички, от несчастной крепостной. Да так или этак, но я должен жениться, а то проклятая тоска сживет меня со света Сестра Ирина обещала найти мне девушку в Кирилловке; да какую еще она найдет? А Харита сама нашлась Научи же ее и растолкуй, что несчастлива она со мной не будет.»

В это же время написал Шевченко свое «Подражание» (перепев одной песни польского поэта Яна Чечота), в котором рисовал будущее, каким оно грезилось ему

Посажу я возле дома
Для подруги милой
И яблоньку, и грушеньку,
Чтобы не забыла!
Бог даст, вырастут. Подруга
Под густые ветки
Отдохнуть в прохладе сядет,
С нею вместе — детки.

Мечте этой не суждено было осуществиться; сватовство поэта к Харитине не понравилось прежде всего Варфоломею Григорьевичу, да и сама девушка, не успевшая как следует познакомиться с Шевченко во время его коротких наездов в Корсунь, не соглашалась выходить за него

Некоторое время Варфоломей не хотел сообщать свояку об отказе Харитины, но весной 1860 года написал, наконец, поэту, что девушка говорит: «Я еще не собираюсь замуж, погуляю... Не хочу, бог с ними»

Шевченко очень огорчился этим ответом, так что «чуть не пошел в монахи»; «мне бы лучшей жены и на краю света искать не нужно», — писал он Варфоломею.

В семье Карташевых поэт в 1859 году познакомился с двадцатилетней крепостной горничной — Лукерьей Полусмак.

У Варвары Яковлевны Карташевой и ее мужа Владимира Григорьевича в собственном доме на углу Ямской и Малой Московской часто бывали литературные вечера, на которые приезжали Некрасов, Тургенев, Тютчев, Писемский, братья Жемчужниковы, Анненков, Кулиш, родной брат Карташевой — Николай Макаров и двоюродный — Андрей Маркевич, Марко Вовчок, Белозерские; одним из самых почетных гостей был Шевченко.

На вечерах гостям обычно прислуживала красивая черноглазая девушка в украинском национальном костюме. Шевченко ею искренне любовался, а Тургенев тут же спрашивал Лукерью:

— Скажите, вам нравится Тарас Григорьевич?

Иногда Лукерью хозяева посылали разносить наиболее уважаемым знакомым приглашения. Когда она приносила к Шевченко в Академию художеств записочку, он ее спрашивал:

— Ты сюда пешком шла?

— Пешком... — отвечала Лукерья.

На лето Макаров, Карташевы, Кулиш уехали за границу и Лукерью отдали в услужение жене Кулиша, Александре Михайловне (известная украинская писательница Ганна Барвинок). Она жила вместе с сестрой, Надеждой Михайловной Белозерской, на даче в Стрельне.

Здесь к Лукерье относились совсем не так, как у Карташевых: ее заставляли делать много черной работы, ходила она плохо одетая, в порванных башмаках.

Как-то вечером девушка сидела на крыльце дачи и тихонько напевала:

Де ти, милий, чорнобривий, де ти, озовися!
Як я бідна тут горюю, прийди подивися!..

Вдруг неслышно подошел Шевченко:

— А где же твой милый?

Лукерья растерялась, не знала, что сказать.

Шевченко стал ежедневно приезжать в Стрельну.

Как-то приехал он прямо с утра и долго ходил по саду с Александрой Михайловной. В это время Лукерья чистила дорожку.

— Лукерья, принеси Тарасу Григорьевичу воды, — приказала хозяйка, а сама ушла в дом.

Лукерья принесла воды. Шевченко выпил и говорит:

— Садись возле меня!

— Не сяду! — покраснев, отвечала девушка, но, заметив, что Тарас Григорьевич недоволен нахмурился, села на скамейку.

Шевченко поглядел Лукерье в лицо и просто спросил:

— Пойдешь за меня замуж?

По всему его серьезному, задушевному тону девушка поняла, что отвечать нужно так же просто и искренне, как Тарас Григорьевич спрашивал. И Лукерья тихо ответила:

— Пойду...

В душе Шевченко снова вспыхнула надежда на то, что он нашел, наконец, свою «долю», перед ним снова встают картины благополучной семьи, счастливого «подружья»:

..Поженились,
И тихо, весело дошли
С душою непорочной оба,
С сердцами чистыми до гроба...

Это стихотворение было написано 25 июня 1860 года, за месяц до того, как Шевченко официально предложил Лукерье стать его женой.

С каким восторгом обращается Шевченко к девушке, называя ее: «Моя голубка! Друг мой милый!» — и стремясь зажечь ее своими чувствами и убеждениями:

Моя голубка! Не крестись,
И не клянись, и не молись
Ты никому! Солгут все люди,
И византийский саваоф обманет!..
Мы не рабы его — мы люди!

Подлинно отеческой заботой окружает Шевченко свою невесту; он носит ей книги, сам заказывает ей одежду, искренне тревожится, узнав о легком нездоровье Лукерьи.

«Передайте эти вещи Лукерье, — просит Шевченко в записке на имя Белозерской. — Я вчера только услышал, что она захворала. Глупая, где-то хлюпала по лужам да и простудилась. Пришлите с Федором мерку ее ноги. Закажу теплые башмаки, а может быть найду готовые, так в воскресенье привезу... Передайте с Федором — лучше ли ей или нет?»

Варфоломею Григорьевичу Шевченко в августе сообщал: «Будущая супруга моя зовется Лукерьей, крепостная, сирота, такая же батрачка, как и Харита, только умнее в одном — грамотная... Она землячка наша из-под Нежина. Здешние земляки и землячки наши (а особенно барышни), как услышали, что мне бог такое богатство послал, так еще немножко поглупели. Криком кричат: «Не пара и не пара!» Пускай им сдается, что не пара, а я хорошо знаю, что пара...»

Украинские господа помещики, «земляки и землячки», о которых с горечью упоминает Шевченко, — это прежде всего Кулиш, Белозерские, Карташевские, приложившие немало стараний, чтобы отравить последние годы жизни поэта.

Лукерья Ивановна Полусмак спустя много времени вспоминала:

— Тарас Григорьевич мне нравился. Тогда я была совсем глупой, не знала, какой он великий человек. А жена Кулиша говорит: «Ты его не знаешь. Он на каторге был и пьяница». А я его никогда не видела пьяным... Врут, что он пил много водки. Мне прямо вот как обидно, что врут, и ничего мне так не обидно!.. Он мне подарки делал: книжки, деревянный крестик красивой работы, кольцо... Только я ему кольцо назад отослала — боялась Карташевских... Когда меня спрашивали: «Любите ли вы Шевченко?» — я отвечала, что не знаю.

Когда сестры Александра Михайловна и Надежда Михайловна принимались уговаривать Шевченко не жениться на Лукерье, он сердито отвечал:

— Хотя бы и отец мой родной поднялся из гроба и сказал бы мне то же, так я бы и его не послушался!

Однако осенью вернувшись из-за границы Карташевским, Макарову, Кулишу удалось расстроить наладившуюся уже было свадьбу. Шевченко с Лукерьей «разошлись, не сойдясь», как писал он сам.

Разрыв с Лукерьей означал для Шевченко, что рушится его заветная мечта создать на склоне лет свой дом, семью.

Тяжелым чувством одиночества овеяны его стихи этого времени:

И молодость моя минула,
И от надежд моих дохнуло
Холодным ветром. Зимний свет!
Сидишь один в дому суровом,
И не с кем даже молвить слова
Иль посоветоваться. Нет,
Ну, никого совсем уж нет!
Сиди один, пока надежда
Тебя — глупца — не засмеет,
Морозом взор не закует
И гордость дум, что были прежде,
Не разнесет, как снег в степи.
А ты сиди в углу, терпи,
Не жди весны — счастливой доли, —
Она уж не вернется боле,
Чтоб садик твой озеленить,
Твою надежду обновить,
И мысль свободную на волю
Не сможет выпустить. Сиди,
Сиди и ничего не жди!

(18 октября 1860 года)

Зимой 1860/61 года велась усиленная подготовка к выпуску нового журнала — «Основа», в котором предполагалось печатать художественные произведения на украинском языке. Издателем «Основы» был бывший член Кирилло-Мефодиевского общества Василий Белозерский, брат Надежды и Александры, опекавших Лукерью Полусмак в дни шевченковского сватовства.

Шевченко поначалу очень горячо принял к сердцу создание «своего» украинского журнала в Петербурге. Но постепенно дело прибрали к рукам либералы-националисты из так называемой «Петербургской украинской громады», к которой Шевченко относился очень холодно и критически.

Первый номер «Основы» вышел в январе 1861 года; он открывался несколькими стихотворениями Шевченко: «Не для людей и не для славы...», «Послание Шафарику» (вступление к поэме «Еретик»), «Три широкие дороги...», «Зачаруй меня, волшебник...». Затем была помещена его поэма «Чернец», рассказ Марка Вовчка «Три доли»; остальной

материал составляли статьи буржуазных либералов — Кулиша, Костомарова.

Чернышевский, откликнувшись на выход «Основы» рецензией в № 1 «Современника», сразу размежевал реалистические произведения революционных демократов Шевченко и Вовчка от националистической болтовни Кулиша и Костомарова. Передовые украинские писатели находят у Чернышевского поддержку; он заявляет: «Никто из нас не может отзываться о малорусской литературе без уважения и сочувствия, если не хочет заслужить названия невежды». Чернышевский заканчивал свой отзыв о новом журнале «желанием полного успеха «Основе» и стремлению, из которого она возникла и в котором найдет себе поддержку».

Шевченко бывал иногда на собраниях в редакции. Он в спорах отстаивал демократические и реалистические принципы работы журнала. Поэт не шел на соглашение с либералами-земляками, а прочно сошелся с «вредными» деятелями «Современника».

И недаром жаловался спустя почти четыре десятка лет Кулиш: «Хоть и заглядывал Шевченко в наш курень, да не пересиливали мы вредного соблазна...»

Либералы-националисты после смерти поэта старались создать легенду, будто самыми близкими друзьями Шевченко в последний, петербургский период его жизни были члены «громады».

Они же, эти мнимые «друзья» поэта, печатали посмертно его произведения с посвящениями «П. Кулишу», «Ф. Черненко» и т. п., хотя Шевченко от некоторых из этих посвящений давно отказался, а некоторых и совсем не делал.

Но иногда все-таки прорывалось истинное отношение панов-националистов к великому певцу крестьянской революции. И тогда, например, Кулиш восклицал с раздражением (в своем послании «Брату Тарасу на тот свет»):

Братався з чужими,
Радився з чужими,
Гордував словами
Щирими моїми
І на той світ вибравсь
Із сіт'ї чужої.

Это признание Кулиша, что последние свои дни Шевченко провел в

окружении близких ему по духу людей, следует принять во внимание, потому что единственные воспоминания о последних днях жизни поэта — Александра Лазаревского — рисуют нам только внешний ход событий.

Когда Шевченко встречался где-нибудь с Костомаровым, у них тоже не прекращались ожесточенные споры. Костомаров стремился охладить революционный пыл поэта своей профессорской «ученостью», всячески стараясь уязвить Шевченко его мнимой неосведомленностью в исторических и социологических вопросах.

— Нет, Тарас, ты постой, — говорил обыкновенно Костомаров. — Скажи, откуда ты это берешь? Из каких источников? Ты, Тарас, чепуху несешь, а я тебе говорю только то, что доказано в тех же источниках, из которых ты только и мог черпать.

Шевченко вскакивал с места, бегал взволнованно по комнате и восклицал:

— Да боже ты мой милый! Что мне твои источники!.. Брешь ты, и всё тут!..

Шевченко был непримиримым врагом и великодержавных шовинистов, глашатаев «официальной народности» и реакционного славянофильства.

С полным пониманием роли «Русской беседы» поэт говорит об этом органе славянофилов в своей блестящей эпиграмме, написанной в июне 1860 года (на русском языке) в связи со смертью одного из столпов реакции — петербургского митрополита Григория:

Умре муж велий в власянице.
Не плачьте, сироты, вдовицы,
А ты, Аскоченский, восплачь
Воутрие на тяжкий глас!
И Хомяков, Руси ревнитель,
Москвы, отечества любитель,
О юбкоборцеви, восплачь!
И вся, о «Русская беседа»,
Во глас единый исповедуй
Свои грехи
И плачь! И плачь!

Поэт ставит Хомякова и его «Русскую беседу» на одну доску с «Домашней беседой» Аскоченского, чье имя навсегда вошло в историю как

имя оголтелого ретрограда и лютого врага всякой живой человеческой мысли.

А эпитет «юбкоборец» в приложении к митрополиту, прославившемуся своим выступлением против крестообразных нашивок на женских юбках, был взят поэтом прямо из «Колокола», из заметки Герцена «О, усердному, о, пастырю благоревностному!» (сентябрь 1858 года). Обращаясь к митрополиту Григорию, Герцен писал: «Газетоборче, юбкоборче, модоненавистнику.»

Резкое ухудшение в здоровье Шевченко произошло с ноября 1860 года. Доктор Павел Адамович Круневич, знавший Шевченко еще со времен его закаспийской ссылки, определил у больного тяжелую сердечную недостаточность, выражавшуюся в острых приступах грудной жабы.

Круневич решил посоветоваться с профессором Бари, опытным врачом-терапевтом. Шевченко в это время особенно жаловался на боли в груди.

Бари прописал лекарства, назначил режим, диету. «Здоровье поэта-художника, видимо, разрушалось, — рассказывает Лев Жемчужников. — На горизонт его надвигалась мрачная туча, и уже понесло холодом смертельной болезни на его облитую слезами жизнь. Он все еще порывался видаться с друзьями, все мечтал поселиться на родине... и чувствовал себя все хуже».

В конце января 1861 года Шевченко писал Варфоломею: «Так мне плохо, что я едва перо в руках держу, и бог его знает, когда станет полегче. Вот как!» Потом в письме шли поручения, деловые вопросы: «Получил ли «Букварь» и «Основу»? Кончай скорее в Каневе (с покупкой или арендой участка. — Л. Х.), да напиши мне, когда кончишь, чтобы я знал, что делать с собой весною...»

А заключал он письмо так: «Прощай! Устал я, точно копну жита в один прием обмолотил...»

Огромным напряжением воли держался все эти дни Шевченко, несмотря на страшные боли. Лев Жемчужников, наблюдавший поэта в его предсмертную болезнь, пишет:

«Добрый до наивности, теплый и любящий, он был тверд, силен духом, — как идеал его народа. Самые предсмертные муки не вырвали у него ни единого стога из груди. И тогда, когда он подавлял в самом себе мучительные боли, сжимая зубы и вырывая зубами усы, в нем достало власти над собой, чтоб с улыбкой выговорить «спасибі», — тем, которые об нем вспомнили...»

Способствовали, конечно, быстрому ухудшению здоровья и тяжелые

бытовые условия Шевченко.

20 февраля 1861 года друг Шевченко поэт Владимир Михайлович Жемчужников писал П. М. Ковалевскому, племяннику председателя Литературного фонда Егора Петровича Ковалевского:

«Павел Михайлович!

Подвиньте скорее Совет Литературного фонда на помощь бедному Шевченко. У него водяная в груди в сильной степени, и хотя лечит его хороший доктор по приязни (Круневич), но медицинская помощь парализуется неудобствами жизни Шевченко и отсутствием всякого за ним ухода: живет он в Академии, в комнате, разделенной антресолями на два яруса, спит в верхнем, где окно приходится вровень с полом, а работает в нижнем, где холодно. В обоих ярусах сыро, дует из окна, особенно в верхнем, потому что окно начинается от пола. Это способствует отеку ног и примешивает к существующей болезни простуду.

Ходит за ним академический сторож, навещающий его известное число раз в день.

Я видел его доктора, Круневича, и знаю от него, что при таких неудобствах жизни ненадежно не только выздоровление Шевченко, но даже и сохранение сил его до весны...

Если нельзя найти ему квартиры от жильцов, которые взяли бы на себя уход за ним, то можно поместить его, например, в Максимилиановскую больницу, где есть отдельные, удобные помещения для больных за цену не слишком высокую. Надо только выхлопотать в этой больнице место, а Шевченко перейти туда согласен. Похлопочите, чтоб это было улажено поскорее!

Несчастный Шевченко, — начиналась было для него спокойная жизнь, оценка, — и ему так мало пришлось пользоваться ею!»

В субботу, 25 февраля, был день рождения и именины Шевченко.

Приходившие его поздравить заставляли поэта в сильнейших мучениях; с ночи у него началась боль в груди, ни на минуту не прекращавшаяся и не позволявшая ему лечь. Он сидел на кровати и напряженно дышал.

Приехал доктор Бари. Выслушав больного, он определил начинающийся отек легких. Говорить Шевченко почти не мог: каждое слово стоило ему громадных усилий.

Страдания несколько облегчились поставленной врачом на грудь больному мушкой.

Шевченко все-таки слушал полученные поздравительные телеграммы, благодарил. Потом попросил открыть форточку, выпил стакан воды с лимоном и лег.

Казалось, он задремал. Присутствующие сошли вниз, в мастерскую, оставив больного на антресолях одного. Бари уехал.

Было около трех часов пополудни. Шевченко снова стал принимать посетителей. Он сидел на кровати и поминутно осведомлялся: когда будет врач? Врач обещал снова приехать к трем часам.

Между тем Шевченко чувствовал себя все хуже и хуже, выражал желание принять опий. Он метался и все спрашивал:

— Скоро ли приедет доктор?

Потом он заговорил о том, как ему хочется побывать на Украине и как не хочется умирать...

Опять приехал Бари и успокоил больного, заявив, что у него удовлетворительное состояние, и посоветовал продолжать применять прописанные средства.

Друзья продолжали приходить к Шевченко. Пришел часов в шесть доктор Круневич. Он нашел своего друга в очень тяжелом состоянии: поэт с видимым усилием отвечал на вопросы и, очевидно, вполне сознавал безнадежность своего положения.

Взволнованный опасным состоянием больного и ясно приближавшейся катастрофой, Круневич снова отправился за Бари.

Они приехали вместе часам к девяти вечера. Оба еще раз выслушали больного; отек легких все усиливался, сердце начинало сдавать. Поставили опять мушку...

Чтобы отвлечь умирающего, снова стали читать ему поздравительные телеграммы; он как будто чуть-чуть оживился и тихо проговорил:

— Спасибо, что не забывают...

Врачи спустились в нижнюю комнату, и Шевченко попросил оставшихся у постели тоже удалиться:

— Может быть, я усну... Огонь унесите...

Но через несколько минут он опять позвал:

— Кто там?

Когда к нему поднялись, он попросил вернуть поскорее Бари.

— У меня опять начинается приступ, — сказал врачу больной. — Как бы остановить его?

Бари поставил ему горчичники. Затем больного уложили в постель и оставили одного.

Когда в половине одиннадцатого ночи к Шевченко снова вошли, его застали сидящим в темноте на кровати. Друзья хотели с ним остаться, но он сказал:

— Мне хочется говорить, а говорить трудно...

Всю ночь он провел в ужасных страданиях; сидел на кровати, упершись в нее руками: боль в груди не позволяла ему лечь. Он то зажигал, то тушил свечу, но слугу, оставленного на всякий случай в нижней комнате, не звал.

В пять часов утра он попросил приготовить ему чай. Было темно: поздний февральский рассвет еще не занимался. Шевченко при свече выпил стакан теплого чаю со сливками.

На антресолях ему было душно. Он снова окликнул слугу. Когда тот поднялся наверх, Шевченко попросил:

— Убери-ка теперь здесь, а я сойду вниз.

Слуга остался на антресолях, а Тарас Григорьевич с трудом спустился по крутой винтовой лестнице в холодную, тускло освещенную свечой мастерскую.

Здесь он охнул, упал...

Когда подбежал слуга, Шевченко был бездыханен. Смерть от паралича сердца наступила мгновенно.

Это было в пять часов тридцать минут утра, в воскресенье, 26 февраля (10 марта по новому стилю) 1861 года.

XXIV. БЕССМЕРТИЕ

Смерть Тараса Шевченко была воспринята современниками как великая всенародная утрата.

Некрасов написал проникновенное стихотворение «На смерть Шевченко», в котором выразил обуревавшие всю передовую общественность чувства:

..Так погибает по божией милости
Русской земли человек замечательный
С давнего времени. Молодость трудная,
Полная страсти, надежд, увлечения,
Смелые речи, борьба безрассудная,
Вслед за тем долгие дни заточения..
Все он изведal тюрьму петербургскую,
Справки, допросы, жандармов любезности,
Все — и раздольную степь Оренбургскую,
И ее крепость. В нужде, в неизвестности
Там, оскорбляемый каждым невеждою,
Жил он солдатом — с солдатами жалкими,
Мог умереть он, конечно, под палками,
Может, и жил-то он этой надеждою...
Но, сократить не желая страдания,
Поберегло его в годы изгнания
Русских людей провиденье игривое, —
Кончилось время его несчастливое,
Все, чего с юности ранней не видывал,
Милое сердцу, ему улыбалось.
Тут ему бог позавидовал.
Жизнь оборвалась.

Горькая весть о смерти великого украинского поэта быстро разнеслась по телеграфу во все концы страны. Уже в полдень 26 февраля, несмотря на то, что день был неприсутственный, в Киеве весь город узнал об этом печальном событии; в Киевском университете учащаяся молодежь

устроила гражданскую панихиду.

В это время в Петербурге гроб с телом Шевченко был установлен в Академии художеств. Художники делали последние рисунки с навсегда уснувшего собрата. Скульптор Каменский снял с покойного поэта гипсовую маску.

28 февраля в Академии художеств состоялась панихида. Над гробом Шевченко сказали прощальное слово Кулиш, Белозерский, Костомаров; студент Владислав Хорошевский выступил с надгробной речью на польском языке.

Гроб весь был убран лавровыми венками. Народ все подходил и подходил...

Без крышки гроб несли на руках до Смоленского кладбища. Позади ехали похоронные дроги, нагруженные венками. Толпа непрерывно росла, и по мере приближения к кладбищу процессия превратилась в мощную антиправительственную демонстрацию, сильно обеспокоившую полицию.

Над раскрытой могилой снова начались речи. Говорили Николай Курочкин, студент Хартахай.

«Чистая, честная, светлая личность, — сказал о Шевченко Курочкин в своем коротком и выразительном надгробном слове. — Человек, принадлежавший к высокой семье избранников, высказавших за народ самые светлые его верования, угадавший самые заветные его желания и передавший все это неумирающим словом... Не о многих можно сказать, как об нем: он сделал в жизни свое дело!»

В последний путь провожали Шевченко почти все петербургские писатели, художники, журналисты. На похоронах присутствовали Некрасов, Достоевский, Чернышевский, Шелгунов, Николай и Александр Серно-Соловьевичи, Салтыков-Щедрин, Лесков, Михайлов, Пыпин, Панаев, Николай и Василий Курочкины, Лев и Владимир Жемчужниковы, Круневич, Помяловский и многие, многие другие.

Герцен в «Колоколе» (1 апреля 1861 года) поместил написанный им самим некролог.

Передовая общественность добивалась, чтоб тело поэта было перевезено на Украину и похоронено на горах за Днепром.

Намерение перевезти тело Шевченко на Украину горячо поддержал «Современник» Чернышевского. Революционные демократы справедливо видели в этом могучее средство популяризации имени, произведений и идей Тараса Шевченко.

Хлопоты о разрешении, хотя и с большим трудом, увенчались все же успехом, и в конце апреля гроб с телом поэта тронулся в путь на Украину.

В Москве состоялась гражданская панихида при громадном стечении народа.

Народ толпами встречал гроб в Орле, Глухове, Борзне, Нежине. В селах крестьяне, которым близко было имя их родного Кобзаря, с плачем провожали его «домовину» далеко за околицу. По инициативе русского города Орла на памятник украинскому поэту была открыта подписка.

Утром 6 мая похоронная процессия подошла к Днепру. В Броварах большая группа киевских студентов уже ожидала прибытия тела. Был безоблачный, яркий южный майский день. К четырем часам дня подошли к недавно сооруженному на месте парома шоссейному Цепному мосту через Днепр.

Перед мостом студенты, народ выпрягли лошадей и на себе повезли гроб в Киев через мост, по Набережному шоссе, на Подол.

Тут киевские власти, узнавшие о непрерывно разраставшемся многолюдном шествии, взволновались. Еще накануне было приказано «для избежания всяких демонстраций... препроводить гроб покойника в большой лодке прямо с черниговского берега» к месту погребения, не заезжая в Киев.

Теперь, когда похоронная процессия уже перешла через Цепной мост и направлялась к Почтовой площади на Подоле, «благочинный» отец Петр Лебединцев (давний знакомый Шевченко и сосед его по Звенигородскому уезду) принялся активно действовать, чтобы помешать въезду гроба в Киев.

Он бросился в Лавру, к «гасителю просвещения» митрополиту Арсению за указаниями: что делать и как воспрепятствовать демонстрации? Перепуганный митрополит распорядился:

— Поезжайте к генерал-губернатору и доложите...

Князь Васильчиков понял, что запрещение внести тело Шевченко в Киев могло вызвать бурю. Ведь это был май 1861 года, когда крестьянские волнения, после объявления манифеста 19 февраля, быстро распространялись по всей стране.

— Что ж, раз уж так случилось, — решил генерал-губернатор, — но дальше Подола, в центр города, к университету, гроб не пускайте ни в каком случае... Нельзя допустить, чтобы устроили митинг...

Гроб с телом Шевченко был внесен в Христорожественскую церковь на Подоле.

«К вечеру, — рассказывает сам Петр Лебединцев в своих воспоминаниях, — к этой церкви приставлена была уже полиция, а утром присланы и конные жандармы...»

Всю ночь толпа народа заполняла Почтовую площадь и прилегающие

здесь к Александровской улице переулки. Некоторые из проезжих, не знавшие о похоронах Шевченко, спрашивали полицейских:

— Кто покойник?

Городовые, усатые и с шашками, знали, кто такой Шевченко. Но они не знали, можно ли об этом говорить вслух. И отвечали так:

— Мужик, но чин на ем генеральский!

Наутро, как только гроб с телом вынесли из церкви (это было воскресенье, 7 мая), тотчас же стихийно начался митинг.

«По Александровской улице, по шоссе, на горах Андреевской и Михайловской и на горе у Царского сада, — вспоминает Лебединцев, — стояло народа не меньше, чем бывает 15 июля, во время владимирского крестного хода... Лишь вынесли гроб из церкви на Набережное шоссе, явилось столько всяких ораторов из молодежи, что пришлось останавливаться с гробом чуть не через каждые пять шагов...»

Кто-то посреди венков, лежавших на красном покрывале гроба, положил огромный терновый венок.

Жандармы поспешили его, конечно, убрать.

7 мая, после ясного солнечного дня накануне, погода была пасмурная; по временам начинал моросить теплый весенний дождь. Но толпа не уменьшалась, и речи не умолкали.

Студенты провозглашали вечную память Тарасу Шевченко, называя его народным поэтом, борцом за освобождение, пророком воли народа...

В четыре часа дня 8 мая пароход «Кременчуг» с телом Тараса Григорьевича Шевченко прибыл в Канев.

Могилу Шевченко на Чернечьей горе, под Каневом, копали киевские студенты и местные крестьяне. Похороны состоялись 10 мая в семь часов вечера, и над могилой снова произносились речи, о которых начальник уездной полиции докладывал киевскому губернатору...

А уже в июле 1861 года знакомый нам владелец села Пекарей помещик Парчевский в ужасе писал, что «город Канев является центром заговора против помещиков», и начальник каневской уездной полиции просил губернатора «для предупреждения могущих произойти беспорядков в народе... распорядиться, независимо от батальона Алексапольского полка, квартирующего в 3-м стане Каневского уезда, командировать в г. Канев и его окрестности для квартирного расположения еще хотя две роты пехоты...»

Среди крестьян ходили слухи, что Шевченко жив, а в его могиле спрятаны гайдамацкие ножи, чтобы резать помещиков. Грамотные читали остальным «Гайдамаков». А члены революционного подполья размножали

его запрещенные стихи и поэмы.

«Сочинения Шевченко, — писал в 1861 году предводитель дворянства Каневского уезда, — дышащие неумолимою ненавистью к дворянству, низведенные между простой народ как народные песни, как предания старины, изображающие славу предков, — крайне опасны, ибо народ, видя в них исключительно только изображение мести — резни, кровопролития, побуждается к тому, чтобы повторить эти дела, столь прославляемые...»

Произведения Шевченко переводились и распространялись и за рубежами России — в Западной Украине и в славянских областях Австро-Венгрии, в Сербии, Болгарии, Италии, Франции.

Его вспоминал в своих революционных стихах Михайлов, на него ссылался Чернышевский, его перепечатывали, распространяли, популяризировали революционные народники.

В своей пропаганде большевики использовали боевое слово Шевченко.

Когда в 1914 году царское правительство запретило праздновать столетие со дня рождения Шевченко, Ленин указывал, что это запрещение явилось прямой агитацией против самодержавия, убеждая широкие массы населения в том, что Россия действительно является «тюрьмой народов». Ленин говорил о революционных прокламациях, в которых использовался царский указ о запрещении чествовать память Шевченко.

Одну из таких прокламаций выпустил в феврале 1914 года Киевский комитет РСДРП. В этой прокламации читаем:

«Тарас Григорьевич Шевченко был не только украинский народный поэт. В своих произведениях он отразил весь гнет крепостнического строя, весь ужас народного бесправия... В день памяти поэта-трибуна вспомните о светлом грядущем строе, о социализме. Помните, что в борьбу за социализм против угнетателей всех наций идет рабочий класс — пролетариат...»

Творчество Тараса Шевченко не только определило собой развитие всей украинской литературы XIX–XX столетий; оно оказало значительное воздействие на русских, белорусских, польских поэтов.

Влияние Шевченко исследователи отмечают в поэзии Ивана Франко и Леси Украинки, Юрия Федьковича и Павла Грабовского, в творчестве Некрасова, Михайлова, Ивана Сурикова, Плещеева, Трефолева, а за рубежом — Сырокомли, Конопницкой, Каравелова, Халавейкова, Ботева...

Свободолюбивое творчество бессмертного Кобзаря пережило столетие. Оно было и остается всегда близко и дорого борцам за народное счастье, к какой бы национальности они ни принадлежали.

Поколения людей учились у Шевченко любить и ненавидеть, учились

отдавать свою жизнь за трудящихся. Поколения писателей учились у Шевченко любить свою отчизну, свой народ и воплощать жизнь и борьбу народов в яркое, огненное слово.

Ныне в освобожденной навеки от социального и национального гнета Советской стране голос Шевченко звучит и для украинцев, и для русских, и для казахов, и для латышей... Произведения основоположника украинской литературы переведены на десятки языков народов СССР, на многие языки за рубежами нашей Родины.

О Тарасе Шевченко его верный ученик и наследник Иван Франко писал:

«Он был сыном мужика, и стал властелином в царстве духа.

Он был крепостным, и стал великаном в царстве человеческой культуры.

Он был самоучкой, и указал новые, светлые и вольные пути профессорам и книжным ученым.

Десять лет он томился под тяжестью российской солдатской лямки, а для свободы России совершил больше, чем десять сильнейших армий.

Судьба преследовала его в жизни, сколько могла, но она не в силах была превратить золото его души в ржавчину, его любовь к народу — в ненависть и презрение...

Судьба не жалела для него страданий, но она не пожалела и радостей, здоровым источником которых была сама жизнь.

Самый лучший и самый ценный дар судьба принесла ему лишь после смерти — вечную славу и бесконечно расцветающую радость, которую в миллионах сердец постоянно будят его творения...»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

1814, 25 февраля (9 марта по новому стилю) — В селе Моринцах Звенигородского уезда Киевской губернии, в семье крепостного крестьянина родился Тарас Григорьевич Шевченко.

1815 — Семья Шевченко переехала на жительство в соседнее село Кириловку (ныне Шевченково).

1822 — Начало обучения Тараса у кириловского дьячка.

1823 — Смерть матери Шевченко.

1825 — Смерть отца Шевченко.

1825–1829 — Шевченко работает батраком.

1829 — Тараса берут в число дворовых помещика П. В. Энгельгардта. Шевченко с хозяином бывает в Киеве, потом переезжает с ним в Вильно.

1830 — Шевченко в Вильно обучается рисованию у Яна Рустема. 17 ноября — начало польского восстания.

1831 — Шевченко вслед за своим помещиком отправляется в Петербург.

1833–1838 — Обучение и работа у В. Г. Ширяева. Начало поэтического творчества. Знакомство с И. М. Сошенко, А. Н. Мокрицким, Е. П. Гребенкой, А. Г. Венециановым, В. И. Григоровичем. Посещение классов Общества поощрения художников.

1836 — Знакомство Шевченко с В. А. Жуковским и К. П. Брюлловым.

1838, 22 апреля — Выкуп из крепостной зависимости. Шевченко поступает в Академию художеств.

1840 — Выходит «Кобзарь» Шевченко, появляются положительные отзывы печати.

1841—Выходят «Гайдамаки» Шевченко и альманах Гребенки «Ластівка», в котором помещены стихи Шевченко. Шевченко много работает (до 1845) как художник-иллюстратор ряда петербургских изданий.

1843 — Выходят стихи Шевченко в альманахе «Молодик». Первая поездка на Украину, где Шевченко посещает родных, знакомится с семьей Репниных. Написаны драма «Назар Стодоля», поэма «Тризна», начало цикла «Три года».

1844 — Выходят: второе издание «Кобзаря» («Чигиринский кобзарь»), поэмы «Гамалия» и «Тризна» («Бесталаный»). Возвращение в Петербург. Работа над серией гравюр «Живописная Украина». Написана сатирическая поэма «Сон».

1845 — Шевченко оканчивает Академию художеств и уезжает на Украину. Поступает на службу в киевскую Археографическую комиссию и по ее заданиям посещает многие села Украины. В Киеве знакомится с организатором тайного Кирилло-Мефодиевского общества Н. И. Костомаровым. Закончены поэмы «Еретик», «Слепой» («Невольник»), «Наймичка», «Кавказ», «И мертвым, и живым...» и другие, а также стихотворения «Завещание» и «Три года».

1846 — Шевченко сближается с некоторыми членами Кирилло-Мефодиевского общества, особенно с его революционной частью (Н. И. Гулак, А. А. Навроцкий, Н. И. Савич и другие), бывает на собраниях общества. Продолжает также поездки по Украине от Археографической комиссии, посещает Подолию и Волынь, много рисует.

1847 — Раскрытие властями Кирилло-Мефодиевского общества и арест его участников, в том числе Шевченко (5 апреля, под Киевом). Арестованные доставлены в Петербург, в Третье отделение. Шевченко за обнаруженный у него цикл стихов «Три года» сослан бессрочно в отдельный Оренбургский корпус рядовым с запрещением писать и рисовать. 9 июня прибыл в Оренбург, 23 июня — в Орскую крепость. Написаны поэма «Ведьма» («Осина»), цикл стихов «В каземате» и начаты «захалывные» книжечки, в которых поэт мельчайшим почерком записывал свои новые стихи до 1850 года включительно.

1848 — Шевченко отправляется с А. И. Бутаковым и петрашевцем А. И. Макшеевым в Аральскую экспедицию. 19 июня — прибытие в Раим. Первое плавание по Аральскому морю. Шевченко много рисует, официально выполняя обязанности художника экспедиции. Написаны поэмы «Цари», «Варнак», «Дочь ктитора», «Марина» и много лирических стихов.

1849 — Второе плавание по Аральскому морю. Шевченко продолжает рисовать. В ноябре возвращается в Оренбург, где остается в распоряжении экспедиции. Входит в революционный кружок сосланных в Оренбург поляков. Написана поэма «Сотник» и ряд стихотворений.

1850 — Хлопоты о разрешении Шевченко рисовать отклонены царем. 23 апреля — новый арест, Шевченко отправляют в Орскую крепость и затем в Новопетровское укрепление (прибыл 17 октября). Написаны поэма «Петрусь» и несколько стихотворений.

1851 — Шевченко с Брониславом Залеским и Людвигом Турно участвует в экспедиции А. И. Антипова в горах Кара-Тау. Много рисует.

1853 — В Новопетровское укрепление прибыл новый комендант — И. А. Усков, и Шевченко сближается с его семьей. Начало работы над прозаическими произведениями: над повестями на русском языке «Княгиня», «Наймичка», «Варнак». Встреча с экспедицией К. М. Бэра, прибывшей на Мангышлак.

1854 —хлопоты о разрешении Шевченко рисовать и о производстве в унтер-офицеры снова отклонены. Пишет повесть «Музыкант».

1855 — Ф. П. Толстой начинает хлопоты об амнистии Шевченко в связи со смертью Николая I. Шевченко пишет повести «Несчастный», «Капитанша», «Близнецы».

1856 — Шевченко читает в «Современнике» статьи Чернышевского. Работает над серией рисунков «Притча о блудном сыне». Пишет повести «Матрос» («Прогулка с удовольствием и не без морали») и «Художник». Александр II вычеркнул имя Шевченко из списка амнистированных в связи с коронацией.

1857 — Продолжение хлопот об освобождении Шевченко; наконец ему разрешено выйти в отставку и поселиться в Оренбурге; благодаря ошибке батальонного начальства Шевченко получает пропуск прямо в Петербург и 2 августа выезжает из Новопетровского укрепления в Астрахань, потом по Волге в Нижний Новгород (прибыл 20 сентября). Начал вести «Дневник» (до мая 1858 года). Окончены поэмы «Солдатов колодец», «Неофиты». В Нижнем Новгороде ожидает разрешения на въезд в столицу. Чтение статей Чернышевского, Герцена, Добролюбова, «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина и лондонских изданий. Приезд М. С. Щепкина в Нижний Новгород для свидания с Шевченко (24–29 декабря).

1858, 8 марта — Отъезд из Нижнего Новгорода в Москву и Петербург (прибыл 27 марта). Встречи и дружба с Сераковским, Чернышевским, Добролюбовым, братьями Курочкиными и другими революционными деятелями. Шевченко поселился в Академии художеств, работает особенно много над гравюрой. Сближение с кругом «Современника». Знакомство с Айра Олдриджем, с семьей Ф. П. Толстого. Начало хлопот о разрешении издать сборник своих стихов. Написаны стихотворения «Доля», «Муза», «Слава», «Сон» («На барщине пшеницу жала..») и другие.

1859 — Знакомство с Марко Вовчком, И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым и другими писателями. Поездка на Украину (май — сентябрь) и арест Шевченко в Прохоровке за революционную пропаганду. После

освобождения из-под ареста Шевченко в Киеве устанавливает связи с подпольными революционными кружками. В Петербурге Шевченко продолжает революционную деятельность в «партии Чернышевского». Выходят в Лейпциге сборники запрещенных стихов Шевченко (вместе со стихами Пушкина и отдельно). Написана поэма «Мария» и ряд стихотворений.

1860 — Выходит третье издание «Кобзаря», в журнале «Народное чтение» опубликована автобиография Шевченко. Шевченко передает «Кобзарь» в Лондон Герцену с теплым письмом.хлопоты о выкупе братьев и сестры Шевченко из крепостной зависимости. Публичные выступления Шевченко с чтением стихов. хлопоты о покупке хаты на Украине и запрещение властей переехать на жительство на Украину. Сотрудничество в «Колоколе» Герцена. Статьи о Шевченко Добролюбова, Михайлова, Герцена. Выходит «Кобзарь» Шевченко в переводе русских поэтов. Попытки жениться. Шевченко получает звание академика гравюры.

1861 — Резкое обострение сердечной болезни. Написано последнее стихотворение — «Так не пора ли понемногу...» (15 февраля). Выходит «Букварь южнорусский» Шевченко. В № 1 нового журнала «Основа», в создании которого Шевченко принимал участие, помещено несколько его стихотворений.

26 февраля (10 марта по новому стилю) — В пять часов тридцать минут утра Тарас Григорьевич Шевченко скончался в своей мастерской от паралича сердца.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИИ Т. Г ШЕВЧЕНКО

Повне зібрання творів. В десяти томах. Киев, Издательство Академии наук Украинской ССР, 1939–1958. (Вышло шесть томов)

Повна збірка творів. В п'яти томах. Киев, Гослитиздат Украины, 1939.

Повна збірка творів. В трьох томах. (З критико-біографічним нарисом акад. О. ґ. Корнійчука.) Киев, Гослитиздат Украины, 1949. (Несмотря на свое название, оба издания далеко не являются полными.)

Твори В трьох томах. Киев, Гослитиздат Украины, 1955. (Несколько полнее предыдущего.)

Собрание сочинений. В пяти томах. М., Гослитиздат, 1948—1949.

Собрание сочинений. В пяти томах. М., Гослитиздат, 1955–1956. (Переводы ряда главных произведений заменены новыми; включены избранные письма.)

«Стихотворения». (Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание.) Вступительная статья М. Полякова. Л., изд-во «Советский писатель», 1954.

«Повести». В трех книгах. Киев, 1949, изд-во «Радянський письменник».

II. ЛИТЕРАТУРА О ТВОРЧЕСТВЕ ШЕВЧЕНКО

В. И Ленин, К вопросу о национальной политике. (Сочинения, т. 20, стр. 199.)

Г. В. Плеханов, Рецензия: «Поезії Т. Г. Шевченка, заборонені в Росії». Женева, 1890. (Сочинения, т. IV, стр. 313.)

А В. Луначарский, Великий народный поэт. (Доклад, оглашенный в Париже в 1911 году, на вечере, организованном политическими эмигрантами России в память 50-летия со дня смерти Т. Г. Шевченко; начиная с 1917 года, неоднократно издавался в Москве, Киеве, Полтаве, Харькове, Львове отдельными брошюрами и в составе различных сборников, по-русски и по-украински.)

Н. С. Хрущев, Речь на открытии памятника Т. Г. Шевченко в Киеве. (Газета «Правда» от 7 марта 1939 г. и все другие газеты.)

См. также статью: Г. Владимирский, Т. Г. Шевченко в оценке большевистской дооктябрьской печати. («Звезда», 1939, № 3, стр. 172–182.)

М. Горький, История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939. (О Шевченко, стр. 188–189.)

М. Горький, Приветствие народу Украины. (В связи с открытием памятника Шевченко в Харькове в 1935 г.; Сочинения, т. 27, стр. 424.)

См. также статью: Г. Владимирский, Горький о Шевченко. В высказываниях, в переписке и воспоминаниях современников. («Красная новь», 1938, № 12, стр. 219–227.)

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, тт. IV, стр. 171–172; V, стр. 214 и 602; VI, стр. 172–175, 497 и 562; VIII, стр. 19 и 107; IX, стр. 131. (Отзывы о поэзии и рисунках Шевченко.)

А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, тт. XI, стр. 61; XV, стр. 418; XVII, стр. 7; XIX, стр. 172.

См. также отзывы Герцена о Шевченко в воспоминаниях современников: Е. Ф. Юнге (Толстая). Воспоминания. Изд. «Сфинкс», стр. 355; В. В. Стасов, Николай Николаевич Ге. М., 1904, стр. 161.

Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, тт. II, стр. 700; III, стр. 436; VII, стр. 791–793, 847, 936 и 942; XII, стр. 132; XIV, стр. 383; XVI, стр. 477–478.

Н. А. Добролюбов, «Кобзарь» Тараса Шевченко. («Современник», 1860, № 3, стр. 99–109; перепечатывалось во всех собраниях сочинений Добролюбова.)

Н. А. Некрасов, Выступление в суде по делу об издании стихотворений Т. Г. Шевченко в 1871 г. (Полное собрание сочинений и писем, т. XII, стр. 90–91.)

М. И. Михайлов, «Кобзарь» Т. Шевченко. («Русское слово», 1860, № 4.)

Имеются, кроме того, отзывы о Шевченко Л. Н. Толстого (в «Дневнике» С. А. Толстой от 1 февраля 1898 г.), М. В. Петрашевского и Н. А. Момбелли (см. «Дело петрашевцев», т. I, стр. 161–162 и 319–329; т. III, стр. 377–442), ряд посвященных русскими поэтами Тарасу Шевченко стихотворений (Н. А. Некрасова, А. Н. Майкова и др.).

О Шевченко писали многие украинские классики, в том числе: Иван Франко, Твори. В двадцяти томах. Киев, Гослитиздат Украины, т. 17, 1955, стр. 7–157. (Здесь помещена 21 статья Ивана Франко о Т. Г. Шевченко.)

П. А. Грабовский, Избранное. М., Гослитиздат, 1952, стр. 289–325 (Три

статті о Шевченко и о переводах его стихов на русский язык.)

Панас Мирний, Твори. Киев, изд-во Академии наук УССР, т. 5, 1955, стр. 308–313.

Василь Стефаник, Повне зібрання творів. Киев, изд-во Академии наук УССР, т. 2, 1953, стр. 145–147, 162 и 166–167.

Михайло Коцюбинський, Твори. В трьох томах. Киев, Гослитиздат Украины, т. 3, 1956, стр. 43–48.

Іван Манжура, Твори. Киев, Гослитиздат Украины, 1955, стр. 267–271.

Леся Українка, Твори. Киев, Гослитиздат Украины, тт. 4 и 5, 1954–1956. (Страницы с отзывами о Шевченко см. по указателю в томе 5.)

Михайло Павлик, Тарас Шевченко й Галицька Україна в 25-ті роковини його смерті. Львов, 1911.

Из большого числа статей советских писателей о Шевченко особенно следует отметить:

Александр Корнейчук, Гениальный сын украинского народа. (В его книге: «Сочинения в трех томах», т. 3. М., 1956, стр. 247–266.)

Его же, Тарас Григорович Шевченко. Доповідь на урочистому засіданні, присвяченному 125-річчю з дня народження великого українського поета-революціонера Т. Г. Шевченка. Киев, 1939.

Павло Тычина, Сила «Кобзаря». Речь на открытии памятника Т. Г. Шевченко. Вступительное слово на Шевченковском пленуме. Выступление на открытии музея Т. Г. Шевченко. (В его книге: «В армии великого стратега». Киев, 1951, Стр. 47–62, 90—100 и 196–200.)

Микола Бажан, Речь на торжественном заседании в Киевском театре оперы и балета, посвященном 125-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. («Правда», 1939, № 67, 9 марта и другие газеты.)

Максим Рыльский, Пушкин и Шевченко. Великий народный поэт. Шевченко и наша современность. (В его книге: «Великая дружба». М., 1954, стр. 38–51 и 81—102.)

О. Гаврилюк, Великий український народний поет. (В его книге: «Вибрані твори». Киев, 1949, стр. 201–209.)

А. Н. Толстой, «Кобзарь». (В его книге: «Избранные сочинения, т. 6. М., 1953, стр. 596–598.)

Якуб Кола с, Шевченко и белорусская поэзия. (В его книге: «Собрание сочинений», т. 4. М., 1952, стр. 647–661.) висловлювань визначних громадських діячів, критиків та письменників про Т. Г. Шевченка (за редакцією К. П. Дорошенко)». Киев, Гослитиздат Украины, '1953.

«Пам'яті Т. Г. Шевченка. Збірник статей до 125-ліття з дня народження (1814–1939)». Киев, изд-во Академии наук Украинской ССР, 1939.

«VI пленум Правления Союза советских писателей СССР, посвященный 125-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (выпуски 1–5)». Киев, Гослитиздат УССР, 1939.

«Памяти Т. Г. Шевченко. Сборник докладов». Киев, изд-во Академии наук Украинской ССР, 1944.

Н. ф. Бельчиков, Тарас Шевченко. Критико-биографический очерк. М., Гослитиздат, 1939.

К. Г. Паустовский, Тарас Шевченко. М., Гослитиздат, 1939.

М. Я. Поляков, Тарас Григорьевич Шевченко. М., Госкультпросветиздат, 1954.

Мариэтта Шагинян, Тарас Шевченко. М., Гослитиздат, 1946.

(Имеются также критико-биографические очерки П. Альтмана, Д. Багалея, И. Белоусова, А. Белецкого, Г. Владимирского, А. Дейча, Е. Кирилюка, В. Кранихфельда, Г. Недалько, И. Пильчука, А. Трипольского, В. Чешихина-Ветринского, В. Яковенко и многих других).

Отдельным проблемам изучения творчества Шевченко (помимо работ, помещенных в указанных выше сборниках) посвящены также следующие статьи и исследования:

А. И. Белецкий, Шевченко и русская культура. («Ученые записки Харьковского университета», вып. 1-й. Харьков, 1939, стр. 1–7.)

А. И. Белецкий, Шевченко и мировая культура. Харьков, 1939.

О. І. Білецький, Шевченко і слов'янство. («Радянське літературознавство», вып. 16-й. Киев, 1952, стр. 3—12.)

А. И. Белецкий, Русские повести Т. Г. Шевченко. («Советская Украина», 1948, № 1, стр. 217–231.)

Н. Ф. Бельчиков, Шевченко в 60-е годы. («Советская на^ка», 1939, № 4, стр. 119—(139.)

Н. Ф. Бельчиков, Т. Г. Шевченко и дружба народов. («Исторический журнал», 1939, № 4, стр. 78–88.)

П Говдя, Т. Г. Шевченко — художник. Нарис. «Мистецтво». Киев, 1955. (Имеется ряд работ на эту же тему: Н. Г. Бурачека, А. П. Новицкого, Г. Д. Владимирского и А. Н. Савинова, С. Е. Раевского, А. М. Скворцова и др.)

І. П. Головаха, Т. Г. Шевченко і російські революційні демократи 50—60-х років XIX ст. Киев, изд-во Академии наук Украинской ССР, 1953.

Я. Д. Дмитерко, Общественно-политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко. М., изд-во Академии наук СССР, 1954.

С. Дмуховский, Повести Т. Г. Шевченко, Днепропетровск, 1958.

К. П. Дорошенко, Т. Г. Шевченко — борець за свободу і жисть

слов'янських народів. Київ, 1951.

В. И. Касиян, Офорты Шевченко, Київ, 1960.

А. Р. Мазуркевич, Мысли Т. Г. Шевченко о воспитании к просвещению. («Советская педагогика», 1952, № 4, стр. 68–79.)

О. Р. Мазуркевич, Творча спадщина Т. Г. Шевченка — гостра зброя в боротьбі против українського буржуазного націоналізму. Київ, издание Общества по распространению политических и научных знаний УССР, 1953.

У. Назаренко, Світогляд Т. Г. Шевченка, Київ, 1957.

Є. О. Ненадкевич, Творчість Т. Г. Шевченка після заслання (1857–1858). Київ, Гослитиздат України, 1956.

Л. М. Новиченко, Поет і народ. До характеристики художнього методу в ліриці Шевченка. («Рядянська література», 1938, № 11 и 12.)

Л. М. Новиченко, Безсмертя Кобзаря. («Вітчизна», 1949, № 3, стр. 165–170.)

П. М. Попов, Тарас Шевченко про народну творчість. («Радянське літературознавство», вып. 16-й. Київ, 1952, стр. 13–32.)

Ф. Я. Прийма, Т. Г. Шевченко и русская литература. («Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1954, № 3, стр. 217–239.)

Леонид Хинкулов, Т. Г. Шевченко, Гослитиздат, Москва, 1960.

Леонид Хинкулов, В кругу художников. К 145-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. («Советская Украина», 1959, № 3, стр. 148–156.)

Леонид Хинкулов, Происхождение «Притчи о блудном сыне». К творческой биографии Т. Г. Шевченко. («Советская Украина», 1958, № 8, стр. 159–162).

С. Х. Чавдаров, Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка. «Радянська школа», Київ, 1953.

К. И Чуковский, За советский стиль переводов Шевченко. («Красная новь», 1939, № 3, стр. 191–208.)

Є. С. Шабліовський, Т. Г. Шевченко та його історичне значення. Изд-во Академии наук УССР, Київ, 1933.

Є. С. Шабліовський, Шевченко і російська революційна демократія. Київ, изд-во Академии наук Украинской ССР, 1935; изд. 2, Київ, 1958.

III. ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ ШЕВЧЕНКО

Биографические сведения содержат почти все критико-биографические работы, указанные выше. Единственным сборником документов (содержащим, однако, большое количество ошибок как в публикациях, так и в комментариях) является книга:

«Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах». Киев, Госполитиздат УССР (Архивное управление МВД УССР), 1950.

До сих пор не существует не только полной научной биографии Т. Г. Шевченко, но даже исчерпывающей летописи его жизни и деятельности (подобной фундаментальным трудам в этом жанре, посвященным ряду русских классиков). Самой обширной биографией Шевченко все еще остается книга:

А. Я. Конисский, Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Критико-биографическая хроника. 1814–1861. Одесса, 1898

Другая биография, сохраняющая значение первоисточника: М. К. Чалый, Жизнь и произведения Тараса Шевченко. Свод материалов для его биографии. Киев, 1882.

Отдельным периодам жизни Шевченко посвящены работы: Дмитро Красицький, Дитинство Тараса. Детиздат УССР, Киев, 1959.

П. А. Зайончковский, Кирилло Мефодиевское общество. Изд-во Московского университета, 1959.

«Т. Г. Шевченко в ссылке». Сборник статей. Чкалов, 1939. «Тарас Шевченко в Нижнем Новгороде». Горький, 1958.

Т. Бейсов, Т. Г. Шевченко в Казахстане. Очерк. Алма-Ата, 1952.

А. Ведмицкий, Шевченко в оренбургской ссылке, Оренбург, 1960.

Н. И. Моренец, Шевченко в Петербурге. Лениздат, 1960. А. Недзвідський, Шевченко і Чернишевський. («Радянська література», 1941, № 3, стр. 195–208.)

Леонід Хінкулов, Імена і люди. 3 нотаток до біографії Т. Г. Шевченка. («Прапор», 1957, № 12, стр. 105–112.)

Леонид Хинкулов, Жизнь и слово. Из истории революционной борьбы. («Советская Украина», 1959, № 10, стр. 143–162.)

Воспоминания о Т. Г. Шевченко оставили многие его современники. Однако эти воспоминания, содержащие материал различной ценности и достоверности, в большинстве своем не подвергались специальному научному изучению. Представляет интерес сборник отрывков из разных мемуаров:

«Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників», под ред. К. П. Дорошенко. Изд. Академии наук УССР. Киев, 1958.

Из библиографических указателей, посвященных литературе о

Шевченко, единственный, имеющий научное значение:

«Т. Г. Шевченко. Библиографический указатель», под редакцией и со вступительной статьей Н. Ф. Бельчикова. М., Госполитиздат (Гос. библиотека имени В. И. Ленина), 1941,

ОБ АВТОРЕ

Леонид Федорович Хинкулов — украинский критик и литературовед. Родился в 1912 году в Киеве, в семье инженера.

Окончил Киевский университет в 1933 году; с 1934 года — на журналистской, а затем на научной работе. Член Союза советских писателей. Ему принадлежат исследования о Пушкине (1937), Горьком (1946), Шевченко, Франко, Тычине, по истории украинской советской литературы, а также литературно-критические и публицистические статьи.

В 1960 году в Гослитиздате вышла его научная монография о Шевченко.

notes

Цитируемые в этой книге переводы принадлежат П. Антокольскому, Н. Асееву, А. Безыменскому, Н. Брауну, Л. Вышеславскому, А. Гатову, В. Гиппиусу, А. Глобе, М. Голодному, В. Державину, В. Звягинцевой, М. Исаковскому, М. Комиссаровой, В. Луговскому, Л. Озерову, М. Рыльскому, Н. Сидоренко, К. Симонову, А. Суркову, А. Твардовскому, Н. Тихонову и другим поэтам.

Биографы считают, что на самом деле Тарасу Шевченко в это время не было и десяти лет: знакомство с Оксаной Коваленко произошло еще при жизни матери Тараса.

У Красицких было четверо сыновей: Степан, Федор, Аким и Максим; их внук, Фотий Степанович Красицкий, стал впоследствии известным украинским художником-пейзажистом, а правнук, Дмитрий Филимонович, — советский шевченковед.

Имеются в виду песни и притчи Григория Сковороды, неоднократно в то время печатавшиеся и популярные среди народа (например, «Всякому городу нрав и права», «Стоїть явір над водою», «Ой ты, птичка желтобока»); народная колядка «Три цари со дары» рассказывает о поклонении волхвов Младенцу Иисусу.

В настоящее время здание Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Прощание с ними было душераздирающе...» (франц).

6

Своеобразная (лат).

У Рылеева. «О, как подвластны мы судьбе!»

В то время «киргизами», или «киргиз-кайсаками», именовались казахи

Талы — песчаные холмы, поросшие камышом и кустарником.

Эта шхуна, как и «Константин», была привезена сюда в разобранном виде

Записи этого рода не вошли в составленное позже Макшеевым описание, изданное уже посмертно (Макшеев умер в 1892 году), под названием «Путешествия по Киргизским степям и Туркестанскому краю» (С-Петербург, 1896 г). Тем больший интерес представляют, выдержки из дневника Макшеева, вошедшие в его большое письмо к Момбелли, которое было отправлено из Оренбурга 15 апреля 1849 года, а в Петербург прибыло уже прямо в руки Третьего отделения: 23 апреля 1849 года Момбелли был арестован и затем военно-судебной коллегией вместе с другими руководящими участниками тайной организации петрашевцев приговорен к смертной казни через расстреляние.

Уже после отъезда Шевченко, в 1858 году, Новопетровское укрепление переименовали в форт Александровский. После революции он был назван фортом Урицким, а в 1939 году, в 125-летнюю годовщину со дня рождения великого украинского поэта, получил имя Шевченко.

Ныне поселок Баудино.

Кольцов и Пушкин, Гёте и Данте, Казак Луганский и Эжен — Сю, «Горе от ума» и «Ревизор», Федотов и Тенирс, «Ябеда» Капниста, «Русский инвалид» и «Записки о Южной Руси», «Двумужница» князя Шаховского и «Свои люди — сочтемся» Островского, образы Плюшкина и Молчалина, Филемона и Бавкиды, «Фингал», «Эдип в Афинах» и «Дмитрий Донской» Озерова, строки из Курочкина и «Евгения Онегина», Беранже и Платон, Кароль Либельт и Жуковский, Щепкин и Каратыгин, Брюллов и Калам, «Библиотека для чтения» и «Санкт-Петербургские ведомости», «История о донских казаках» Ригельмана, Гольбейн и Дюрер, Корнелиус и Гесс, Лео Кленц и князь Вяземский, Бруни и Крылов — вот далеко не полный перечень имен и названий, упоминаемых в «Дневнике» только за первый месяц его ведения!

«Эстетика, или Наука о прекрасном, сочинение Кароля Либельта».

Мария Николаевна (сестра Александра II) — после смерти мужа, президента Академии художеств, герцога Лейхтенбергского (в 1852 году) стала президентом и оставалась им до самой смерти в 1876 году

Александра Андреевна, тетка Льва Толстого и его хороший друг (сохранилась их обширная переписка), она была в близких отношениях с Перовским и посещала его на даче в Кочевке, недалеко от Оренбурга.

Правильнее — Хун Сюцюань, известный китайский революционер, вождь Тайнинского восстания 1851–1864 годов.

Родственник соученика Шевченко по Академии художеств П С Петровского.

Поэты Жемчужниковы — Владимир, Александр и Алексей, которые (в соавторстве с Алексеем Толстым) писали под знаменитым псевдонимом «Козьма Прутков», и их брат, художник Лев Жемчужников, были очень близки с Шевченко в последние годы его жизни в Петербурге. Шевченко не раз бывал в доме у Жемчужниковых и у их двоюродного брата — Алексея Толстого.

В обеде участвовало около сорока человек, в том числе Некрасов, Добролюбов, Панаев, Тургенев, Лев Толстой, Островский, М. Языков, Никитенко, Гербель, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Дружинин, Писемский, Василий Курочкин, Плещеев.

Некоторые из этих стихотворений, впрочем, ошибочно приписывались в то время Пушкину.

За зло — церковнославянская форма

Ликтор — низшая из придворных должностей в древнем Риме.

Динарий — серебряная римская монета.

В настоящее время бульвар имени Т. Г. Шевченко.

Работами советских историков М. В. Нечкиной, Б. П. Козынца, А. З. Барабо, Г. И. Марахов а установлено существование на Украине (при активном участии Красовского, Моссаковского и других) еще с конца пятидесятих годов подпольной революционной организации, влившейся впоследствии в общество «Земля и воля».

Одна из лих была организована в том самом помещении Киевского уездного училища, на Подоле, где летом 1859 года жил некоторое время Шевченко у своего старого приятеля — художника Алексея Флоровича Сенчило-Стефановского; с ним Шевченко в 1846 году совершал свои экспедиции, а теперь Алексей Флорович служил учителем рисования в уездном училище.